INCOGNITO

ЛЕОНИД БЕЖИН

ДАНИИЛ АНДРЕЕВ

Рыцарь Розы

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга благодаря собранным по крупицам свидетельствам современников и документам позволяет восполнить пробелы в сведениях о жизни и творчестве великого русского мистика Даниила Андреева и воскресить его во многом автобиографичный роман «Странники ночи».

Увлекательное исследование Леонида Бежина адресовано самому широкому кругу почитателей творчества Даниила Андреева.

- Даниил Андреев — Рыцарь Розы
  - Часть первая
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
    - Глава четвертая
    - Глава пятая
    - Глава шестая
    - Глава седьмая
    - Глаза восьмая
    - Глава девятая САДОВНИК
    - Глава десятая ПО НОЧНОЙ МОСКВЕ
    - Глава одиннадцатая
    - Глава двенадцатая
    - Глава тринадцатая
    - Глава четырнадцатая
    - Глава пятнадцатая
    - Глава шестнадцатая
    - Глава семнадцатая
    - Глава восемнадцатая
    - Глава девятнадцатая
    - Глава двадцатая
    - Глава двадцать первая
    - Глава двадцать вторая
    - Глава двадцать третья
  - Часть вторая
    - Глава двадцать четвертая
    - Глава двадцать пятая
    - Глава двадцать шестая
    - Глава двадцать седьмая
    - Глава двадцать восьмая
    - Глава двадцать девятая

        - Глава тридцатая
        - Глава тридцать первая
        - Глава тридцать вторая
        - Глава тридцать третья
        - Глава тридцать четвертая
        - Глава тридцать пятая
        - Глава тридцать шестая
        - Глава тридцать седьмая
        - Глава тридцать восьмая
        - Глава тридцать девятая
        - Глава сороковая
        - Глава сорок первая
        - Глава сорок вторая
        - Глава сорок третья
        - Глава сорок четвертая
        - Глава сорок пятая
        - Глава сорок шестая
        - Глава сорок седьмая
        - Глава сорок восьмая
        - Глава сорок девятая
    - Эпилог
    - Список использованной литературы
- notes
    - 1

Даниил Андреев — Рыцарь Розы
Заметки странствующего энтузиаста

«В дому Отца Моего обители мнози суть»

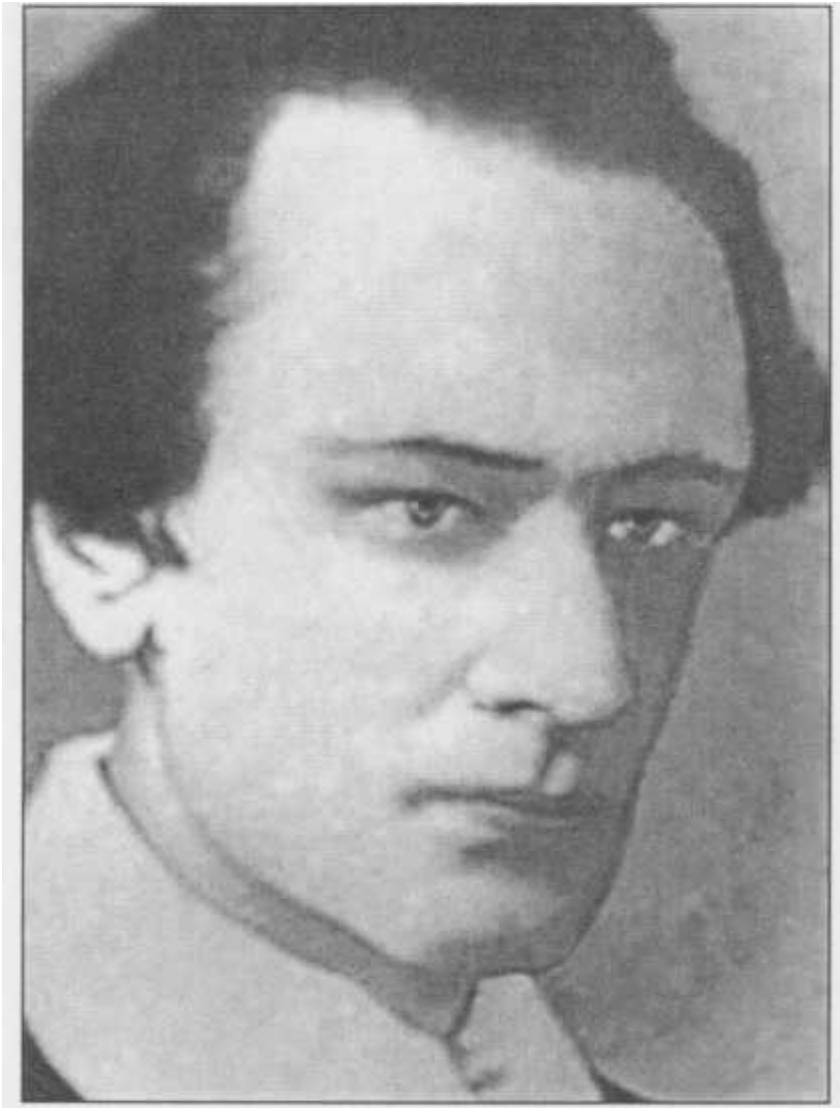
Евангелие от Иоанна

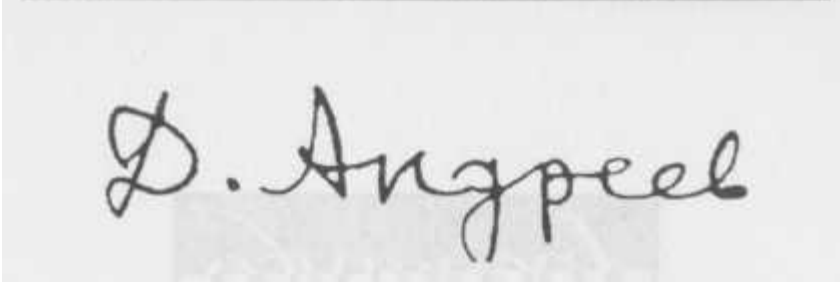
«Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа, где Он говорит: в дому Отца Моего обители мнози суть. На этих словах Христа Спасителя я, убогий, остановился и возжелал видеть оныя небесные обители, и молил Господа Иисуса Христа, чтоб показал мне эти обители. Господь не лишил меня Своей милости. Вот, я был восхищен в эти небесные обители. Только не знаю: с телом ли или кроме тела, Бог весть: это непостижимо. А о той радости и сладости, которые я там вкушал, сказать тебе невозможно».

Серафим Саровский

Часть первая
В поисках Розы

Глава первая
РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД ЭПИГРАФАМИ





А теперь, прочитав два эпиграфа, откинемся в кресле, слегка прикроем глаза, забросим руки за голову, примем мечтательную позу и попытаемся себе ответить, почему нам стало так хорошо. А ведь и вправду хорошо от этих слов, поставленных рядом, из Евангелия от Иоанна и из беседы Серафима Саровского. Хорошо,

несмотря на некоторое смущение, которое эти слова вызывают и в котором мы не можем себе не признаться. Уж такие мы чуткие ко всем затаенным движениям, смутным брожениям, нераспознанным зовам своей души и мнительные, опасливые, воспаленно пристрастные в их оценке. И тем не менее, признаваясь, ловим себя на том, что все же… Все же нам хорошо, несказанно хорошо, как будто вдруг освободились от тяжкого груза, стало легко дышать, разошлись пасмурные, низкие, рыхлые облака и приоткрылись горизонты, высветилась даль, показался бесконечный простор небес.

Ведь сам Христос сказал: «Обителей много». И даже не сказал, а постоянно говорил, вновь и вновь повторял, ведь речи Христа в Евангелии от Иоанна — не однажды, а много раз им от Него услышанное, выношенное, продуманное и часто по — своему, со своими оттенками смысла выраженное. Как полагают исследователи, каждая речь Христа — маленькое богословское построение, своеобразный трактат самого Иоанна. Значит, мысль о множественности, бесконечности духовных миров ему, безусловно, дорога, он захвачен, вдохновлен ею. Но в то же время Иоанн не развил, не развернул ее, а, напротив, придал ей несколько завуалированную (забегая вперед: вуаль — одно из любимых с детства, обожаемых до немого восторга слов…

впрочем, нет, об этом чуть позже) форму. Иначе говоря, не стал переводить с символического, образного языка (в доме — обителей) на язык философского дискурса, греческого любомудрия. Собственно, почему?

Да потому что о таком нельзя, это сокровенно, для немногих, для избранных, для пламенеющих одиночек. А при этом уже есть Церковь, складывается канон, появляются апокрифы, осуждают и клеймят еретиков и нарождается ортодоксия — отсюда и невольное смущение. И смущение Иоанна (он ведь и сам борец с гностиками, многое в его Евангелии направлено против них), не позволяющее ему развить мысль, и наше собственное навязчивое смущение, которое удерживает нас от мечтательных поз. Ведь за те века, что разделяют нас с Иоанном, одиночек стало меньше, а ортодоксия усилилась, окрепла, умножилась, разрослась. Поэтому завуалированная форма — самая подходящая для мысли Иоанна: она скрывает тайну от непосвященных и при этом всегда найдется кто-то, кто отважится, дерзнет приподнять вуаль…

Серафим Саровский — один из таких избранных, пламенеющих (что заложено в самом имени), дерзнувших. Он, читая и перечитывая в своей келье четвертое Евангелие, услышал зов Иоанна и отозвался или, как он сам говорит о себе, усладился. Усладился до умильных слез и возжелал видеть

обители. И Господь не лишил его милости — он был восхищен. «А о той радости и сладости, которые я там вкушал, сказать тебе невозможно». Вот почему нам так хорошо: слова Христа о бесконечности миров находят подтверждение в живом опыте отдельного человека, святого, подвижника и молитвенника и через него, благодаря ему мы словно бы приобщаемся, становимся причастны высшей радости и сладости, обретаем надежду, что и нам они когда-нибудь откроются во всей полноте.

И все-таки некоторое смущение и тут не покидает нас. Во — первых, «возжелал». Само это слово не из привычной лексики православного обихода, его смысл, его окраска слишком чужды идеалам монашеского смирения. Возжелал он, видите ли! Да ведь это почти то же самое, что возгордиться: приставка-то одна и та же! А во — вторых» «не знаю, в теле или кроме тела». Позвольте, а это что ж такое?! Оккультизм?! Астральные улеты?! Трансфизические странствия души?! Во всяком случае, нечто очень близкое, почти на грани. Правда, такое есть у апостола Павла, восхищенного до третьего неба (Второе послание к коринфянам), и слова преподобного Серафима явно отсылают к нему, но все равно это как-то сомнительно, рискованно, отдает крамолой.

Теперь понятны те невнятные, до конца невыго- вариваемые (все-таки канонизированный святой) упреки, которые ортодоксия подчас адресует преподобному Серафиму, — упреки в некоей недогматичности. Он, к примеру, обращаясь к одной из подвижниц ди- веевских, согласившейся по его благословению принять смерть вместо своего брата, говорит: «Что нам с тобой бояться смерти, радость моя. Для нас с тобою будет лишь вечная радость». Ага, вот мы его и уловили, поймали на неосторожном слове! Значит, заранее уверен в своей посмертной участи, уверен, что спасен, а подобает ли этак православному? Истинно православный, каким бы святым он ни был, может только робко надеяться на спасение, уверяя себя при этом, что он — гнездилище всех пороков, самый последний из грешников.

Да, с точки зрения строгой ортодоксии должно быть так, и примеров тому — множество. Сколько святых русских искренне считали себя величайшими грешниками, не заслуживающими спасения! А святой

Серафим? «…Будет лишь вечная радость». Нет, его святость какая-то иная, русской Церковью до конца не распознанная, не вмещающаяся в привычные церковные рамки. Ладно, при молитве над землей зависал и, оставаясь в Сарове, мог явиться сестрам в Дивее- ве и рыть вместо них, замешкавшихся, канавку Богородицы — подобные чудеса в житиях святых встречаются. Но

вот после одного из посещений святого Серафима Богородицей он угощал всех странными, светящимися, неземного вида сухариками, приговаривая: «Это небесная пища». Что еще за небесная пища? В какие уставы она вписана? Кем из иерархов дозволена? Кто благословил ее вкушать?

Вот и получается, что Серафим Саровский Церкви несколько чужд, несмотря на то что канонизирован и, иконы его в каждом храме, и акафист ему поют, и юбилей недавно справляли. Нет, была бы кощунственной любая попытка его от Церкви оторвать: он ей служил, посвятил всю жизнь и вне ее себя не мыслил. Но некоей частью своего мистического опыта святой Серафим с ней все же не совпадал, ведь не случайно же канонизировали его с такой неохотой, после долгих проволочек, лишь благодаря настойчивому вмешательству Николая II.

Так вот эта несовпадающая часть, она-то что?.. Ну, не совпадает с церковной ортодоксией, а с чем совпадает? Вопрос! Собственно, заведомо неприемлемый ответ на него уже дан. Конечно же оккультизм, астральные улеты тут ни при чем. И теософия тоже, а вот мистика… Мистика таких одиночек, как Бёме, Экхарт, Сведенборг, возможно, была бы близка Серафиму Саровскому, — во всяком случае, с познавательной точки зрения, ведь он за свою жизнь множество книг перечитал, включая и «аль — Коран Магометов». А может быть, и не только с познавательной: они ведь все тоже были церковными людьми, хотя и не православными, и тоже не совпадали. А те, кто были после Серафима, — оптинские старцы? Да, конечно… А те, кто после старцев, из совсем другого ряда, — Блаватская, Рерихи, Даниил Андреев, в конце концов? Нет, нет, смущение не позволяет нам каким-то образом объединить их с преподобным Серафимом, и смущение вполне оправданное: тут несовпадение полное.

Глава вторая
ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА

И все-таки не случайно рассказ о Данииле Андрееве (уц? и «Розе Мира» мы начали с Серафима Саровского, который будет нам отныне сопутствовать, и дело не только в том, что Даниил Андреев был православным, перед смертью исповедался православному священнику и, насколько известно, от «Розы Мира» на исповеди не отрекся. Еще важнее то, что будущее возрождение России он связывал именно с православием: «Он говорил, что Россия — святая земля, центр мира, от нее все и произойдет, причем опорой здесь будет православие» (из

воспоминаний Романа Гудзенко). И Серафим Саровский, чья икона была с ним и на фронте, и в тюрьме, для Даниила Андреева — важнейшая составляющая мистического опыта, его проводник, вожатый по Небесной России.

Вот как об этом рассказывается в «Розе Мира»: «В ноябре 1933 года я случайно — именно совершенно случайно — зашел в одну церковку во Власьевском переулке. Там застал я акафист преподобному Серафиму Саровскому. Едва я открыл входную дверь, прямо в душу мне хлынула теплая волна нисходящего хорового напева. Мною овладело состояние, о котором мне чрезвычайно трудно говорить, да еще в таком протокольном стиле. Непреодолимая сила заставила меня стать на колени, хотя участвовать в коленопреклонениях я раньше не любил: душевная незрелость побуждала меня раньше подозревать, что в этом движении заключено нечто рабское. Но теперь коленопреклонения оказалось недостаточно. И когда мои руки легли на ветхий, тысячами ног истоптанный коврик, распахнулась какая-то тайная дверь души и слезы ни с чем не сравнимого блаженного восторга хлынули неудержимо. И, по правде сказать, мне не очень важно, как знатоки всякого рода экстазов и восхищений назовут и в какой разряд отнесут происшедшее вслед за этим. Содержанием же этих минут был подъем в Небесную Россию, переживание Синклита ее просветленных, нездешняя теплота духовных потоков, льющихся из того средоточия, которое справедливо и точно именовать Небесным Кремлем».

Что это, видение мистика? Вдохновение поэта, вынужденного писать «в протокольном стиле»? Его собственное подсознание, опосредующее себя в образе святого Серафима настолько, что кажется, будто он явился извне? А может быть, прельщение дьявольское, чары сатанинские, бесовское наваждение? Среди читателей Даниила Андреева и близких к нему людей, безусловно, найдутся готовые ответить утвердительно на первый вопрос: да, мистика, как и согласиться со вторым утверждением: да, вдохновение. Найдутся склонные таким же образом ответить на третий: да, подсознание.

Вот, к примеру, воспоминания столь преданной Даниилу Андрееву, почти влюбленной в него Ирины Усовой: «Когда в общей камере тюрьмы все засыпа ли, он погружался примерно в то состояние, в которое впадают индийские йоги путем чрезвычайного сосредоточения (что-то близкое к «самадхи»). Даня называл это состояние «трансфизическими странствиям, которые совершались во время сна отсюда, из Энрофа России». Он пишет: «…смутные образы дополнялись другими неоценимыми источниками познания — трансфизическими встречами и

беседами». Во время этих бесед он слышал голоса, которым верил беспрекословно, и сказанное ими воспринимал за абсолютную истину. В частности, ему был назван ряд имен великих русских талантов и деятелей, и кто из них какого пути удостоился в посмертии. Я прочла этот маленький отрывок (из «Розы Мира» — Л. Б.) еще при жизни Дани. И я была больно поражена: я почувствовала в перечне имен Данины личные симпатии и пристрастия. Я подумала, что, стало быть, голоса эти были не «свыше», а скорее голоса его собственного подсознания».

И не только подумала, но наверняка и поведала Даниилу Леонидовичу о своих сомнениях, которые и его заставили о многом задуматься. Во всяком случае, косвенная полемика с Ириной Усовой и другими усомнившимися угадывается в строчках тюремного дневника:

«7 февраля < 19 > 54

Октябрь и особенно ноябрь прошлого года был необычайным, беспрецедентным временем в моей жизни. Но что происходило тогда: откровение? наваждение? безумие? Грандиозность открывшейся мировой панорамы без сравнения превосходила возможности не только моего сознания, но, думаю, и подсознания».

Даниил Леонидович задает себе почти те же вопросы, которые задаем мы, и на один из них отвечает: нет, это явно не подсознание.

Продолжение этой косвенной полемики мы обнаруживаем в эпизоде из «Железной мистерии». После того как Неизвестному, одному из персонажей, за которым скрывается автор, являются Лермонтов, Гоголь и Достоевский, любимые писатели Даниила Леонидовича, Неизвестный спрашивает:

Только ответь: отчего прошли Именно эти гении?

И Даймон, вожатый по иным мирам, ему отвечает:

Много, о, много детей земли Сходятся в богослужении;

Ты различил только тех, чей прям Путь был рядом с тобою.

Акт шестой. «Крипта»

Итак, мы попробовали ответить на три вопроса, но найдутся люди, готовые утвердительно ответить и на четвертый: да, прельщение. При этом они добавят, что прельщающий способен выдать себя за ангела, обрядиться просветленным любого Синклита, и их предупреждение весьма серьезно. Поэтому заявить во всеуслышанье: «Нет, это не голоса подсознания!», «Нет, это не прельщение!» — вряд ли было бы правильно, поскольку откуда, собственно, мы знаем. Действительно, некоторые святые (к примеру Тереза Авильская[1])) именно знали, были убеждены, что их голоса и видения от Бога, но мы не святые и не обладаем ни

мистическим опытом, ни поэтическим вдохновением авто ра «Розы Мира». Да и стихия подсознания в человеке способна на самые непредсказуемые сюрпризы: подчас выясняется, что и спириты получают ответ из ее глубин. Поэтому для нас самое лучшее — промолчать. Но все же у тех, кто заявляет обратное: «Да, прельщение! Да, голоса подсознания!» — мы вправе спросить: «А вы откуда знаете? Неужто вы святые?! Или такие сведущие в законах подсознания?!»

Да и не наше дело, в конце концов, выступать с заявлениями и претендовать на истину. Мы рассказываем о человеке, его гражданском выборе, противостоянии страшной эпохе, мужестве и творческой судьбе. И в том числе — о его индивидуальном мистическом опыте. Кроме того, избранная нами форма свободных заметок, размышлений, гипотез тем и хороша, что позволяет ограничиться ответами промежуточными и таким образом лишь подвести читателя к главному, окончательному ответу. Прельщение, диалог с подсознанием или все же неповторимый мистический опыт? Подвести и сказать: «Ну вот, здесь мы и простимся. Дальше иди один. Право на ответ — за тобой».

На том и порешим.

А теперь обратим внимание на одну примечательную подробность в процитированном отрывке из «Розы Мира». Даниил Леонидович вскользь обронил: «…знатоки всякого рода экстазов и восхищений». Здесь явно имеются в виду не какие-то книжные или выдуманные, а вполне реальные знатоки. Впечатление такое, что они стоят рядом и, выслушивая отчет об экс- тазах, этак прикидывают: «Так… К какому разряду мы их отнесем?» Что ж, даже в страшные сталинские времена такие знатоки были. Значит, были они и в окружении Даниила Андреева, действительно стояли рядом, и мы еще поговорим о них.

Так как же нам быть? Нам, мнительным, опасливым, воспаленно пристрастным и в то же время испытывающим невыразимую радость? Уж если святой Серафим возжелал видеть обители, то и нам не зазорно признаться: желаем. Но ведь он нам об обителях в доме Отца больше ничего не расскажет, не опишет их во всех подробностях. Ведь преподобный Серафим не рассказчик, он, как и евангелист Иоанн, о многом умалчивает, потому что «сказать невозможно». Тут мы коснулись, может быть, самого для нас сейчас главного: молитвенники вообще не говорят о своих высших прозрениях. И уж тем более не пишут книги: дар словесного творчества — не их дар. Услышанный ими зов — «обителей много» — претворяется иначе, в духовном действии, делании, умной молитве. Но ведь кто-то должен поведать,

рассказать. Кто-то, наделенный одновременно и мистическим даром, и даром слова, отмеченный призванием к творчеству.

И вот тут я приведу эпизод из воспоминаний о детстве Даниила Андреева. Имя их автора я назову позже (момент для этого еще наступит), поскольку сейчас важно другое: «Дамы в те годы носили на шляпках вуаль. Даня упорно, не слушая замечаний старших, говорил не «вуаль» а «валь» И только вечером в постельке, обняв белого плюшевого медвежонка, погибшего при нашем аресте в 1947 году, мальчик восторженно и тихо шептал: «В — у — аль…» Это слово было таким красивым, что его нельзя было произносить вслух на людях». Вот оно: «таким красивым»! И поэтому не подлежащим огласке, оберегаемым, как святыня. Поразительное свидетельство! Оно явно наводит на мысль о некоей сопоставимости религиозного и творческого служения.

Словом, в этом эпизоде есть все для того, что позволяет нам отправиться сейчас в Сивцев Вражек, к дому, где когда-то жил замечательный русский религиозный философ Николай Бердяев, автор работы «Смысл творчества».

Глава третья
ДОМ В БОЛЬШОМ ВЛАСЬЕВСКОМ. РЫЦАРЬ

Но сначала откроем томик Бориса Зайцева, его воспоминаний, на той странице, где рассказывается о первой встрече с Бердяевым в Петербурге: «Бердяев был щеголеват, носил галстуки бабочкой, веселых цветов, говорил много, пылко, в нем сразу чувствовался южанин — это не наш орловский или калужский человек. (И в речи был юг: проблэма, сэр- дце, станьция.) В общем, облик выдающийся. Бурный и вечно кипящий». И далее тонкий, проницательный, слегка ироничный Зайцев пишет: «Лента развертывается. И вот Бердяевы уже в Москве. В нашей Москве и оседают. Даже оказываются близкими нашими соседями. Из тех двух комнат, что снимаем мы на Сивцевом Вражке в большой квартире сестры моей жены, виден через забор дворик дома Бердяевых, а жил некогда тут Герцен, — все это недалеко от Арбата, место Москвы дворянско — литературно — художественной».

И еще важные для нас подробности: «Теперь Бердяевы занимают нижний этаж дома герценовского, Николай Александрович пишет свои философии, устраивает собрания, чтения, кипятится, спорит, помахивая темными кудрями, картинно закидывает их назад, иногда заразительно и весело хохочет (смех у него был приятный, веселый и простодушный, даже нечто детское появлялось на этом бурном лице)».

Итак, нарисован портрет и указан адрес: Сивцев Вражек, герценовская Москва. Туда я и отправился в конце мая, в один из первых жарких, солнечных, с дрожащим маревом зноя дней. Началось мое путешествие на Гоголевском бульваре. У памятника великому писателю распустились удивительные тюльпаны, белые, лиловые, темно — фиолетовые: невольно ахнешь и залюбуешься! Свечки цветущих каштанов обморочно млели под солнцем, праздная публика располагалась прямо на траве, художники продавали свои картины. Московская жизнь!

Спустившись по лесенке, я свернул в Сивцев Вражек, миновал храм Афанасия и Кирилла, патриархов александрийских, дом, где жила Марина Цветаева. И вот он уже впереди, герценовский особняк с мезонином в три окна, фасадом, украшенным лепными гирляндами и античными маскаронами, железной крышей и печными трубами (печи в доме, как я знаю, сохранились старые, изразцовые, герценовских времен).

Я приоткрыл калитку и заглянул в тенистый, узенький дворик, мощенный камнем, — дворик перед входом в музей. И тут вспомнилось мне по давнему знакомству с директором музея Ириной Александровной Желваковой, что все-таки Бердяев жил не здесь и Зайцев имел в виду другой дом, иначе не сказал бы: «На первом этаже». Собственно, герценовский дом-то одноэтажный, поэтому зачем уточнять, что на первом, уточнение здесь явно излишне. Я хотел подробнее расспросить об этом сотрудников музея, однако музей уже был закрыт и выяснить все до конца не удалось.

Тогда я свернул в Калошин переулок и вышел на Старый Арбат как раз возле знаменитого, многоэтажного, построенного в стиле модерн серого дома с рыцарями. Вышел и, запрокинув голову, стал разгля дывать одного из латников, опирающегося о щит, с мечом, вынесенным плашмя вперед. И мне невольно подумалось: «Вот что объединяет Бердяева с его стремлением привить дух рыцарства русской душе и Даниила Андреева, рыцаря мистической Розы!» И в то же время рыцарь, вознесшийся над Арбатом, и меч в его руке — не предвестие ли кары, ожидавшей всех, кто здесь когда-то жил: лагерей, тюрем или изгнания?.. Да, были адвокаты, профессора, мистики, поэты, были либералы, кадеты, эсеры и уже меч над ними — большевики. Орден меченосцев, как называл свою партию Сталин.

На следующий день, пасмурный и дождливый, я вновь наведался в Сивцев Вражек. Я походил по музею, погладил ладонью изразцы старинных печей и (мне посчастливилось!) встретился с Ириной Александровной, маленькой, удивительно живой и подвижной женщиной, давней хранительницей музея.

Она мне сказала, что да, по ее разысканиям Бердяев жил в доме, выходившем фасадом на Большой Власьевский переулок, — доме 14, унаследовавшем этот номер от снесенного герценовского дома. Об этом подробно написано в ее книге «Тогда… в Сивцевом».

Я разыскал этот дом, изначально трехэтажный, с красивой аркой и лепниной на фасаде, облицованном ноздреватым камнем. В нем, построенном в 1873 году, а затем надстроенным в советское время (любили надстраивать то, что не сами строили), есть что-то неуловимо бердяевское, картинное, барственное. Бердяев поселился здесь в конце 1915 года, здесь писал он свои философии и устраивал собрания. Именно сюда привез он в дорожном саквояже законченную в 1914 году рукопись книги «Смысл творчества». И мне сейчас эта книга нужнее всего, поскольку в ней Бердяев сравнивает Серафима Саровского и Пушкина, святого и гения, и это дает мне ключ для возможного сравнения Серафима Саровского и Даниила Андреева.

Глава четвертая
СТРАНИЧКА ИЗ БЕРДЯЕВА

Сразу оговорюсь: я не беру на себя право назвать Даниила Андреева гением (и тем более поставить его рядом с Пушкиным), хотя я не сомневаюсь в его гениальности. Мое мнение ровным счетом ничего не значит, да и не мое это дело — высказывать тут собственные мнения. Если уж я назвался по — гофмановски странствующим энтузиастом, собирателем чужих мнений, предположений, догадок (не упускающим случая и высказать собственные), то моя задача — показать, как в окружении Даниила Андреева, в сознании близких к нему людей возникала мысль, что это человек гениальный. Не многие, даже из самых близких, это понимали, кто-то даже, пожалуй, и запротестовал бы: «Помилуйте! Это уж слишком! Да, поэт, образованный, талантливый человек, но объявлять его во всеуслышание гением… нет, нет, увольте…» Кто-то уклончиво промолчал бы, не желая оспаривать утверждение, столь лестное для Даниила Андреева, но и не соглашаясь с ним в душе. Кто-то с женской непосредственностью рассмеялся бы, фыркнул в кулачок, поднесенный ко рту, сочтя подобное откровение — «Даниил-то, Данечка-то наш, оказывается…» — забавным курьезом, смахивающим на анекдот. Слишком пестрым оно было, окружение поэта, слишком разные люди в него входили, да и обстоятельства их жизни менее всего располагали к тому, чтобы распознавать гения в том, кто казался им другом, возлюбленным,

обаятельным собеседником, милым чудаком, оригиналом и фантазером.

И самое удивительное, что при этом все-таки распознавали.

Да, да, распознавали, хотя это распознание осеняло как внезапное прозрение, как пронзительная догадка: «Свои вещи он читал неоднократно. И когда читал, скажем, из «Афродиты Пенородной" (на самом деле «Афродиты Всенародной» — Л. Б.), таким бархатным голосом, очень красиво читал, — это производило совершенно ошеломляющее впечатление. Я тогда даже не выдержал и сказал, когда он прочел: «Ну уж, знаете, вы ведь гений!» Но он запретил мне так говорить. Причем очень искренне, то не было кокетством. Он сказал: «Родион, ну перестань! Во — первых, до смерти такое вообще нельзя, это просто кощунство. Во — вторых, даже канонизируют через пятьдесят лет после смерти, не раньше. А вы… Что за чушь!»» (из воспоминаний Романа Гудзенко).

И еще одно свидетельство, еще одна пронзительная догадка: «Возможно, в этом (в описанных выше чертах внешности. — Л. Б.) есть проявление очень важных душевных черт, но, чтобы говорить о них, надо произнести сначала слово, которое может вызвать бурю возмущения. Даниил был гений. Никакой в этом понятии нет гордыни, никакой похвальбы. Это — очень тяжелый труд, тяжелейший крест, который Господь дает немногим — сильным».

Автору этих воспоминаний, которого я по — пре- жнему не называю, приходится заранее защищаться от «бури возмущения», называя Даниила Андреева гением, и все-таки… все-таки… гений!

А теперь (после эпиграфов и размышления над ними) — завязка моего сюжета, его узел. Он, этот сю жет, связывает воедино меня, стоящего у дома 14 по Большому Власьевскому переулку, Николая Бердяева, жившего на первом этаже, за окнами, которые я сейчас вижу, Даниила Андреева, чье детство и юность прошли неподалеку, в Малом Левшинском переулке, и многих других персонажей. Я привожу страничку из книги «Смысл творчества» целиком, не сокращая, чтобы читатель ощутил биение, дыхание бердяевской мысли, ее особый импульс и, может быть, обрадовался ей, как счастливой находке, как той жемчужине, ради которой творческий человек может все отдать, всего лишиться, лишь бы обладать ею:

«В Евангелии нет ни одного слова о творчестве, и никакими софизмами не могут быть выведены из Евангелия творческие призывы и императивы. Благовестив об искуплении греха и спасении от зла и не могло раскрыть тайну творчества и указать пути творчества. Евангельский аспект Христа как Бога,

приносящего себя в жертву за грехи мира, еще не раскрывает творческую тайну человека. Сокрытие в новозаветном христианстве путей творчества — провиденциально. Существуют святоотеческие наставления о трезвении и молитве. Но нет и быть не может святоотеческих наставлений о творчестве. Сама мысль о таких наставлениях в творчестве звучит дико, оскорбительно для слуха. Как жалки все оправдания творчества через Евангелие! Оправдания эти обычно сводятся к тому, что говорят: Евангелие не запрещает и не исключает того и того, Евангелие допускает творчество, Евангелие — либерально. Так принижается и абсолютное достоинство Евангелия, и великая ценность творчества. Почти стыдно уже ссылаться на авторитет Евангелия в оправдание творчества ценностей жизни. Слишком злоупотребляли этим насилием над Евангелием. Из откровения об искуплении не льзя вывести прямым путем откровения о творчестве. Творческая активность человека не имеет своего священного писания, пути ее не открыты свыше человеку. В священных письменах, в которых открывается человеку воля Божья, всегда находит человек абсолютную правду, но другую и о другом. В деле творчества человек как бы предоставлен самому себе, оставлен с собой, не имеет прямой помощи свыше. И в этом сказалась великая премудрость Божья».

Прервемся на миг: в душе уже шевельнулось предчувствие какого-то освобождающего порыва мысли и связанной с ним радости, такой же, как при словах святых Иоанна и Серафима о множестве обителей в доме Отца. А теперь читаем дальше: «Не оправдание творчества через насилие над Евангелием, а другое открывается нам. Мы чувствуем священный авторитет умолчания Евангелия о творчестве. Божественно — премудро это абсолютное молчание Священного Писания о творчестве человека. И разгадка премудрого смысла этого молчания есть разгадка тайны о человеке, есть акт высшего самосознания человека. Лишь не достигший высшего самосознания человек ищет оправданий творчества в Священном Писании и священных указаний о путях творчества, т. е. хочет подчинить творчество закону и искуплению. Человек, целиком еще пребывающий в религиозных эпохах закона и искупления, не сознает свободы своей творческой природы, он хочет творить по закону и для искупления, ищет творчества как послушания. *Если бы пути творчества были оправданы и указаны в Священном Писании, то творчество было бы послушанием, т. е. не было бы творчеством* (курсив мой. — Л. Б). Понимать творчество как послушание последствиям греха, как исполнение закона или как искупление зла, т. е. как откровение ветхозаветное или откровение новозаветное, значит, отвергать

тайну творчества, значит не знать смысла творчества. То, что тайны творчества и пути его сокрыты в Священном Писании, в этом — премудрый эзотеризм христианства. Тайна творчества по существу своему эзотерична, она не откровенна, она — сокровенна. Открываться свыше могут лишь закон и искупление, творчество — сокрывается. Откровение творчества идет не сверху, а снизу, это — откровение антропологическое, не теологическое. Бог открыл грешному человеку свою волю в законе и дал человеку благодать искупления, послав в мир Сына своего Единородного. *И Бог ждет от человека антропологического откровения творчества, сокрыв от человека во имя богоподобной свободы его пути творчества и оправдание творчества* (курсив мой. — Л. Б.)».

Бог ждет от человека откровения в творчестве, именно Бог, Всевышний — эта освобождающая бердяевская мысль втайне указывает на Даниила Андреева, ведь Бердяев говорит не столько о культурном (хотя и о культурном тоже, недаром книга была задумана в Италии), сколько о религиозном творчестве. Даниил Андреев вряд ли читал «Смысл творчества» (Бердяев был недоступен в советское время), но он мыслит вполне по — бердяевски, в духе главы о Серафиме Саровском и Пушкине, сравнивая канонизацию святого и признание поэта гением. Бердяев, в свою очередь, Даниила Андреева не знал, «Розу Мира» не читал и не мог читать, поскольку она была написана уже после его смерти, но заключительная строка «Смысла творчества» таинственно перекликается с «Розой Мира»: «…и лишь через мистерию распятия воскресает роза мировой жизни». И приведенная выше страничка могла бы тоже стать третьим эпиграфом к роману и тем недостающим звеном в логической цепочке, которое позволяет сравнить.

Глава пятая
А ТЕПЕРЬ СРАВНИМ

А теперь сравним: преподобный Серафим в его пустыньке, как ласково и любовно называл он место, где уединялся от людей, лесное, суровое, но при этом счастливое, благодатное и благоуханное для того, кто познал сладость молитвы, узрел живого Бога и просиял духовным светом, и — Даниил Андреев. Да, Даниил Андреев в тюрьме, суровой и безблагодатной, с двухэтажными нарами, зарешеченными окнами, парашей и дверным глазком. В тюрьме, где за десять лет он ни разу не увидел дерева, а затем, увидев наконец, заплакал, разрыдался, словно это было неописуемое, не умещающееся в сознании чудо:

дерево! Вот и сравним этих двух людей, ведь теперь для нас уже не будет непозволительной дерзостью попытка поставить рядом великого подвижника Церкви, причисленного к лику святых, и московского интеллигента, поэта, мыслителя, мистика, именовавшего себя вестником («Я вестник иного дня»). Сравним и то, что означали для одного из них бревенчатая лесная избушка, для другого же Владимирская тюрьма, в которую он попал, осужденный по страшной 58–й статье.

В первом случае — сознательное уединение, уход добровольный, а во втором — уединение насильственное, вынужденное, но и это уход, только впрессованный в те формы, которые создало для него время. Каждое время по — своему формует и самый приземленный быт, и самое возвышенное бытие, и самую обычную человеческую жизнь, в которой всегда поровну возвышенного и земного, поэтому у Даниила Андреева не могло быть пустыньки, время ее попросту не отформовало. Это был уже не конец девятнадцатого века и не начало двадцатого, а его страшная сере дина, и если Владимиру Соловьеву, еще принадлежащему девятнадцатому веку, некий таинственный голос шепнул: «Будь в Египте», где ему в надмирном сиянии явилась святая София, Премудрость Божия, то Даниилу Андрееву словно бы свыше было определено быть в тюрьме, — чтобы именно оттуда проникнуть в иное пространство, восхищену быть в иные обители, услышать иные голоса и распознать свечения иного, горнего мира.

И как ни странно это для нас, с жутковатой оторопью поглядывающих на тюремные стены, тюрьма для него тоже пустынька, о которой он вспоминает если не с любовью и лаской, то с некоей пронзительной благодарностью: «Как могу я не преклониться с благодарностью перед судьбой, приведшей меня на целое десятилетие в те условия, которые проклинаются почти всеми, их испытавшими, и которые были не вполне легки и для меня, но которые вместе с тем послужили могучим средством к приоткрытию духовных органов моего существа? Именно в тюрьме, с ее изоляцией от внешнего мира, с ее неограниченным досугом, с ее полутора тысячами ночей, проведенных мною в бодрствовании, лежа на койке, среди спящих товарищей, именно в тюрьме начался для меня новый этап метаис- торического и трансфизического познания».

Пожалуй, это уж слишком по — русски — отбывать срок в тюрьме и писать мистические книги! Слишком, с избытком, сверх всякой меры: нам бы вполне хватило чердачной комнатенки с полукруглым окном, выходящим на крышу, затянутых паутиной углов, тенькающих по тазу капель, заваленного бумагами стола,

под выгнутую ножку которого подложена бутылочная пробка, оплывшей свечки в медном подсвечнике и замысловатых — мистических! — строк, выведенных на обратной стороне листа какого-нибудь гроссбуха.

Иными словами, мы бы смирились с тем, чтобы автором книг оказался чудак, мечтатель, одинокий житель чердака, забытый всеми отшельник, поскрипывающий перышком под писк мышей и потрескивание стеариновой свечки. Но в том-то и дело, что «Розу Мира», «Железную мистерию», стихи из поэтического ансамбля «Русские боги» написал узник, и, может быть, именно в этом их жгучая тайна.

Даниила Андреева арестовали в апреле 1947 года, хотя несколько раз арестовывали и до этого — обычно перед официальными советскими праздниками: это была профилактическая мера против неблагонадежного. После праздников его выпускали, но на этот раз, в 47–м, за арестом последовало разбирательство на Лубянке и приговор Особого совещания: десять лет Владимирской тюрьмы. Причиной последнего ареста послужил роман «Странники ночи», который он читал в кругу друзей и близких знакомых — их потом тоже взяли, и чувству вины перед ними у Даниила Андреева в тюрьме сопутствовало ощущение неизбежности всего происходящего: так или иначе все люди этого круга — круга интеллигентов, живших в районе Пречистенки и Арбата, — были обречены (следователи говорили, что каждого из них можно смело брать, а уж повод найдется).

Таково было время, определившее его гражданский выбор, сознательный протест, выразившийся в нежелании считаться советским человеком (о чем властям было послано открытое заявление). И так распорядилась судьба, создавшая некий застенок, выпадающее из обычных измерений пространство, духовную нишу, находясь в которой он смог услышать посланную ему Весть. А вокруг — выжженная зноем пустыня, мертвая зона, могильник с миллионами загубленных невинных жертв, именуемый первой в мире социалистической страной, и темный пастырь, опершись на железный посох, грозно оглядывает сухие пески с колючками кактусов и зыблющимися в воздухе миражами.

Образ темного пастыря, Сталина, появился сначала в «Железной мистерии», а затем в «Розе Мира» через много лет после того, как ее автор стал обитателем тюремной камеры, но не рядовым заключенным, получившим срок за несовершенное преступление, а узником, которому словно бы велено: будь!

Вот как он выглядел по описанию тех, кто встречался с ним там, «за затворами тюрьмы»: «За мной затворилась дверь, и

навстречу мне с коротким рукопожатием поднялся с койки худой и высокий, заметно ссутулившийся человек в темно — зеленом тюремном халате. Сухо представился:

— Андреев, поэт, — и взглянул устало и ласково.

Волосы цвета серебристой стали зачесаны назад.

Лоб огромен. Лицо породистое, продолговатое, «арабо — индийское». Кожа лица из-за долголетней тюремной затхлости прямо-таки малярийная, как яичный желток. Ноги босы». (Из воспоминаний Бориса Чукова.)

А вот с каким мужеством переносил он условия, названные им не вполне легкими: «Арестованного Андреева допрашивали наиболее видные бериевцы: министр госбезопасности Абакумов, генерал Леонов и полковник Комаров. Леонов с людоедской улыбкой говорил ему, зловеще растягивая слова:

— Вы еще не знаете, Андреев, специальным ножом мы из вас кишки вытянем. Буквально!

Тогда наивный Андреев запросто протянул следователю деревянную палку, на которую опирался при ходьбе (после Ленинградского фронта мучительно болел позвоночник), и коротко ответил:

— Бейте.

Последовала реплика:

— Любителю Достоевского пострадать захотелось!» (Там же.)

Генерал Леонов, хоть он и не любитель Достоевского, но, оказывается, тоже читал — если не «Братьев Карамазовых», «Бесов» или «Подростка», то, во всяком случае, «Преступление и наказание». Ведь «пострадать захотелось» — из этого романа, один из персонажей которого, Николай, как известно, берет на себя вину Раскольникова. Да, у следователей было принято читать «Преступление и наказание», считалось хорошим тоном… И Леонов, гордясь своей проницательностью, умением видеть врага насквозь, рад случаю показать, что способен говорить на одном языке с интеллигенцией, образованными, писательскими и профессорскими детьми.

Итак, Даниилу Андрееву было велено судьбой: прими с благодарностью свою судьбу и будь тем, через кого Россия получит то духовное знание, которое понадобится не столько им, людям страшной середины, сколько людям будущего, людям нового века! На это веление, на этот зов он ответил всей своей жизнью — не «пострадать захотелось», а сберечь и донести услышанную Весть, и никакой удар палкой не мог лишить его дара, которым он отныне владел.

Дар этот был бесценным, поскольку его книги, распахивающие перед нами дверь в иные миры, показывающие

обители Небесного Дома, — духовное откровение для будущей России. Суждено же ей когда-нибудь из пустыни превратиться в цветущий и напоенный влагой оазис, как предсказывали подвижники, мудрецы, философы — от славянофилов и западников до представителей русского философского ренессанса! Пусть не завтра, не послезавтра (Дании лу Андрееву грезился срок: конец XX столетия, но не дано нам угадывать сроки) — когда-нибудь же суждено! Ах, как понадобятся тогда эти знания, этот бесценный духовный опыт, — понадобятся тем, кто будет наделен особым зрением и испытает то второе рождение, о котором в ночной беседе с Никодимом возвестил Иисус: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия!» (Ин. 3:3).

Разве не угадывается некий Промысел в том, что написанная во Владимирской тюрьме — при постоянных обысках и «шмонах» — «Роза Мира» была восстановлена автором после освобождения по чудом уцелевшим черновикам: заместитель начальника тюрьмы Давид Иванович Крот отдал мешок с черновиками жене поэта! Восстановлена не для того, чтобы ее сейчас же опубликовать — такое представлялось совершенно немыслимым, — а для того, чтобы сохранить, как то евангельское зерно, которое даст много всходов, если погибнет. Вот она как бы и погибла, эта книга, подобно евангельскому зерну пролежав в земле (один машинописный экземпляр действительно был закопан в землю) больше тридцати лет. Можно даже уточнить: тридцать три года, считая от окончания работы над рукописью 12 октября 1958 года до первой публикации в 1991 году, и пусть символика этой цифры приблизит нас к глубинной, непознаваемой сути таких явлений.

Все это время над книгой довлела косная, мрачная, угрюмая толща, тяжкий и беспросветный гнет — не только земных пластов, но и человеческого непонимания, недоверия, сомнений и предрассудков. И вот теперь тяжесть отпала… и книга воскресла… и я, некогда читавший ее по слепому самиздатовскому машинописному экземпляру, могу открыть дверцу книжного шкафа и взять ее с полки.

Да, тяжесть отпала, земная тяжесть, но непонимания, недоверия, сомнений еще достаточно, и главное из них в том, христианская ли по духу, православная ли эта книга, не от лукавого ли, не от прельщения тем, кто столь хитер и изворотлив во всяких духовных подменах? Вот мы снова задали вопрос, от ответа на который ранее уклонились, не считая себя обязанными, благо жанр свободных заметок нам это позволял, а теперь попытаемся не то чтобы ответить, а именно подвести читателя к

самостоятельному ответу… И пусть нам помогут в этом слова Бердяева — слова о том, что Бог ждет от человека откровения в творчестве.

Итак, Церковь книгу не принимает… в ней сомневаются и те, кто толпится сейчас у церковных врат… и те, кто в церковь не заглядывает, перед иконами не молится, но слышит разговоры, улавливает мнения, доносит оценки, — они сомневаются и предпочитают о «Розе Мира» высказываться с осторожностью. Другие — восторженные и фанатичные поклонники, еще более далекие от Церкви, веры и истинной духовности, бездумно именуют эту книгу чуть ли не новым Евангелием.

Между тем те, кто действительно читал «Розу Мира» от начала и до конца, кто проник в ее образный (точнее, метаобразный) строй, попытался осмыслить ее идеи и соотнести исходящее от нее веяние с духом учения Христа, в ней не усомнятся. Где еще с такой силой утверждается миссия Христа как Планетарного Логоса, где так зримо воссоздается Небесная Россия со всем собором ее святых и праведников, где возносится такая хвала Приснодеве Марии, источнику божественной мудрости и любви, и срываются всяческие покровы, физические и трансфизические, с бесчисленных темных ратей, служителей мирового зла?!

Что же при этом настораживает и смущает? Образные язык, столь чуждый лексике православного обихода? Призыв к интеррелигии, объединяющей духовный опыт всего человечества, и сам символ Розы Мира, каждый лепесток которой — одна из мировых религий? Да, пожалуй, это: нелегко нам, разуверившись в интернационализме, поверить в интеррелигию, и все-таки попробуем поразмыслить над этими понятиями.

Вот одно из определений Даниила Андреева: ««Розу Мира» можно сравнить с опрокинутым цветком, корни которого в небе, а лепестковая чаша — здесь, в человечестве, на земле. Ее стебель — откровение, через него текут духовные соки, питающие и укрепляющие лепестки, благоухающий хорал религий». Какой дивный, великолепный образ, позволяющий сделать вывод: религии не противоречат друг другу, а как бы говорят о разном, высветляют различные сегменты единого и безграничного духовного пространства. Там, в этом пространстве, они не сталкиваются, как не сталкиваются небесные тела, движущиеся на разной высоте, по разным траекториям, поэтому их противоречия здесь — мнимые, вызванные лишь человеческой ограниченностью.

«Если Бог един, то другие боги суть, так сказать, самозванцы: это — или бесы, или игра человеческого воображения», —

приводит автор «Розы Мира» пример подобной ограниченности и комментирует его: «Какая детская мысль! Господь Бог един, но богов много; начертание этого слова в русском языке то с большой, то с малой буквы достаточно ясно говорит о различиях содержания, вкладываемого в это слово в обоих случаях».

Поэтому весь пафос «Розы Мира» — в сочувство- вании и совеpовании всему светлому, что есть в других религиях, в преодолении межрелигиозной вражды, в стремлении к всечеловеческому братству и духовному обновлению мира. «Пусть христианин вступает в буддийский храм с трепетом и благоговением: тысячи лет народы Востока, отделенные от очагов христианства пустынями и горными громадами, постигали через мудрость своих учителей истину о других краях мира горнего… Пусть мусульманин входит в индуистский храм с мирным, чистым и строгим чувством: не ложные боги взирают на него здесь, но условные образы великих духов, которых поняли и страстно полюбили народы Индии и свидетельство о которых следует принимать другим народам с радостью и доверием… И пусть правоверный шинтоист не минует неприметного здания синагоги с пренебрежением и равнодушием: здесь другой великий народ, обогативший человечество глубочайшими ценностями, оберегает свой опыт о таких истинах, которыми духовный мир открылся ему — и никому более».

После этого не сомневаться, не отвергать, не бездумно превозносить, а разумно принять надо «Розу Мира» как соединение христианского опыта с общечеловеческим духовным идеалом.

Не отринь же меня за бред и косноязычье,
Небывалое это Действо благослови,
Ты,
Чьему
благосозиданию
и величью
Мы сыновствуем
во творчестве
и любви.

«Железная мистерия»

Глава шестая
ПОТАЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Именно так я и принял «Розу Мира» — сначала прочел, затем перечитал, попытался проникнуть, осмыслить, соотнести, а затем сама эта книга стала как бы меня вбирать, затягивать, растворять в себе, и кончилось тем, что я в ней себя нашел. Вот уж поистине мистика: нашел, обнаружил свое потаенное присутствие, узнал себя, отождествил после того, как натолкнулся на место: «Хорошо быть уверенным, что книгу, которую вынашиваешь всю жизнь, когда-нибудь прочитают чьи-то внимательные глаза и чья-то душа обогатится изложенным в ней духовным опытом». Разумеется, эти слова могут относиться к кому угодно, но я готов был поручиться, что это сказано обо мне. Не знаю почему, но мне казалось, что в тот момент, когда перо автора выводило на тетрадном листке эти строки, я действительно перед ним возник, соткался из воздуха. Именно я, арбатский мальчик в шапке — ушанке, завязанной под подбородком на два бантика и четыре узла, в длинном пальто на вырост, варежках на резинке, продетой сквозь рукава, и валенках с калошами, тяжелыми, будто железные утюги. А вокруг — балаган, вертеп, цыганский табор двора, исписанные мелом кирпичные стены, ржавые пожарные лестницы, подъезды черного хода, дровяные сараи, бачки помойки, качели, столик для домино, обитый жестью, — словом, мир послевоенного Арбата, конец пятидесятых.

Мы жили в ту пору на Малой Молчановке, неподалеку от Собачьей Площадки, в коммунальной квартире с длинным коридором, общей кухней и соседями. От них я вряд ли мог услышать что-то о Данииле Андрееве, хотя один из них был азартным собирате лем книг (в основном Дюма), другая, худая, как оглобля, носившая длинную юбку, безрукавку и черный плат, — усердной, богомольной прихожанкой (от нее мне достались старинное Евангелие и объяснение церковных служб). А на втором этаже, над нами, даже жил священник одного из чудом уцелевших арбатских храмов (из-под его пальто выглядывала ряса).

В моей семье все были сплошь неверующими, но мать прятала в шкафу маленькую икону, на которую молилась при моем рождении. Никто не водил меня в церковь, не говорил со мной о Боге, но тем не менее я с детства твердо знал, что Бог есть, и мне не надо было ничего объяснять и доказывать. Моя нянька, простая деревенская женщина, называла меня почему-то не Леонидом (это имя ее чем-то отпугивало), а Алексеем. И вот, поглаживая меня по голове, она приговаривала: «Алексий, Божий

человек», и мое сердце сладко замирало, меня, совсем маленького, охватывало непередаваемое чувство восторга, неземного блаженства оттого, что я не просто так, папин или мамин, что я — Божий.

И каково мне было потом узнать, что Даниил Андреев умер 30 марта 1959 года, в день Алексия, Божия человека!

Когда я уже учился в школе, сначала обычной, а затем английской, и атеистической пропагандой стала снова внедряться, неким образом навязываться гипотеза Штрауса, что Христа не существовало, что это миф (ее отголоски мы слышим в романе «Мастер и Маргарита»), мои начитанные, просвещенные учителя всячески пытались убедить меня в этом. С доброй, чуть снисходительной улыбкой они внушали на уроках, что Христа попросту не было. Вот не было, и все тут, поймите вы, несмышленыши! Глупенькие вы, поймите! Я же, слушая их, в душе молился: только бы

Он был, только бы они не отняли у меня Христа, только бы всесильная наука не привела доказательство, которое заставило бы последних маловеров, в том числе и меня, покорно склонить голову перед ее неотразимой смердяковской логикой: «Про неправду все написано». Если не было Христа, если все написанное о Нем в евангелиях неправда, выдумка, миф, то я отказывался видеть какой-либо смысл в собственном существовании, мне не хотелось жить.

Да, так было с учителями, но больше всего поразило меня признание Учителя, самого любимого, обожаемого, единственного, сутулого, с покатым лбом, в очках, спущенных на нос, — он преподавал в старших классах английской школы историю. Преподавал необыкновенно, ярко, захватывающе — мы сидели, притихшие и завороженные. История на его уроках оживала, обретала дар речи, мы слышали голоса, гул толпы, возгласы, выстрелы, крики. К тому же я показывал Учителю свои первые рукописи, стихи и рассказы, часто бывал у него в комнатенке под самой крышей высокого углового дома у Белорусского вокзала, — бывал и школьником, и после школы, когда уже учился в университете.

Да, учился в университете и зачитывался Владимиром Соловьевым, чьи тома из дореволюционного собрания сочинений мне давала моя наставница и… покровительница (иначе не скажешь). О да, это была дама (отчасти теософствующая) с высокой прической, изысканными манерами и грубым румянцем: она царила и покровительствовала. Случилось так: я попал в ее языковую группу (китайского языка), она меня выделила, приблизила, стала просвещать и воспитывать. И вот от нее я

получил Соловьева… И конечно, меня захватило, закружило и понесло, и я поехал к Учителю, чтобы поведать ему о своих восторгах. Но, к моему удивлению, он выслушал мои признания весьма холодно, безучастно, скептически и на его лице прочитывалось выражение жалости из-за того, что вот и я поддался религиозному дурману. Я же долго не мог, отказывался понять почему. Почему Учитель заодно с учителями и я впервые не нахожу в нем желанного отклика? И тут этот добрейший, бескорыстнейший, исполненный ко всем любви и сострадания, воспитавший много поколений учеников человек сказал: «Леня, я Христа ненавижу!»

«Может быть, не Христа, а то, что делалось в истории именем Христа?» — так я пытался себе объяснить его ненависть. Но нет, он сказал: Христа. Сказал с какой-то затаенной мукой, в которой чувствовалось давнее, еще юношеское отречение и от Христа, и от всякой церковности, мистики и проч., проч.

Словом, не только учителя, но и Учитель ничего не могли мне рассказать о Данииле Андрееве, подвел же меня к нему вплотную университет. Собственно, я учился на факультете, который имел самостоятельное название — сначала Институт восточных языков, а затем — Институт стран Азии и Африки, ИСАА (к этим четырем буквам иногда добавляли пятую — «К», и получался Исаак, сын Авраама и Сары), и вот над ним- то мистическая дымка витала, маячили блуждающие огни теософии и антропософии.

А как же иначе — востоковеды! Узкая каста посвященных в санскрит, древнекитайский, арабский, тонкости ислама и мистические глубины даосизма. Над ними, конечно, тоже простерла совиные крыла идеология, но при этом не очень клевала. Поэтому можно было если не фрондировать, то — чудачествовать. И в некоторых из посвященных чудаков — угадывалось. Угадывалось нечто от последних — петербургских и московских — мистических кружков, орденов и обществ, масонов и розенкрейцеров: скажем, в академиках Алексееве, Конраде, переводчике древнекитайской «Книги перемен» Щуцком, их менее именитых учениках и последователях.

Университет вплотную подвел, но и сам я сделал важный шаг, когда, отказавшись от малайского, вторым восточным языком выбрал древнекитайский и под водительством его великого знатока Артема Ка- рапетянца погрузился в конфуцианскую премудрость и мистические глубины, пучины, бездны даосских философов Лао — цзы и Чжуан — цзы. И не забыть мне зимние каникулы на третьем курсе, которые я просидел за письменным столом в восторгах и муках, без

комментариев, с одним только словарем (китаисты знают, что это такое) переводя танского поэта Мэн Хаожаня. Не забыть мне и блаженную весну в Крыму, проведенную с его предшественником Тао Юаньмином.

К тому же в старой университетской библиотеке хранились книги из дореволюционных фондов и можно было взять домой того же Бориса Зайцева, Ремизова, Замятина: пожелтевшие страницы, старинный шрифт, какая опьяняющая, головокружительная радость! И конечно же для меня, молодого человека, имели особое значение незабываемые встречи с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, Алексеем Федоровичем Лосевым и Львом Николаевичем Гумилевым, сыном любимого Даниилом Андреевым поэта, — встречи, о которых, надеюсь, когда-нибудь напишу (сейчас это увело бы нас от темы).

Так я постепенно от Владимира Соловьева (а его большой портрет висел у Даниила Андреева в простенке между книжными шкафами) подбирался к «Розе Мира», пока наконец не прочел и ее — сначала «Розу Мира», а затем и грандиозный поэтический ансамбль «Русские боги», и «Железную мистерию», ранние циклы стихов, но именно «Роза» стала для меня главной книгой Даниила Андреева, в которой я к тому же был как бы угадан и предсказан.

Итак, Роза (без кавычек), но ведь при этом был и Роман.

Да, сожженный на Лубянке роман Даниила Андреева «Странники ночи», из-за которого арестовали и осудили на разные сроки, отправили по тюрьмам и лагерям его и близких ему людей, кружок читателей и посвященных. Роман большой, сложный, многоплановый, каких немного в русской литературе, конечно же он меня чаровал, жгуче притягивал, томил мое воображение, и мне мучительно хотелось хоть что-то о нем узнать. Узнать, раздобыть хотя бы крупицы сведений и по отдельным упоминаниям о нем, штрихам, деталям — попытаться восстановить. Да, сожженный — восстановить: как увлекала меня эта задача!

И восстановить не только ради самого романа. Ведь образы его автобиографичны и многое раскрывают в самом авторе, позволяют заглянуть в глубины его души, распознать в ней что-то скрытое и затаенное. К тому же все творчество Даниила Андреева я мысленно разделял на Роман (ранний период) и Розу (поздний период). Именно Романом увенчивались ранние поэмы и циклы стихов — неоконченная «Песнь о Монсальвате», «Янтари», «Лесная кровь», «Немереча», «Московские предвечерия». Точно так же, как «Роза Мира» была завершением, венцом для «Русских богов», «Железной мистерии».

Хотелось — мне, но при этом и на меня словно бы возлагалось поручение — не только узнать, но и рассказать, поведать людям о Романе и Розе, и события моей дальнейшей жизни неким таинственным образом открывали мне то, без чего я никогда не смог бы выполнить порученное.

Глава седьмая
ВСТРЕЧА В ЛАВКЕ ПИСАТЕЛЕЙ

А теперь от завязки — к сюжету!

Началось все с неожиданной встречи — где и когда? — да уж лет двадцать назад, еще при советском режиме, в одном из тех мест, где и положено было встречаться литераторам, — в книжной лавке на Кузнецком Мосту. Да, в лавке, но не на первом этаже, доступном для всех покупателей, а в некоем секретном помещении без окон, куда вела глухая и узенькая деревянная лестница — настолько узенькая, что двоим не разойтись, — и куда гуськом поднимались избранные, допущенные в святая святых, ведомственный книжный распределитель. Там на столик выкладывались книги, которых на первом этаже не было и не могло быть, особый дефицит, великие шедевры, сокровища мировой словесности. Но это еще только святилище, святая святых же находилось за дверью маленькой комнатки, и, чтобы проникнуть туда, надо было сделать ритуальный знак, многозначительно улыбнуться и шепнуть загадочное слово Верховному распорядителю. И если он соблаговолит, то пропустит счастливчика в потаенные кладовые, остальным же причитающиеся им сокровища выносятся служительницами на хрустальном блюде, и уж тут только успевай запустить пригоршню в гору жемчуга, серебра и злата…

Я, признаться, не успевал, и мне оставалось лишь поднимать закатившиеся в щель пола жемчужины и серебряные монетки. И вот однажды, когда я их пристально высматривал, извлекал из щели, тер о рукав и подносил к свету, ко мне обратился очень странный по виду, сухонький, сгорбленный и словно бы уплощенный, почти фанерный старичок, чьи черты улавливались только в профиль, анфас же зыбились, расплывались и исчезали, — обратился с каким-то вопросом, и мы разговорились. Ну, естественно, — о чем же еще беседовать литераторам! — сначала о книгах, о тех жемчужинах и монетках, которые он тоже высматривал на полу. Чувствовалось, что странному, фанерному старичку — энергично жестикулируя, он весь словно торчал, растопыривался, как сказочный Ивашечка, заталкиваемый в печь Бабой — ягой, — очень хотелось поговорить, и постепенно мы

перешли на другие темы. И когда разговор вплотную подвел нас к черте, отделяющей посторонних от знакомых, он назвал свое имя — Виктор Михайлович.

Назвал и как-то очень значительно, почти торжественно и вместе с тем грустно добавил: «Я последний поэт — акмеист». Возможно, он сказал: символист, или упомянул иное поэтическое направление конца девятнадцатого (начала двадцатого) века — точно не ручаюсь. Но смысл был тот, что он не средний из этих, гуськом карабкающихся по лестнице, а последний из тех, далеких, настоящих, великих. Сам-то, может быть, и не великий, но все-таки из тех и поэтому настоящий — таков был смысл его слов, в подтверждение которых он сослался на Ахматову: вот, мол, когда- то был знаком и даже удостоился похвального отзыва о своих стихах.

Заметив, что я готов усомниться — казалось невероятным так вот запросто, в книжной лавке встретить знакомого Ахматовой, — старичок объяснил, каким образом он познакомился с великой поэтессой: сидел в лагере вместе с ее вторым мужем, и это послужило поводом… «Ах, значит, он к тому же и сидел!» — подумал я, понимая, что передо мной человек замечательный, редкий и необыкновенный. Действительно, побывал в печи — сравнение с Ивашечкой возникло не случайно.

Но главное ожидало меня впереди. Убедившись, что мои сомнения исчезли, Виктор Михайлович решил сразить меня окончательно и, спросив, читал ли я «Розу Мира» (на что я с жаром ответил: «Разумеется!.. Конечно!..»), доверительно поведал мне о своей дружбе с ее автором. Не о знакомстве, для которого нужно выискивать повод, а именно о дружбе — юношеской, восторженной, интимно — близкой, возвышеннороматической и, я бы уточнил, закадычной. Уточнил, поскольку это слово придает отвлеченной романтике нечто связанное с местом и временем, Москвой конца тридцатых — начала сороковых годов, косынками, кепками, футболками со шнуровкой на груди, лязгающими на стыках рельс трамваями, дровяными сараями и чадящими керосинками (это вам не Тюбингем и не Марбург!).

Оба юных романтика писали стихи, увлекались искусством (искусством, знаете ли!) да и жили по соседству, один — в Малом Левшинском, другой — в Трубниковском. Разделял их лишь Арбат и Собачья Площадка — как не сдружиться! Когда я об этом услышал, на меня нахлынул блаженный озноб, внутри все сладко заныло и в душе причудливо соединились два противоположных ощущения — реальности и совершенной невероятности.

Затем к ним добавилось третье — сострадания и невольной жалости. Глядя на пальто, ботинки и шапку, в которые был одет

Виктор Михайлович, — а, собственно, там и глядеть-то было не на что! — я с болью почувствовал: друг Даниила Андреева и близкий знакомый Ахматовой, последний поэт — акмеист потому-то еще и последний, что безнадежно одинокий. От одиночества и заговорил со мной, — наверное, и в лавку пришел за этим. Да, не столько купить, сколько поговорить. Те, кто покупает, покупают молча, а Виктор Михайлович и книжку-то держал перевернутой, зато, разговаривая со мной, жадно смотрел мне прямо в глаза. Словно что-то высматривая, что-то с надеждой выискивая, спасаясь от одиночества, невольной мысли о возвращении в пустую комнатенку на окраине Москвы, тоскливом свете лампы, сиротливом кресле.

С той же надеждой предложил записать его телефон. Обычно с надеждой спрашивают, он же с надеждой предложил: быть может, запишете? И молча, лишь с выражением скрытой мольбы в глазах добавил: и позвоните? Я, конечно, записал и пообещал позвонить, тем самым стараясь как можно участливее ответить на его молчание. Мы вместе спустились — сначала по узкой лесенке на первый этаж, а затем по Кузнецкому Мосту на Неглинку. Тут мы простились: пожимая руку Виктору Михайловичу, я заметил, что он словно бы уже вернулся в свое одиночество и поэтому прощался со мной как с человеком, от него отдалившимся, чье вторичное приближение (позвонит и придет) казалось уже менее возможным и не столь желаемым (еще позвонит да и придет!). Я же прощался с ним как с другом Даниила Леонидовича и последним акмеистом, поэтому вдвойне желал, жаждал этого прихода, изнывал от нетерпения, и лишь не- сбывшаяся возможность могла вызвать во мне такое же ответное чувство одиночества.

Через несколько дней я позвонил, и дернула же меня нелегкая сказать, что я являюсь с моим собственным другом! И это при той боязни вторжения, нашествия (придет — нагрянет!), столь свойственной одиноким людям, которая промелькнула и в глазах Виктора Михайловича. Сказал бы — один, и он, скорее всего, согласился бы меня принять, но друг мой тоже был усердным читателем «Розы Мира», даже считал себя в некотором роде знатоком, специалистом, автори тетно произносил названия иноматериальных слоев земли, куда нам суждено попасть после смерти, — Олирна, Нэртис, Скривнус, Ладреф, Мород. Вот я и решил нагрянуть вместе с ним, чем конечно же смутил Виктора Михайловича. Он поторопился сослаться на плохое самочувствие и перенести визит на неопределенное время. Короче говоря, не получилось, не сбылось, и, когда я положил трубку, мне ударил в глаза тоскливый свет лампы, я уселся в сиротливое кресло и

обвел обреченным взглядом свою одинокую комнату…

Глаза восьмая
КВАРТИРОВАЛА В ДОМЕ

Что же дальше? Дальше в моей истории замаячу чил пробел, который искушенные рассказчики прежних времен заполняют словами: шло время. Ну что ж, пусть так и будет: время шло, и я лишь с досадой вспоминал о неудаче. Позвонить еще раз? Но не будет ли это навязчивым и бесцеремонным?! Почаще заглядывать в книжную лавку? Но судьба сама назначает такие встречи, и можно наняться в лавку продавцом и все равно не встретить человека, который тебе так нужен (скажем, ты на минуту вышел, а он вошел — вот и не совпало). Поэтому я выбрал самый надежный способ добиться желаемого — просто стал ждать, следуя поговорке: настанет время, будет и пора, и на месте моего пробела причудливо возник знак, который мне посылала сама судьба.

Судьба! Лишь ее незримым вмешательством можно объяснить, что я случайно оказался в редакции ма ленького журнала, занимавшей одноэтажный флигелек неподалеку от Петровского бульвара… случайно услышал в разговоре дорогое для меня имя и познакомился с человеком… Но прежде чем рассказать об этом, мне хочется не столько набросать портрет одного человека, сколько вывести лицо характерное, обрисовать тип, который я называю… московский бродяжка. Тип — отчасти нынешний, отчасти уходящий вместе со старой, позднесоциалистической, брежневской Москвой. И называю — без всякой насмешки и стремления обидеть тех, кто относится к этому распространенному типу.

Напротив, эти люди вызывают у меня чувство восторга, умиления и зависти: я и сам бы не прочь побродяжничать таким способом, но, увы, ничего не получится. Это люди совершенно особого склада, — можно сказать, особого дара, который дается не каждому. И я им, увы, обделен, поэтому мне даже, признаться, завидно. Одеты брежневские бродяжки обычно в то, что долго носится, не мнется и не требует стирки: потертые и залатанные джинсы, шерстяной свитер до колен, на ногах некая походная обувь, баскетбольные кеды или экзотические войлочные ботиночки с вышивкой. На плече холщовая сумка, как у буддийских пилигримов (вариант — за спиной рюкзачок), волосы стянуты резинкой на затылке, в ухе серьга, в глазах — рассеянно — мечтательная дымка.

Пригласишь в гости — останутся ночевать, затем побудут еще

день, а затем и на неделю задержатся. Не на чем спать — устроятся на полу, постелив себе свитер, который служит и одеждой, и постелью. Если в доме нечего есть, наскребут по карманам медяков, займут у прохожих на улице и купят в булочной буханку ржаного: поджаристую корочку — себе, а мякиш — голубям. Если им наскучат хозяева («Дорогие гости, не наскучили ли вам?..») или хозяев начнет тяготить их присутствие, хотя люди они по духу легкие и необременительные, без всякой обиды накинут на плечо сумку, распрощаются и уйдут, чтобы таким же способом поселиться у других. Так и кочуют по Москве: нынче — здесь, завтра — там. При этом умудряются числиться в неких заоблачных аспирантурах, писать мифические диссертации, получая за это вполне реальную стипендию.

Одним словом, как определено восточным классиком, любителем необыкновенных личностей, — люди совершенно удивительные, и вот с таким человеком я познакомился в редакции. Джинсы, свитер, холщовая сумка — все как полагается. Но, в чем я сразу угадал знак, мой бродяжка, вернее, моя (поскольку это была миловидная девушка, маленькая, худенькая, с короткой стрижкой) квартировала в ту пору не где-нибудь, а в доме АЛЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ АНДРЕЕВОЙ, вдовы Даниила Леонидовича. Это имя я набираю большими буквами и, если бы была возможность, раскрасил бы его разноцветными красками и окружил радужным сиянием. Без этого человека я никогда не узнал бы того, что мне нужно было узнать, не побывал там, где должен был побывать, и — извиняюсь за длинный перечень — не постиг бы того, что надлежало постигнуть.

Теперь я могу назвать и имя автора воспоминаний, на которые уже не раз ссылался: это конечно же Алла Александровна. В ноябре девяносто девятого она подарила мне свою книгу, названную по заглавию ненаписанной поэмы Даниила Леонидовича, — «Плаванье к Небесному Кремлю». Подарила, пригласив к себе в Брюсов переулок: это оказалась наша последняя встреча. Может быть, поэтому Алла Александровна, уже слепая (буква «и» в моем имени слилась с «д»), так и надписала ее: «на долгое плаванье».

Подписала, словно прощаясь и напутствуя…

Я, конечно, прочел ее жадно, от корки до корки, а затем еще и перечитал. Это удивительная книга о том чудовищном времени, об арестах, допросах, тюрьмах и лагерях и о людях, не согласившихся «подлинное» мешать с «подленьким» (как из лучших побуждений предлагал Корней Чуковский). Горло перехватывает, когда читаешь иные страницы. А иной раз улыбаешься или даже смеешься.

Я нашел там многое из того, что слышал от Аллы Александровны, записал и запомнил, но и открыл для себя нечто совершенно новое. В частности, я понял, что бродяжка — это было уже завершение большого периода в жизни Аллы Александровны, который, по ее словам, начался с семьдесят восьмого года: «Постепенно вокруг меня появилось много молодежи. Так, в один прекрасный день возникли Алхимик и Валера, им было по восемнадцать лет, хиппи с длиннющими волосами, увешанные бусами. Им попали в руки какие-то обрывки ксерокопий «Розы Мира» Они пошли меня искать — и нашли».

А вот совершенно очаровательная, вызывающе экстравагантная, в духе Аллы Александровны сцена: «С компанией хиппи я гуляла по Москве. Мне было уже к семидесяти, я надевала строгий костюм и строгую черную шляпу, а хиппи выглядели так, как им и полагалось. В таком виде мы выходили из дома, и из подворотен появлялись новые хиппующие личности и присоединялись к нам. Мы ходили по улицам и разговаривали обо всем на свете».

Она ведь и на отпевании Даниила Леонидовича была в белом подвенечном платье: они обвенчались незадолго до его смерти и он сказал, что их истинный венец будет там, на небесах…

Однако не буду забегать вперед, — итак, в разговоре был упомянут Даниил Леонидович, и я вмешался. Когда выяснилось, что маленькая бродяжка знакома и даже дружна с Аллой Александровной (в дальнейшем я и сам убедился, что ее дом открыт для самых разнообразных московских типов — от бродяг и хиппи до бывших политических заключенных, подпольных философов, священников и т. д.), я сразу предложил план: давайте издадим сборник!

Сам я в то время работал в издательстве и даже, что называется, занимал кресло. Вот меня и увлекла идея не просто издать тексты Даниила Леонидовича, но и попытаться собрать то, что воссоздало бы литературно — философскую атмосферу вокруг него, — письма, воспоминания, автобиографические заметки. Если не сделать это сейчас, драгоценные свидетельства могут оказаться навсегда утраченными: блекнут чернила, истлевает бумага и люди, которых мы именуем современниками тех или иных событий, стареют и уходят. Вот и надо попытаться, пока не поздно… И главное, о чем я мечтал, — издать воспоминания самой Аллы Александровны, о которой я уже многое знал, слышал и даже читал, теперь же предстояло с ней познакомиться и поговорить.

На следующий день я позвонил, представился, и мы условились о встрече.

Да, читал, слышал, знал — и уже сложилось некое представление. Разумеется, весьма расплывчатое, приблизительное, связанное с собственными домыслами и догадками, но я ожидал увидеть этакую теософс- твующую даму — седую, строгое пенсне со шнурком, в наглухо застегнутом платье, с каким-нибудь мистическим талисманом на груди, с пепельными волосами, уложенными в высокую прическу, и странным, воспаленно — пронзительным взглядом расширенных глаз. Да, такое я себе воображал, отдаваясь свободному полету фантазии, — полету, который был прерван торопливыми шагами за дверью, поворотом ключа в замке и услышанным мною возгласом приветствия, таким старомосковским: «Здравствуйте! Милости просим!»

Вместо теософствующей дамы я увидел русскую женщину с лицом страдальчески иконописным, словно бы исплаканным, отмеченным печатью глубокого горя и в то же время неистребимо живым, с постоянно меняющимися выражениями — от внушительной серьезности до наивной, легкомысленной веселости, отваги, вызывающей бравады. Черты лица крупные и словно бы стянутые в одну точку, как это бывает у той породы лесных обитателей — лисиц или белок (Даниил Андреев в письмах ласково называл жену Кротик), — которые вечно хлопочут, озабоченно и напряженно выискивают корм для своего семейства, припадают к земле, всматриваются, вслушиваются, сторожат, стараясь предугадать надвигающуюся опасность. И никакой мистической диадемы, перстня или талисмана — простое платье, подчеркивающее стройность фигуры и передающее удивительную легкость — полетность — движений и жестов.

«Сколько же ей лет?» — задал я себе тогда вопрос. Судя по тому, что она вдова поэта, родившегося в 1906 году (пусть она даже на десять — пятнадцать лет моложе), должно быть много, но ведь никогда не скажешь! Разве что лицо в морщинках, но есть такие морщинки, которые словно бы светятся, сияют, лучатся, — не признак старости, а признак душевного опыта, доброго отношения к людям и неиссякаемой любви к жизни… В комнате много икон… Распятие… Библия… Но дух жилища скорее светский, интеллигентский, артистический. Дух — не ограниченный в пространстве заставленными книгами полками и увешанными картинами стенами (если и были, — их конфисковали при обыске). Собственные же работы Аллы Александровны — по профессии она художник — график — можно обнаружить где угодно, в углу, под диваном, за шкафом, но только не на стенах. Не любит, чтобы красовались, да и не

придает значения собственному творчеству, не носится с ним как с писаной торбой (хотя работает всегда с увлечением): главное — сберечь и опубликовать то, что создано мужем.

Меня пригласили к столу, накрытому с той интеллигентской непритязательностью, которая была неуловимой приметой прежней, ушедшей — беспечной и безбытной — Москвы. Откупорили бутылку вина, накрошив на скатерть сургуча и пробки, подняли рюмки, произнесли тост (московский тост — всегда за встречу), и состоялся мой первый разговор с Аллой Александровной.

Говорили мы тогда о книге: давайте соберем… давайте издадим! Больше я ни о чем не расспрашивал Аллу Александровну — я только смотрел. Смотрел и думал, пытался донести до своего сознания мысль, что передо мной человек, который был рядом с Даниилом Леонидовичем, жил с ним одной жизнью, разделил его судьбу. Судьбу, уготовившую ему Владимирскую тюрьму, ей — мордовские лагеря, ему болезнь и преждевременную смерть в 1959 году, ей — еще многие годы жизни, отданные хранению его памяти, публикации книг, выступлениям перед читателями.

Да, вышло в точности так, как он предсказывал:

Ты умрешь, успокоясь,
Когда буду читаем и чтим.

Значит, этот человек вобрал, впитал, растворил в себе то, что было частью другого человека, и поэтому тот, другой, как бы жил сейчас в нем. Не только воспоминанием, которое можно записать на бумаге, но и реальным присутствием, свечением, аурой. Именно эту ауру я стремился распознать, различить, поймать, почувствовать, — как чувствуют кончиками пальцев покалывание электрических разрядов. Я хотел ощутить живой образ, вызвать из небытия живой дух человека, автора любимых книг, а последующие расспросы должны были облечь его плотью конкретных фактов, штрихов и деталей.

Глава девятая САДОВНИК

После этого мы не раз встречались — по самым разным поводам. Я, что называется, стал бывать у Аллы Александровны — то один, то вместе с друзьями. Сохранилась старая записная

книжка с ее телефоном — 229–87–51 — и адресом, по которому я приходил: улица Неждановой (так тогда назывался Брюсов переулок), дом 4, квартира 59, 3–й подъезд, 7–й этаж. И даже цифровой код домофона: 397. В письмах Даниила Леонидовича часто приводятся адреса и телефоны его родственников и друзей, — телефоны еще с буквенными обозначениями, — к примеру, К 7–37–96 (телефон родителей Аллы Александровны, живших в Подсосенском переулке) или Г 9–60–00 добавочный 252 (телефон Корнея Чуковского). Есть какая-то музыка в этих буквах и цифрах, что-то от воздуха тех лет, запаха Москвы конца пятидесятых. Телефоны семидесятых уже без букв, оголенные, но пусть и они сохранятся, ведь и в сочетаниях цифр тоже своя музыка, особенно сочетаниях, начинающихся на двойку, ведь это телефоны самого центра Москвы, переулков Арбата и Пречистенки. И пусть в минуты одиночества, уныния, тоски по прежним временам и отчаяния оттого, какое нам досталось время, кажется, будто можно взять трубку, набрать номер и услышать до боли знакомый, дорогой голос…

Итак, мы приходили туда, на улицу Неждановой, в дом напротив храма Вознесения Словущего…

Иногда же Алла Александровна приглашала своих друзей, бывших заключенных, сидевших вместе с ней или Даниилом Леонидовичем, священников из маленьких провинциальных приходов, проездом оказавшихся в Москве, издателей и литературоведов, специалистов по творчеству всех Андреевых: отца, Леонида Николаевича, замечательного русского писателя, и его сыновей, Вадима и Даниила. Словом, компания собиралась пестрая, шумная, разговорчивая, и мне оставалось лишь наскоро записывать в книжечку (держал раскрытой на коленях) то, что удавалось услышать.

Так у меня скапливались штрихи, детали, факты… Подчас они перекликались с тем, о чем написано в «Розе Мира», иногда дополняли ее, помогая понять и книгу, и ее автора. Иногда же книга словно исчезала, а автор превращался просто в человека. Человека со всеми свойствами его характера, склонностями и привязанностями, странностями и причудами — или, точнее, тем, что окружающим казалось странным, причудливым, необычным, вызывающим для их трехмерной жизни. На самом же деле было естественным для той жизни, которой жил он, владевший тайной четвертого измерения…

Поэтому, когда он говорит о некоем юноше, недавно доставленном в камеру, «трехмерном», обманутом, воспитанном в духе тех страшных лет: «Бедный мальчик! Он в Бога не верует!» — в этих словах слышится не только его собственная вера, но и

подтвержденное опытом знание того, что такое Бог. Или когда он в сокровенную минуту дрожащим от волнения голосом, со слезами на глазах читает жене то место из Евангелия от Иоанна, где Мария Магдалина принимает воскресшего Иисуса за садовника, то по его особому отношению к этим строкам угадывается, что и он видел так близко. Видел, почти прикасался, осязал духовным зрением если не Иисуса Христа в сиянии Его небесной славы, то небесное воинство, окружающее Его престол или из иных нездешних миров возносящее к Нему благие молитвы.

Приведем это место полностью: «А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало Тело Иисуса. И они говорят ей: жена! Что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! Что ты плачешь? Кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему: господин! Если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит ему: Раввуни! — что значит: Учитель! Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:11–17).

Поразительный отрывок — поразительный тем, как передана в нем близость, зримость, реальность чуда! «Она, думая, что это садовник, говорит ему…» Представим себе высеченную в скале пещеру — гробни цу, где погребен Иисус, вход в нее вырублен, конечно, не во весь человеческий рост, а примерно в половину, на уровне пояса, и Марии нужно наклониться, чтобы заглянуть внутрь. И вот, наклонившись, она видит ангелов: их лики сияют, белые одежды светятся в темноте. Вряд ли она привыкла к таким ужасающим видениям, — к тому же она потрясена тем, что гробница оказалась пуста, поэтому, отвечая ангелам, она словно не слышит собственного голоса и говорит сама с собой: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». Она вся в слезах, ее лихорадит, и эта фраза для нее — словно горячечный бред.

Произнеся ее снова, она выпрямилась, бессознательно обернулась, и вот некая фигура смутно обозначилась рядом. Наверное, садовник, а кто же еще, — ведь могила находится в саду Иосифа Аримафейского! Мария и к садовнику обращается с той же горячечной фразой и вдруг слышит голос — близкий, любимый, обожаемый ею, который ни с чьим не спутаешь! Она

бросается к Иисусу: «Раввуни!» — но притронуться к Нему нельзя, Его плоть преобразилась, и человеческими руками… Впрочем, чуть позже апостолы, и прежде всего Фома, прозванный Неверующим, получат возможность удостовериться, что их Учитель воскрес телесно, — и даже осязали раны от гвоздей в Его запястьях. Но Марию Иисус остерегает, властно останавливает: не прикасайся! Я восхожу к Отцу и поэтому отныне доступен лишь духовному, молитвенному, созерцательному прикосновению, а это — особый дар верующих, знающих, посвященных.

Глава десятая ПО НОЧНОЙ МОСКВЕ

Так мы встречались с Аллой Александровной.

Иногда случалось вместе бывать в гостях и даже на неких дипломатических приемах, посольских обедах и ужинах, и по — домашнему официальных и официально домашних, куда ее настойчиво приглашали, а ей не хотелось идти одной, не хотелось чувствовать себя в центре внимания, отвечая на любезности, сохраняя на лице обязательную улыбку. И она как бы создавала защиту, окружала себя спасительной стеной, за которой можно укрыться, стеной из друзей и знакомых, самых испытанных, верных и надежных. И вот снова возникала пестрая и шумная компания, усердно налегавшая на вина и закуски и — поскольку желание закусить в таких случаях совпадает с желанием поговорить — демонстрировавшая перед иностранцами русскую духовную экзотику: философствования на тему «В Россию можно только верить», «Москва —

Третий Рим» и прочие мессианские откровения. При этом почтенный профессор русской литературы, украшенный благородными сединами, старательно маскировал прохудившийся на локте свитер, его лучший аспирант, будущее светило науки, стеснительно засовывал под ковер носки запыленных ботинок, а я, свободный литератор, тайком ловил под столом болтавшуюся на нитке пуговицу.

Умные, воспитанные, в высшей мере деликатные и образованные иностранцы охотно слушали, высоко поднимали брови, удивленно качали головой, решительно все понимали и ровным счетом ничего не могли понять. Хорошо, хорошо, все это так — Третий Рим, но зачем все это?! — как бы спрашивали они, всем своим обликом, отутюженными костюмами, начищенными до блеска ботинками и надежно пришитыми пуговицами предлагая совершенно иной способ жизни, иную философию. Ту, которая для нас была чистейшей экзотикой, поэтому наши компании не сливались, существовали обособленно, каждая за

своей стеной, в себялюбивом и надменном отстранении. И лишь Алла Александровна — ей, несмотря на все попытки укрыться, все-таки приходилось быть в центре — удерживала нас от того, чтобы двинуться стенкой на стенку, и умело прокладывала мостики для дипломатических отношений меж нами.

Возвращались мы поздно вечером — едва успевали в метро, долго неслись по тоннелю в пустом светящемся вагоне, а затем, высадившись в центре, провожали до дому Аллу Александровну. Шли бульварами, улочками, переулками… Красновато мерцала луна, раскачивался на ветру фонарь, выхватывая из темноты угрюмую плоскость дома с остовом полуобвалив- шегося балкона, исчерченную мелом арку с помойными баками, поваленный серый забор. И казалось, будто не фонарь раскачивается, а улица странно кренится, повисает в воздухе, колеблется и вот — вот взлетит вместе с нами, отойдет в иное измерение, иное пространство…

В этих ночных прогулках мне открывалась Москва — такой, какой ее видел, знал и любил Даниил Андреев, какой он воссоздал ее в стихах и особенно в романе «Странники ночи», — сквозящей, зыблющей- ся, нездешней. Москва словно теряла свою материальность, вещественность, становилась призрачной и прозрачной, — словно воображаемые театральные декорации к декадентской пьесе чеховского персонажа. Такое сравнение возникало еще и потому, что тогдашний, закатных советских времен центр Москвы — это истинный декаданс, распад, упадок: все кро шится, осыпается, и материя, вещественный покров города, сползает, словно скатерть со стола. Дома без стен, стены без домов, зияют пустые окна, в трещинах штукатурки прорастают деревца, и вместо львов, куропаток, рогатых оленей шныряют крысы, призраками бродят коты, зачарованно воют на луну собаки — куда там Треплеву из «Чайки»!

И пожалуй, был в этой невещественной, призрачной, пустотной Москве свой аромат, своя поэзия, свой романтический флер, который мог бы ответить умонастроению автора «Странников ночи», хотя за ее упадок, декаданс, крошащуюся штукатурку Даниил Леонидович, понятное дело, не отвечает и его Москва во многом совсем не та, которую тогда застали мы. Да и что мы, собственно, застали — купола без крестов, остатки монастырских стен, пролетарские гербы на фасадах дворянских особняков, Кремль с чудовищным стеклянным кубом посередине. А при Даниле Леонидовиче еще первый храм Христа Спасителя стоял, отражаясь в Москве — реке, и, по рассказам Аллы Александровны, они с мужем весной слушали лягушек у стен Новодевичьего монастыря! Мы же, нынешние москвичи, — дети

второго храма…

С храмом Христа Спасителя связано одно из самых сокровенных душевных переживаний автора «Розы Мира», именно там впервые случилось то, что было им названо духовным озарением, «инфрафизи- ческим прорывом психики»: «Первое событие этого рода, сыгравшее в развитии моего внутреннего мира огромную, во многом даже определяющую роль, произошло в августе 1921 года, когда мне еще не исполнилось пятнадцати лет. Это случилось в Москве, на исходе дня, когда я, очень полюбивший к тому времени бесцельно бродить по улицам и беспредметно мечтать, остановился у парапета в одном из скверов, окружавших храм Христа Спасителя и приподнятых над набережной. Московские старожилы еще помнят, какой чудесный вид открывался оттуда на реку, Кремль и Замоскворечье с его десятками колоколен и разноцветных куполов. Был, очевидно, уже седьмой час, и в церквах звонили к вечерне… Событие, о котором я заговорил, открыло передо мной или, вернее, надо мной такой бушующий, ослепляющий, непостижимый мир, охватывающий историческую действительность России в странном единстве с чем-то неизмеримо большим над ней, что много лет я внутренне питался образами и идеями, постепенно наплывавшими оттуда в круг сознания».

Вот и я в июньский день, то пасмурный, то солнечный, с голубыми просветами в лиловом облачном небе, стою у парапета второго храма. Передо мной Москва — река, палаты Строганова на том берегу, Замоскворечье. Справа — острые теремные крыши, фасад с изразцовой выкладкой дома Перцова, построенного в стиле модерн и описанного в «Чистом понедельнике» Бунина (в нем, скорее всего, жила героиня). Слева — Кремль, островерхие башни стен, державное здание дворца с зеленой крышей, купола соборов, колокольня Ивана Великого, многоярусная, с опояской под золоченым, увенчанным крестом куполом, узкими прорезями окон. А чуть ближе ко мне — колонны, барельефы, стеклянные крыши Пушкинского музея и Москва, Москва, Москва. Какое величие и великолепие! Какая захватывающая дух панорама! Признаться, и мне хочется, чтобы земное отслоилось сейчас в небесном. Хочется, чтобы в небе над Кремлем соткалось видение, зыбкие, струящиеся контуры светоносных соборов и башен, блещущие шлемы бесчисленных ратей, плещущие на ветру знамена и хоругви. Хочется, хотя это и наивно, но я втайне надеюсь: а вдруг?.. И даже кажется, что вот оно… есть… возникает…

И все слилось: кочевья бранные
Под мощным богатырским небом,
Таежных троп лихая небыль
И воровской огонь костра,
В тиши скитов лампады ранние,
И казнь, и торг в столице шумной,
И гусли пиршеств, и чугунный
Жезл Иоанна и Петра…

В единстве страшном и блистающем,
Как кубки с кровью золотые,
Гремящие века России
Предстали взору моему
Под солнцем, яростно взлетающим
Над этим страстным, крестным пиром,
Над тысячеобразным миром,
Чей нижний ярус тонет в тьму.

Казалось — огненного гения Лучистый меч пронзил сознанье, И смысл народного избранья Предощутился, креп, не гас, Как если б струи откровения Мне влажно душу оросили, Быть может, Ангелом России Ниспосланные в этот час.

Даниилу Андрееву, написавшему стихотворение «У стен Кремля», казалось в смысле — виделось, виделось вполне реально, наяву, но мне это только кажется, и вскоре, надышавшись этим простором, я возвращаюсь назад по Гоголевскому бульвару. Цветет сирень, столь любимая Даниилом Леонидовичем, своими соцветьями напоминающая звездные миры (букет сирени — своеобразный символ в романе «Странники ночи»). Я вижу старую станцию метро «Арбатс — н—

кая», кинотеатр «Художественный», куда меня водили в детстве, столь же знакомые с детских лет фасад ресторана «Прага» (ренессансная галерея), дом Мос- сельпрома. И меня тоже охватывает непередаваемое чувство восторженной любви к Москве, приобщенности к ее истории, скрытой в глубине веков тайне, ее соборной душе, — чувство, словно посланное мне свыше, из Небесного Кремля, из Синклита России.

Нечто подобное пережитому у храма Христа Спасителя и описанному в «Розе Мира» повторилось у ее автора через семь в церкви Покрова в Левшине: «Внутреннее событие, о котором я говорю, было и по содержанию своему, и по тону совсем иным, чем первое: гораздо более широкое, связанное как бы с

панорамой всего человечества и с переживанием всемирной истории как единого мистического потока, оно, сквозь торжественные движения совершавшейся передо мной службы, дало мне ощутить тот высший край, тот небесный мир, в котором вся наша планета предстает великим храмом и где непрерывно совершается в невообразимом великилепии вечное богослужение просветленного человечества».

Вот истинно андреевское восприятие Москвы как вечного города, как активно заряженного геополя, некоей мистической плоскости, гигантской пластины конденсатора, впитывающей токи вселенских энергий. По словам Аллы Александровны, Даниил Леонидович был великим ходоком, способным часами бродить по Москве, собственно, он и сам в этом признается, но ему близка не только поэзия ее уголков, заросших акацией скверов и тихих двориков, но и сотрясающий ее эпический гул, доносящиеся из глубины раскаты подземного грома. Поэтому такое значение для него имеет Кремль с заложенным под его холмами духовным магнитом, поэтому так влечет его твердыня храма Христа Спасителя, мощные стены Новодевичьего монастыря.

Но при этом есть у него и иная, с детства любимая Москва, и начинается она с домика в Малом Левшинском переулке, куда тетушка Елизавета Михайловна привезла его из Берлина, новорожденного и сразу осиротевшего: в Берлине от послеродовых осложнений умерла его мать Александра Михайловна Вели- горская. Убитый горем отец не мог видеть сына, не мог побороть в себе невольной неприязни, чуть ли не отвращения к этому орущему красному комочку, чье появление на свет лишило его обожаемого, драгоценного существа — молодой жены. Поэтому ребенок захирел бы, зачах и вряд ли бы выжил, если бы не настойчивое и решительное вмешательство бабушки Ефросинии Варфоломеевны: Елизавета Михайловна от ее имени потребовала, настояла… впрочем, и настаивать особо не пришлось, поскольку Леонид Николаевич сразу согласился с тем, что так будет во всех отношениях лучше. Для Ефросинии Варфоломеевны же та легкость, с которой дочь добилась согласия, стала еще и поводом для немого упрека зятю, подтвердившего ее давнюю, затаенную правоту: да, неспроста ей так не хотелось этого брака, скрепя сердце отдала она дочь за знаменитого писателя.

Так Даниил оказался в Москве и Москва как бы восполнила то, чего лишил Берлин. Тетушка Елизавета Михайловна, старшая дочь Ефросинии Варфоломеевны, стала для него мамой Лилей, ее муж Филипп Александрович Добров заменил ему отца, который

бывал в Москве лишь наездами, а сам город — отныне для него родина, отчий край, места его счастливого, райского детства. Правда, некоторое время Даниил жил с отцом на Черной речке, но это чуть было не закончилось трагически: съезжая на санях с горы, он по недосмотру старших едва не утонул в темной полынье.

И самое главное из этих мест, детских уголков, конечно, дом, описанный во многих воспоминаниях, но, может быть, лучше всего в повести «Детство» Вадима Андреева, брата Даниила, который некоторое время жил с ним: «Дом Добровых в Москве — номер пятый по Малому Левшинскому переулку, около самой Пречистенки — это целая, уже давно ушедшая в прошлое эпоха русской интеллигентской семьи, полупро- винциальной, полустоличной, с неизбежными «Русскими ведомостями» с бесконечными чаепитиями по вечерам, с такими же бесконечными политическими разговорами — дядя Филипп по всему складу своего характера был типичнейшим русским интеллигентом, — с гостями, засиживавшимися за полночь, со спорами о революции, Боге и человечестве. Душевная, даже задушевная доброта и нежность соединялись здесь с почти пуританской строгостью и выдержанностью. Огромный кабинет с книжными шкафами и мягкими диванами, с большим бехштейновским роялем — Филипп Александрович был превосходным пианистом — меньше всего напоминал кабинет доктора. Приемная, находившаяся рядом с кабинетом, после того как расходились больные, превращалась в самую обыкновенную комнату, где по вечерам я готовил уроки. В столовой, отделявшейся от кабинета толстыми суконными занавесками, на стене висел портрет отца, нарисованный им самим. На черном угольном фоне четкий, медальный профиль, голый твердый подбородок — Леонид Андреев того периода, когда он был известен как Джемс Линч, фельетонист московской газеты «Курьер». В доме было много мебели — огромные комоды, гигантские шкафы, этажерки. В комнате, где я жил вместе с Даней, весь угол был уставлен старинными образами — их не тронули после смерти бабушки Ефросиньи Варфоломеевны».

Глава одиннадцатая
ПРЕЖНЯЯ ЖИЗНЬ В ДРУГИХ МИРАХ

И вот я, странствующий энтузиаст, отправляюсь искать этот дом… И вот я отправляюсь искать… И вот я отправляюсь… — намеренно повторяю трижды, потому что искание превратилось для меня в постоянное действо: самого дома давно уже нет, его

снесли так же, как и множество «домиков старой Москвы», воспетых Цветаевой, но я отправляюсь. И отправляюсь чаще всего один, иногда с теми, кто разделяет мою любовь к «Розе Мира», — мы назначаем свидание у метро, идем по Пречистенке и сворачиваем в Малый Левшинский, — иногда же с теми, кто бывал в этом доме и сберег о нем воспоминания… но об этом чуть позже.

Я отправляюсь искать даже не дом (его давно нет), а место, где он стоял. Для меня это так важно — найти место, где стоял дом со всеми его шкафами, комодами, роялем, старинными образами. Важно потому, что место — это нечто подлинное и вечное. Можно забыть, где оно находилось, но его нельзя уничтожить, стереть, обратить в кирпичную пыль. Нельзя заменить его на иное — ложное место, сказав, что подлинного и не существовало. Нет, оно существовало, а значит, существует и тот, кто дает ему имя, кто жил на этом месте, соприкасался с ним своими мыслями, чувствами, сомнениями и разочарованиями. Поэтому место сохраняет присутствие человека, как бы продлевает его во времени и пространстве, и, отыскав место, я словно бы мысленно соприкасаюсь с тем, что мы называем личностью или даже душой.

И вот я отправляюсь, но я еще не знаю точно, где оно, это место. Разумеется, я получил подробные наставления от Аллы Александровны, но я боюсь ошибиться, за это место принять другое. Я медленно сужаю границы… здесь или, может быть, здесь? Чуть правее или левее? Ближе или дальше? Снова звоню и снова спрашиваю, допытываюсь. Алла Александровна терпеливо объясняет, но разве по телефону объяснишь, и объяснение неизбежно превращается в обещание пойти вместе со мной, но не сейчас, а через некоторое время: она расхворалась, неважно себя чувствует. Поэтому я при всем моем нетерпении должен немного подождать. И, пока я жду, подсчитывая дни, происходят две встречи, одна из которых приближает, другая же приводит меня к дому. Можно сказать, к самому крылечку…

Я все-таки побывал у Виктора Михайловича Василенко, последнего поэта — акмеиста. Видно, не зря занимал кресло в издательстве: оно-то, родное, мне и помогло. Дело в том, что благодаря одному из наших редакторов ко мне попала рукопись Виктора Михайловича, и теперь для меня было вполне естественным поближе познакомиться с автором. И вот я в комнатке Виктора Михайловича — пристроившись на краешке дивана, слушаю его рассказы.

Комнатка самая обычная, что называется, стандартная, обставленная в духе шестидесятых годов. Точнее, не в духе, а в

стиле, потому что никакого духа у этих годов не было и все стремились к стилю… стилю… стилю, самая примечательная особенность которого заключалась в его полном отсутствии. Виктор Михайлович, разумеется, не стремился, а просто купил в магазине то, что там продавалось. Для него важен не стиль — даже в его аскетическом отсутствии, — а дух.

Поэтому его рассказы удивительны своим пафосом, романтической патетикой. Виктор Михайлович даже не рассказывает, а декламирует — как поэт, с характерными жестами рук, с гордо вскинутой головой, со слегка прищуренными глазами. Короткое, прерывистое, как бы астматическое дыхание обозначает отточия в речи. «Из Трубниковского переулка, где я жил с родителями, я приходил к Дане в Малый Левшинский». Господи, как легко себе это представить да и самому пройти тем же маршрутом: пересечь Арбат в районе бывшего кинотеатра «Арс», свернуть, нырнуть, вынырнуть, и вот он, Малый Левшинский! «…И мы в его комнате с двумя окнами во двор обычно засиживались допоздна». Эта заставленная книгами комната с портретами любимых писателей в простенках между шкафами, в том числе и Владимира Соловьева, — я и ее сейчас мысленно отчетливо вижу: хоть протяни руку и прикоснись.

Разговаривали обо всем: о космосе, астрономии, о поэзии, о Достоевском. И еще: «Помню, как он описывал свою предыдущую жизнь в иных мирах». Вот оно что! Это уже совсем близко признанию самого автора «Розы Мира»: «…слабые, отрывочные, но для меня неоспоримо достоверные проблески из глубинной памяти сказывались в моей жизни с детских лет…» Поэтому для нас ценна мельчайшая деталь в воспоминаниях Виктора Михайловича, сохранивших эти проблески глубинной памяти Даниила: «Там было три Солнца: одно голубое, другое изумрудное, третье такое, как наше. И они всходили в разное время. Причем, когда совпадали восход одного и закат другого, в небе полыхали удивительные, фантастические краски, которые преображали все — дома, леса, луга. Люди там жили очень хорошо, там не было ни войн, ни злодейств. Он говорил о прекрасных зданиях, ласковом море, о том, что все жители этого мира любят поэзию, искусство…

Я его спрашивал: «Там, как в раю?» Помолчав, он отвечал: «Да. Как в раю»».

Не об этом ли в стихотворении Даниила Андреева из цикла «Древняя память»?

Два солнца пристальных сменялось надо мною,
И ни одно из них затмиться не могло:
Как ласка матери сияло голубое,
Ярко — оранжевое — ранило и жгло.

Когда лазурный шар, грустя прощальной славой,
Сходил на мягкий шелк лилового плаща —
Пронзительный восход, кровавый, рыжий, ржавый,
Я ждал в смятении, молясь и трепеща.

Тот мир угас давно — бесплодный, странный, голый…
Кругом — Земля в цвету, но и в земной глуши
Не гаснут до сих пор два древних ореола
Непримиримых солнц на небесах души.

И снова Виктор Михайлович рассказывает, слегка прикрыв глаза, вспоминает: «Он говорил о какой- то любви, которая у него была на одной из планет. О юной красавице, с которой встречался в каких-то мраморных павильонах… А рядом бродили ласковые звери, выгибая бархатистые гибкие спины. Они походили на тигров, но были ручными и никому не делали зла. Там летали птицы, которые садились прямо на плечи, терлись своими клювами о щеки, а некоторые даже позволяли брать себя в руки, и люди кормили их какими-то невиданными зернами. Тут же росли чудесные плоды, их приносили какие-то женщины, кланялись и уходили. Люди возлежали на каменных ложах в легких одеждах и читали книги…»

Читал тогда, во время нашей встречи, Виктор Михайлович и свои стихи. Вот стихотворение «Царское Село», посвященное Ахматовой, — из небольшой книжечки сонетов, подаренной мне 22 марта 1990 года (дата сохранилась на титульном листе, рядом с дарственной надписью), незадолго до смерти Виктора Михайловича:

Здесь золотистые поникли клены,
прозрачные задумались пруды;
здесь вечером лучистый след звезды
горит над мостиком на влаге сонной.
Взор ослепляют термы Камерона,
и статуи прекрасны и горды.
Струя неиссякающей воды
сверкает перед девой обнаженной.

Жилище муз, воспетое не раз!
Сады живые русского Версаля!
Вы для меня роднее, ближе стали;
в уединенье думаю о вас,
о сумерках, сходящих на долины
к дряхлеющим дворцам Екатерины.

Да, да, незадолго до смерти. Собственно, и наша встреча тоже незадолго: это так чувствуется, так распознается, угадывается, улавливается по неким признакам, неким приметам, поэтому Виктор Михайлович с такой юношеской страстью отдается воспоминаниям, припадает к ним, словно жаждущий к вожделенной, холодной струе родника: «Рассказывал мне Даня и о своей прежней жизни в Индии. Там он был воином, она — жрицей храма, и любовь свою они скрывали».

Близость конца — неизбежная близость — как бы возвращает его к началу: «Как-то я приходил в Левшинский переулок. Добровского дома там теперь нет, пустырь. Остались только деревья, которые росли около. Я нашел даже то место, где была комната Дани, куда я приходил и где мы проводили долгие часы. Там теперь песочек и играют дети…» (воспоминания Виктора Михайловича Василенко привожу в литературной записи Бориса Романова).

И он заново переживает то, что уже было когда-то и ныне повторяется снова, — значит, не было, а есть. Есть и навсегда останется, пребудет, как остаются и пребывают в вечности все произнесенные нами слова и совершенные поступки.

Слова, поступки — и мы сами. Поэтому Виктор Михайлович не рассказывает мне о том, как он идет из Трубниковского в Малый Левшинский, а действительно идет из Трубниковского… в Малый Левшинский… пересекает Арбат неподалеку от кинотеатра «Арс» и переулками выходит к дому Добровых, где живет его друг, так же, как и он, сочиняющий стихи. Дом двухэтажный, с деревянным верхом, на высоком основании, как бы на подклети, и, чтобы войти в него, надо подняться по ступенькам. Комната Даниила, быть может, та самая, где их когда-то поселили вместе с Вадимом. Сумрачная, словно затененная… деревья перед окном. Да, эта комната сейчас передо мною — вот она, возникла, обозначилась, вдвинулась в пространство той комнаты, где находимся мы, и я чувствую запахи старого дома, слышу голоса за стеной, кашель пациентов, ожидающих приема, шаги по коридору, звон посуды на кухне…

Бузина на решетке,
Где ни троп, ни дорог нет,
Словно в чарах старого сна.
Только изредка вздрогнет
Тарахтящей пролеткой
Тишина.

Это не только строки из стихотворения Даниила Андреева «Старый дом», посвященного Филиппу Алек сандровичу Доброву, но по мостовой Малого Левшинского действительно тарахтит пролетка, и стихи еще не написаны, и их будущий автор еще ничего не подозревает о… вернее, не прозревает их в своем будущем. Он лишь осознает, что отчасти он своевольное дитя этого дома, его баловень, любимчик, полноправный обитатель, даже строгий ревнитель заведенных в нем порядков, отчасти же — неведомый пришелец, гость, чужак, Андреев в семье Добровых.

Глава двенадцатая
ТАЙНЫЙ ЯЗЫК БИБЛИИ

Небольшое отступление. Читатель вправе задать вопрос: как совместить православие Даниила Андреева с его рассказами о прежних жизнях, столь отдающими буддизмом и индуизмом? И мы должны на него ответить, при этом сделав вид, что этот вопрос не относится для нас к числу нежелательных, неудобных и даже болезненных вопросов. Но, с другой стороны, так ли уж вправе и так ли уж должны? Раз уж мы устремились за автором «Розы Мира» к бесчисленным мирам, вознеслись к неведомым горизонтам, то что уж нам оборачиваться и смотреть назад — туда, где батюшка в церкви стращает адскими муками тех, кто верит в карму, перерождение и прочую бесовщину?! Казалось бы, так, но не будем спешить с окончательным суждением. Может статься, батюшка и сердится-то неспроста и во многом прав.

Но прав от слова «православие». Пусть сам батюшка гневлив, вздорен, запальчив, не слишком начитан и образован, иными словами несовершенен, но оно — совершенно. Да, православие с его догматикой, таинствами, молитвами, чудотворными иконами, храмовыми службами и главной из них — литургией, — совершеннейшее вероучение, хотя, может быть, запечатанное для нас в его сокровенных глубинах. Оно не нуждается ни в каких дополнительных доктринах, и на этот счет можно быть совершенно спокойным. И для нашего батюшки самое верное было бы не гневаться и стращать, а — служить литургию. Литургия должна занимать все его помыслы, а не карма и перерождение: в ответ на все подобные вопросы надлежало бы ему ласково улыбнуться и промолчать. Это вопросы не для священников, не для тех, кто служит, а для тех, кто странствует и пишет. Иными словами, для нас, грешных. И, неуместные в храме, они уместны в моих заметках.

Так что же нам ответить? Только одно: обратимся к Библии, но только вынесем ее, нашу старославянскую (или синодальную) Библию, из храма и положим на письменный стол, а рядом — подлинник на греческом, арамейском и иврите. И будем читать медленно и вдумчиво, сверяя и уточняя отдельные места. В чем же мы убедимся? Разительное отличие Библии от древнеиндийских упанишад или буддийских сутр в том, что проблемы кармы и перерождения в ней не ставятся и не обсуждаются. Ставятся многие проблемы, и духовные, и этические, и даже политические (к примеру, в пророческих книгах), но только не эти. Эти же не вынесены на внешний,

поверхностный уровень обсуждения, никак не очерчены и не обозначены. Более того, в Библии и слов-то таких нет, которые можно было бы неким образом соотнести с понятиями кармы и перерождения, — разве что слово «палингенесия», переводимое у нас как «пакибытие», хотя было бы вернее — «многожизние». Но контекст этого слова не содержит прямого указания на то, чтобы сблизить оное по значению с метемпсихозом.

В целом мы вправе сказать и даже подчеркнуть, что о карме, перерождении Библия умалчивает, и за этим умолчанием — величайшая мудрость. Мудрость эта в том, что Господу было угодно скрыть от нас наши прежние жизни. Точнее даже выразиться так: даже если бы они у нас были, Господь лишил нас всякой памяти о них, ведь эта память могла бы быть опасной и разрушительной, а главное, она не ведет к спасению, отвлекает от задач этой жизни, решаемых здесь и сейчас. Отсюда — и мудрое умолчание, во всяком случае на внешнем уровне.

А на внутреннем? И вот тут мы убеждаемся, что в Библии есть поразительный способ выражения таких понятий, как карма, перерождение и проч. Назовем это языком логических несообразностей или даже языком абсурда. В какой-то момент логика повествования сбивается, нарушается, вплоть до абсурда, и это служит своеобразным знаком, звоночком: смысл надо искать в иной плоскости. Скажем, в пятой главе «Второзакония» Моисей говорит, обращаясь к народу: «Господь, Бог наш, поставил с нами завет на Хо- риве; не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня…» Но как же так? Ведь в той же книге чуть выше было сказано, что все поколение израильтян, с которыми Бог заключил завет на Хориве (или Синае) и говорил лицом к лицу, вымерло во время странствия в пустыне. И тут вдруг оказывается, что все они живы! Абсурд? Но не будем спешить с такими выводами. В словах Моисея есть своя внутренняя логика. Почему он так подчеркивает: «не с отцами вашими, а с вами»?

А потому что Бог обещал отцам землю обетованную. Отцы умерли, не получив ее, но Бог не может нарушить свое обещание, поэтому отцы живы в своих детях, и это не красивая метафора, поскольку Бог за метафоры не прячется. А что же в таком случае? А то, что нам придется назвать палингенесией, многожиз- нием или — перерождением.

Без этого нам не понять слов Бога, обращенных к Иову многострадальному, и вообще самой вины Иова: «…доходил ты до края бездны и число дней твоих очень велико». Но какой же может быть край бездны, если Иов уверен, что он праведник? И

что значит: «число дней велико»? Разве Иову не известен его возраст? Получается, что Иов все же согрешил, но согрешил в одной из прежних жизней.

Комментаторы Библии указывают еще на один пример явной логической несообразности: «Наг вышел человек из утробы матери и нагим возвратится». Так в синодальном переводе, но в подлиннике сказано: «возвратится в нее», то есть в утробу. Но спрашивается: каким же образом это возможно? Как может человек, однажды выйдя из утробы матери, снова возвратиться в утробу. Как и — добавим еще вопрос — для чего? А для того, чтобы вновь родиться…

На этот язык логических несообразностей указывал еще Ориген, придерживавшийся теории предсуществования души. Учение Оригена было осуждено Церковью, и нам не следует изображать это как гонение церковной ортодоксии на свободную, творческую богословскую мысль. Не будем забывать, что ортодоксия в переводе с греческого и есть православие. И с православной точки зрения учение Оригена — ненужное добавление к его догматике. В храме оно неуместно и в литургии не должно быть отражено. В заметках же наших мы можем позволить себе написать, что учение Оригена многое раскрывает во взглядах Даниила Андреева и его юношеских рассказах о прежних существованиях. И не только юношеских рассказах, но и в таких высказываниях из «Розы Мира»: «Психологический климат некоторых культур и многовековая религиозно — физиологическая практика, направленная в эту сторону, как, например, в Индии и странах буддизма, способствовали тому, что преграда между глубинной памятью и сознанием ослабела. Если отрешиться от дешевого скепсиса, нельзя не обратить внимания на то, что именно в этих странах часто можно услышать, даже от совсем простых людей, утверждения о том, что область предсуществования не является для их сознания закрытой совершенно. В Европе, воспитывавшейся сперва на христианстве, оставлявшем эту проблему в стороне, а потом на безрелигиозной науке, ослаблению преграды между глубинной памятью и сознанием не способствовало ничто, кроме индивидуальных усилий редких единиц».

Как видим, Даниил Андреев охотно пользуется понятием предсуществования, подчеркивая, что христианство в целом оставило эту проблему в стороне, но не игнорировало ее полностью (это как раз и подтверждает пример Оригена). И еще обратим внимание на слова о «редких единицах». Не правда ли, в них улавливается нечто автобиографические? Это и о самом себе, и о тех, кто рядом, близко, может быть в соседней комнате.

Значит, были такие редкие единицы — в том числе и в окружении Даниила Леонидовича. Я, может быть, слишком навязчиво провожу эту мысль, но мне хочется подготовить читателя к появлению одного персонажа моих заметок, которому я придаю особое значение. Пока рано называть его имя, поэтому ограничимся шутливым прозвищем, присвоенным ему в дружеском кругу, — Биша (так Даниил Андреев называет его в письмах). И еще добавлю: его черты угадываются в Адриане Горбове, одном из пер сонажей романа Даниила Андреева «Странники ночи», а в посвященном ему стихотворении Даниил Андреев пишет:

Незабвенный, родной! Не случайно
Год за годом в квартире двойной
Твоей комнаты светлая тайна
За моей расцветала стеной!
И уж воля моя не боролась,
Если плавным ночным серебром
Фисгармонии бархатный голос
Рокотал за расшитым ковром.

Что пропели духовные реки
Сквозь твое созерцанье и стих —
Да пребудет навеки, навеки
Неразгаданным кладом троих.
И какая враждующих душ бы
Ни разъяла потом быстрина, —
Тонкий хлад нашей девственной дружбы
Все доносится сквозь времена!

«Сквозь твое созерцанье и стих», — значит, был поэт и мистик, словом, из тех, из «редких единиц».

Однако вернемся к теме кармы и перерождения. В еврейской мистике каббалы было учение, близкое Оригену, — «гилгул нешамот», «круговращения духов». Хотя каббала окончательно формируется позже христианства, мы должны учитывать контекст этого учения, размышляя над словами Иисуса о том, что Иоанн Креститель — это Илия, который должен прийти перед явлением Мессии: «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит» (Мф. 11:15). Евангельская фраза «кто имеет уши слышать, да слышит» всегда указывает на особую таинственность, закрытость для

непосвященных высказывания Иисуса, и здесь она может восприниматься как отсыл к уче нию «гилгул нешамот». Иными словами, Иоанн Креститель — перерождение Илии.

Можно было бы продолжить этот ряд примеров, но, думается, для небольшого отступления и этого достаточно.

Глава тринадцатая
СТРАНСТВИЯ С БЛОКОМ
ДОМ НА ФОТОГРАФИЯХ

А теперь продолжим.

Добровы — истинные наследники аксаковской Москвы с ее размеренным патриархальным бытом, чаепитиями и разговорами о политике. Об этом писал Вадим Андреев, и об этом же сказано в упомянутом стихотворении Даниила Андреева:

Еще помнили деды
В этих мирных усадьбах
Хлебосольный аксаковский кров,
Многолюдные свадьбы,
Торжества и обеды,
Шум пиров.

Помнили, потому что Аксаков жил тут же, неподалеку, в похожем на Добровский усадебном доме, похожем если не внешним убранством, то внутренним складом, но ведь неподалеку в разные годы жили и Скрябин, и Цветаева, и Блок, и Андрей Белый, и Бердяев, и Борис Зайцев, многие из тех, которые бывали в доме. Крестным отцом Даниила был не кто иной, как Алексей Максимович Горький, а среди его детских воспоминаний есть и такое: как-то раз на улице отец остановился и долго беседовал с одним человеком, а затем, наклонившись к сыну, сказал ему со значением, что это поэт Александр Блок.

Собственно, это еще не встреча, скорее предвестие встречи, описанной в «Розе Мира»: «Я видел его летом и осенью 1949 года. Кое-что рассказать об этом — не только мое право, но и мой долг. С гордостью говорю, что Блок был и остается моим другом, хотя в жизни мы не встречались, и, когда он умер, я был еще ребенком. Но на некоторых отрезках своего пути я прошел там же, где когда-то проходил он. Другая эпоха, другое окружение, другая индивидуальность, отчасти даже его предупреждающий пример, а

главное — иные, во много раз более мощные силы, предохранили меня от повтора некоторых его ошибок. Я его встречал в трансфизических странствиях уже давно, много лет, но утрачивал воспоминание об этом. Лишь в 1949 году обстановка тюремного заключения оказалась способствующей тому, что впечатления от новых ночных странствий с ним вторглись уже и в дневную память».

И далее — о совместных странствиях по иноматериальным слоям: «Он мне показывал Агр. Ни солнца, ни звезд там нет, небо черно, как плотный свод, но некоторые предметы и здания светятся сами собой — все одним цветом, отдаленно напоминающим наш багровый. Я уже два раза описывал этот слой; во второй раз — в четвертой части этой книги; снова напоминать этот жуткий ландшафт мне кажется излишним. Важно отметить только, что не случайно мой вожатый показывал мне именно Агр: это был тот слой, в котором он пребывал довольно долгое время после поднятия его из Дуггура. Избавление принес ему Рыцарь — монах (Владимир Соловьев. — Л. Б.), и теперь все, подлежащее искуплению, уже искуплено. Испепеленное подземным пламенем лицо его начинает превращаться в просветленный лик. За истекшие с той поры несколько лет он вступил уже в Синклит России».

«Я видел его летом и осенью…» Легкая оторопь берет от этой фразы, приоткрывающей дверцу туда, где начинается индивидуальный и неповторимый мистический опыт Даниила Андреева. Данные этого опыта упорядочены, осмыслены и точно датированы: летом и осенью… Далее следует описание иноматериально- го слоя, который мы могли бы назвать одним из кругов ада, но нам дается более точное название — Агр. Принять ли его или отвергнуть? Вспомним вопросы, которые мы себе задавали: вдохновение, диалог с подсознанием, наваждение? Но если все же мистический опыт, тогда да, принять. Во всяком случае, признать, что панорама «обителей в доме Отца» открывается грандиозная, ведь Агр для нас — только начало…

О земном предвестии встречи с Блоком мне рассказывала Алла Александровна, по словам же Виктора Михайловича, услышанным мною тогда, во время нашего разговора, в юношеском облике Даниила проскальзывало нечто послеблоковское, отвлеченное, туманное, книжно — романтическое. Проскальзывало, витало, сквозило — можно подбирать любые определения, выражающие неуловимую суть того, что кажется таким неподвижным, застывшим, остановившимся на фотографиях.

На фотографиях он слишком красив, отчасти даже театрален,

похож на маститого актера, избалованного успехом у публики, у дам: фотограф намеренно выбирал ракурс. Особенно этот его белый отложной воротничок — ну просто богема! Если бы не октябрьский переворот, то к фигурам двух поэтов из рассказа Бориса Зайцева «Улица Св. Николая» (об Арбате) — поэта золотовласого и поэта бирюзовоглазого можно было бы добавить и поэта с откинутыми назад длинными волосами, красиво очерченным ртом, ямочкой на подбородке, высоким лбом и ястребиным носом.

Да, слишком, слишком, но это именно ракурс, положение для съемки, удачно выбранное фотографом. В жизни же эти черты менялись до неузнаваемости, и оказывалось, что перед нами не театрально — краси- вый персонаж дореволюционного Арбата — улицы Св. Николая! — не представитель романтической богемы, играющий в мистику, а совсем иная фигура. И белому отложному воротничку суждено превратиться в наглухо застегнутый ворот — гимнастерки, тюремного халата, простой рубашки в клеточку и пиджака покроя москвошвея.

Если бы не… но он все-таки свершился, октябрьский переворот: «Выходи, беднота, тьма, голь и ни- щество, подымай голос, нынче твой день». Суждено и ему превратиться из наивного мечтателя и поэта предреволюционной поры в сурового мистика и духовидца сталинских лет, эпохи обысков и арестов, окошек для передач и длинных описей конфискованных вещей. Это уже не игра… какой уж тут белый… отложной… фотограф с камерой исчез, и получилось не как в жизни, а получилась — сама жизнь.

Да, на последних фотографиях он живой, узнаваемый — такой же, как в рассказах Виктора Михайловича. Его рассказы — не только о юности, о том, как ходили друг к другу, один в Малый Левшинский, а другой в Трубниковский, но и о том, как им было мучительно тяжко друг без друга и близких им людей. Как арестовали одного, потом — другого, как будили ночью, допрашивали, угрожали, выколачивали палкой, вытягивали щипцами признание.

Разбудить и увести узника из камеры ночью почти наверняка означало — на расстрел, и вот что особен но запомнилось из рассказов: этот ночной тюремный, леденящий страх… Да, ночью один из них слышит шаги надзирателей по коридору, слышит, как поворачивается в замке ключ, открывается дверь, входят, и — шепчет, вжимаясь затылком в стенку: «Господи, помилуй!» Маленький, беззащитный, над ним громада Лубянки… Не в это ли время сулили другому: «Вы еще не знаете… специальным ножом…» И справа, слева, под ногами, над головой та же громада…

После разговора с Виктором Михайловичем я подходил к воротам Лубянки — тем самым, через которые ввозили. Самые обычные ворота, ничего особо страшного в них нет, но мне представлялся маленький человек, вжимающийся затылком в стену… и тот, другой, протягивающий палку: «Бейте!» И почему-то — по какой-то неведомой связи, — вспоминалась строчка: «Взор ослепляют термы Камерона»…

Глава четырнадцатая
СОПРОСТРАНСТВЕННИКИ
КЕНГУРОВАЯ КУРТКА

«А домик невелик, ступеньки к крыльцу, квартира МсГТу на первом, чуть приподнятом этаже — многие старомосковские семьи избегали лестничных маршей, лифтов же Москва почти не знала.

Сразу охватывала в квартире атмосфера высокой духовности, искусства, поэзии, но не самой по себе, а связанной с русской традицией, поисками корней и истоков в народе, с тем, что можно выразить стихами Белого: «Россия, Россия, Россия — Мессия грядущего дня!» Вот в чем рос и чем всепоглощающе жил и дышал Даниил Андреев».

Этот-то дом я наконец, после долгих блужданий и расспросов Аллы Александровны, и нашел, распознал, извлек из глубины дней, к этому дому и привела меня встреча с писателем Вадимом Андреевичем Сафоновым, — точнее, он сам привел. Взял за руку и привел, показал — сузил границы до некоего крошечного пятачка, прямоугольника, зыбко обозначенного в пространстве. Не справа, не слева, а здесь, на этом месте стоял. И ступеньки были, и подклет, а главное… «Я любил самый воздух квартиры Добровых. Часто заходил, несколько раз ночевал — после моей женитьбы у нас с женой, и ныне моей спутницей и другом, не было московской «жилплощади» мы три года прожили в Загорске, за 70 верст, я тепло вспоминаю это время, одно из самых счастливых, при всей скудности, иной раз на грани полной и совершенной бедности, в чем вовсе не виделось главного» (из книги Вадима Сафонова «Дом в меловых полях»).

Да, главное не в бедности, а в том самом воздухе, коим дышали и сам Вадим Андреевич, и его жена, спутница и друг Валентина Гурьевна, — с ней мне тоже довелось встретиться — и Даниил Андреев, соученик, однокашник, сокурсник Вадима Сафонова по Высшим литературным курсам.

Курсы находились в «Доме Герцена» на Тверском бульваре — том самом доме, где сейчас Литературный институт и где я когда-

то преподавал, вел семинар прозы вместе с Андреем Битовым. Впрочем, можно и здесь несколько сузить границы, — разумеется, с помощью того же Вадима Андреевича: «На втором этаже Дома была их колыбель». На первом — писательский ресторан, известный по Булгакову, где бесчинствовали Коровьев и Бегемот, а вот на втором — курсы, но ведь и я на втором, — значит, в самой колыбели. Каждый вторник (день творческих семи — наров) я сюда приходил, и этот коридор с закоулками и множеством дверей, эти комнаты и лестницы знакомы мне так же, как некогда были знакомы Даниилу Леонидовичу, Даниилу, Дане — имя, более всего отвечавшее его тогдашнему облику. Не ветхозаветное: Даниил, не православно — мученическое: Даниил Заточник, а дружески — семейное — Даня, добродушный, беспечный, немного ветреный, хотя и углубленный в себя, прячущий ото всех некую тайну своего внутреннего мира воспитанник Добровых, мечтатель, любитель одиноких прогулок, молодой поэт, посещающий литературные курсы.

Курсы, которые находились здесь: вновь эта магия места и вновь этот обманчивый и непреодолимый соблазн: если устранить разделяющие нас годы, то мы совпадаем. Пусть мы не современники, но мы как бы рядом — сопространственники, да не смутит читателя столь необычное слово. Сопространственники, быть может, ближе друг другу, чем современники, они свободнее в выборе. Допустим, я не преподавал бы здесь, а учился в те же годы, что и Даниил Леонидович, — я вынужден был бы сталкиваться с совершенно чуждыми мне людьми. Вон их сколько было, описанных в воспоминаниях Вадима Андреевича, всяких там Приблудных, Рукавишниковых, Хориковых! Басили, гудели, рыкали, раскатисто смеялись — Даниила Андреева за ними и не разглядеть! Но я не учился тогда, а преподавал уже гораздо позже и поэтому из толпы выбираю именно его. И это совпадение в пространстве мне кажется удивительным, почти символическим: он поднимался по этим лестницам, блуждал по этим коридорам, теряясь в закоулках, смотрел в эти окна с по — московски милыми двойными форточками, сидел на этих широких подоконниках, — может быть, курил, а в этих комнатах читал стихи.

Читал ли? Вряд ли слишком охотно: совпадения со слушателями не было. Мало того что не поняли бы, но еще бы и донесли. Даже Вадим Андреевич пишет: «Круглым своим почерком, на больших листах, он писал непрерывно, стихи, прозу. И не было сомнений, что все это — «против течения»». Это течение унесло их в дальнейшем в разные стороны: Вадима Андреевича к успеху, заслуженному признанию, прижизненному

собранию сочинений, переводам на иностранные языки и даже — по некоей искусительной прихоти судьбы — Сталинской премии за роман «Земля в цвету». Сталинские так просто не давали: надо было чем-то заслужить, угодить, потрафить. И Вадим Андреевич, не в осуждение ему будь сказано, потрафил, выступил против генетиков. Даниил Леонидович же потрафить не захотел («А тех, кто сегодняшнему кадит, // достаточно без меня»), и то же самое течение унесло его далече, в другую сторону, к глухой непризнанное™, уничтожению всего написанного на Лубянке и сталинской же… тюрьме.

Но тогда они были вместе, дружили, что называется, домами (первая жена Даниила и жена Вадима — близкие подруги). Бывали друг у друга в гостях, просиживали ночи напролет, балагурили, насмешничали, озорничали, спорили, ссорились, мирились. И даже куртки у них одинаковые — по моде тех лет, — с кенгуровым воротником.

Поэтому для меня так важно встретиться с Вадимом Андреевичем, расспросить, разузнать, допытаться, каким он был тогда, Даниил Леонидович, Даниил, Даня: вспомните, расскажите, ведь вы же современники! И вот нежданная удача: Вадим Андреевич (он ведь не только «Землю в цвету» написал) печатается в нашем издательстве, мы составляем книгу, и мне, как говорится, сам бог велел… Шумной гурьбой, вместе с редакторами и прочим издательским народцем, мы отправляемся в Астраханский переулок, где живет Вадим Андреевич и где нас уже ждут: сначала разбираем рукописи, бережно извлекаемые им из архива, — напечатать бы это… это… это… А затем и стол накрыт на маленькой кухоньке, и бутылка вина на столе, и добродушно — язвительная, снисходительно — строгая и, я бы добавил, царственно — беззащитная Валентина Гурьевна — разъяснения этих странных эпитетов последуют дальше — усердно потчует нас закусками. Уж пожалуйста, угощайтесь! Самое время приступить к расспросам…

Осторожно, исподволь, с суеверным страхом спугнуть удачу и от этого — с напускным бесстрастием и якобы холодноватым интересом, скрывающим мое жгучее любопытство, я приступаю. И тут роль рассказчика незаметно переходит от Вадима Андреевича к его жене: она многое помнит острее, с выразительными подробностями, не только зрением, но и слухом, и ее память, словно лучик волшебного фонаря, выхватывает из темноты целые сцены со всеми декорациями, костюмами и репликами персонажей.

Да, да, царственно — беззащитная, опасливо — смелая, авантажно — застенчивая, и некая женственность и светскость —

в духе респектабельности тридцатых годов — до сих пор проглядывают в ней: о, только попадись ей на язычок! К тому же совершенный скептик по отношению к «Розе Мира» (с очаровательным небрежением именует ее «Розой Ветров»), да и к стихам Даниила Андреева тоже — пальма первенства как бы всецело принадлежит творчеству мужа, — она искренне любит Даню. Настолько искренне и нежно, что, когда ей зябко, набрасывает на плечи не кенгуровую куртку Вадима, а кенгуровую — Даниила! Хотя пальма первенства и здесь… всецело принадлежит… и Даниил свято чтит в ней жену друга (для тридцатых это подлинно святое!), но Данина куртка как бы теплее, лучше греет! Впрочем, это уже один из рассказов Валентины Гурьевны, а их было очень и очень много…

Признаться, я их тогда не записал: понадеялся на собственную память. Понадеялся, и напрасно! Сколько раз я убеждался: запоминается то, что особо не стараешься, не стремишься запомнить. Состояние духа в таком случае должно напоминать зеркально чистую поверхность озера, при полном безветрии (буддийская отрешенность), напускное же бесстрастие — рябь на воде. Вот и в памяти моей зарябило, на ее тихую гладь набежали морщины, и просвечивавшие в глубине образы скрылись под мелкими волнами. Поэтому через несколько лет после нашей встречи я позвонил Валентине Гурьевне, чтобы проверить и себя, и ее.

И что же?! — ее память, не тронутая рябью, бережно хранила образы прошлого, и она в точности повторила все свои рассказы, не упустив ни единой подробности. К тому же я имел возможность сопоставить кое — какие факты. К примеру, Валентине Гурьевне запомнилось, что в комнате Даниила, в левом углу, стоял сундучок с вещами умершей матери, Александры Михайловны, и вот, пожалуйста, читаем у Вадима Андреева: «…в сундуке, обитом железными полосами, хранились Шурочкины платья, отдельно в ларце лежали бусы и ленты ее украинских костюмов…» Значит, действительно был сундучок, и было многое другое (мои сопоставления это подтверждают), и я могу полностью довериться мемуарным свидетельствам Валентины Гурьевны…

Что ж, роль рассказчика теперь переходит ко мне, и я поднимаю крышку того сундучка… того ларца, и мелкие бусинки, сорвавшись с истлевшей нитки, падают мне на ладонь. Бусинки — воспоминания, бусинки — сценки, бусинки — истории — какую же из них выбрать?! Ну, скажем, эту, элегически — школьную, образцовую, с оттенком назидательности историю знакомства. У обоих была учительница, строгая, добрая и

настоящая — даже имя произносилось с особым благоговением, — Екатерина Андриановна, и у нее был заведен обычай: знакомить лучшего выпускника с самой смышленой, даровитой, умненькой, подающей надежды первоклашкой. Так впервые и познакомились выпускник Даниил Андреев и первоклашка Валентина… тогда еще никакая не Сафонова, а носившая свою первую, девичью фамилию, — познакомились, чтобы затем познакомиться снова уже на литературных курсах.

Познакомиться и сдружиться — и напрямую, непосредственно, с устранением всех дистанций, с непреодолимым желанием накинуть на плечи Данину куртку, и как бы опосредованно, с дистанцией, с осознанием того, что и у Вадима такая же: она для Даниила жена близкого друга, он же муж закадычной подруги, Шуры Горобовой, красивой, взбалмошной и эксцентричной. Шура верховодит, держит Валентину, по ее же собственному выражению, на поводке, и вот в пору страстной влюбленности Шуры они устраивают паломничество к дому Даниила — босиком по мартовскому снегу, две восторженные поклонницы, преданные почитательницы, верные ученицы. Стоят под окнами — вот мы какие, посмотрите на нас! Уж очень хочется, чтобы посмотрели, хотя самим и зябко (невольно поджимают пальцы босых ног и стучат зубами), и смешно, и не к лицу благовоспитанным девицам этаким способом завоевывать расположение молодых людей! Но Шура, сорвиголова, верховодит, Валентина же послушно плетется на поводке, и ветерщ в головах у обеих… и мысли легки, как плавающие в воздухе пушинки…

Даниил в эти легкомысленные, беспечные, счастливые годы юности словно бы «под сенью девушек в цвету». Девушек обворожительных, прелестных, лукавых, колких и насмешливых — ах, как умели поддразнивать, заманивать, обольщать и щелкать по носу! Какие витали вокруг них флюиды, принимавшие форму недомолвок, намеков, загадочных жестов! Какие устраивались розыгрыши… психологические эксперименты… даже пытки! Поистине эти «девушки в цвету» были большими любительницами невинных интриг, искушенными провокаторшами, Даниил же, напротив, правдив и неискушен, прямодушен и наивен, если верить воспоминаниям Вадима Сафонова. «Я любил в нем человека неколебимой преданности тому, что считал истиной, и высочайшей честности, никогда не позволявшего себе сфальшивить ни в малом, ни в большом — ни в простом житейском, ни в идейном смысле: неразрывная связь этих двух сфер для меня несомненна», — пишет Вадим Андреевич с явным пафосом. Но мы выделим здесь

то, что можно определить словами: Даниил попросту не умел соврать, скрыть, утаить. Об этом говорят все, кто его знал, да и сам он признается в письмах.

Вот и мы, следуя его примеру, не будем скрывать и утаивать… Не будем даже в том случае, если рассказанная нами история покажется далекой от школьной образцовости, но ведь мы не отметки по поведению выставляем, а пытаемся постигнуть душевный мир человека, который ставил оценки и выносил приговоры только себе — и никогда другим. Человека, сказавшего о своих предшественниках: «…есть еще ряд гениев нисходящего ряда, гениев трагических, павших жертвой не разрешенного ими внутреннего противо речия: Франсуа Вийон и Бодлер, Гоголь и Мусоргский, Глинка и Чайковский, Верлен и Блок. Трагедия каждого из них не только бесконечно индивидуальна, она еще так глубока, так исключительна, так таинственна, что прикасаться к загадкам этих судеб можно только с величайшей бережностью, с целомудрием и любовью, с трепетной благодарностью за то, что мы почерпнули в них, меньше всего руководствуясь стремлением вынести этим великим несчастным какой-либо этический приговор. «Кому больше дано, с того больше и спросится», да. Но пусть спрашивает с них Тот, Кто дал, а не мы. Мы только учились на их трагедиях, мы только брали, только читали написанные их жизненными катастрофами поэмы Промысла, в которых проступает так явственно, как никогда и ни в чем, многоплановый предупреждающий смысл».

«Учились на их трагедиях» — о ком это? Да прежде всего о себе, и такая учеба — если и не трагедия, то, уж во всяком случае, внутренняя драма. Следы глубоко пережитых духовных драм — рубцы, отметины, ожоги — сохранились и в его стихах, особенно в циклах «Вехи спуска» и «Похмелье» (материалы к поэме «Дуггур»), и в «Розе Мира». Сохранились они и в свидетельствах людей, близко его знавших (не будем их называть современниками, потому что нам они тоже близки). И мы еще вернемся к этому, поговорим об этом, постараемся бережно, с целомудрием и любовью прикоснуться к загадке, а сейчас лишь эпизод, сценка, бусинка на ладони…

Место действия — Загорск (так тогда называли Сергиев Посад), жилище Сафоновых, комнатка с низкой тахтой и изразцовой печкой. Действующие лица — приехавший погостить Даниил и Валентина, хозяйка дома. Он прикладывает озябшие руки к теплым белым изразцам, а она, по ее же собственному выражению, возлежит на тахте с провоцирующим видом этакой куртизанки, жрицы любви, эмансипированной особы. До этого они вместе с взбалмошной и эксцентричной Шурой решили, что

им для полной эмансипации не хватает трех победоносных свершений: стать проститутками, совершить убийство (непременно кривым кинжалом в инкрустированных перламутром ножнах) и побывать на Тибете. Эти три азартные мысли пушинками плавают в голове, и вот следует реплика: «Даниил, вы бывали в публичном доме?» Смущенный, грустный, честный, покаянный ответ: «Да, был. Один раз».

В этом ответе весь он, «никогда не позволявший себе сфальшивить ни в малом, ни в большом». И сколько таких бусинок в моей ладони — разве нанижешь на нитку!..

Глава пятнадцатая
В ПОДПОЛЬЕ БОМБЫ ДЕЛАЛИ

У Вадима Андреевича Сафонова мы засиделись допоздна, и не было конца разговорам, рассказам, воспоминаниям — там, на кухоньке, под низкой настольной лампой. Кое-что из этих воспоминаний записано им самим (в книге, на которую я ссылался), кое-что записал я, остальное же пускай остается не записанным, а просто бывшим, случившимся, отчеркнутым на полях жизни, по выражению Пастернака. «Места и главы жизни целой // отчеркивая на полях» — да, в этом тоже есть свой смысл, не записать, а оставить, не помнить, а забыть, запамятовать, предоставить прошлому как прошлому, жизни как жиз ни. Мы стремимся все знать о Пушкине, но не дай нам бог все знать о Пушкине: Пушкин для нас исчезнет, потому что жизнь потаенна, а память избирательна, и, лишив ее этого свободного и прихотливого выбора, мы превращаем живое чудо чьих-то восторгов, прозрений, догадок, взлетов, падений и ошибок в сухие и мертвые факты биографии…

Поэтому я навинчиваю колпачок на самопишущую ручку с вечным пером, прячу в стол записную книжку с тисненой обложкой, отодвигаю в сторону прочие загадочные предметы, относящиеся к разряду писчебумажных, и мы с Вадимом Андреевичем идем в Малый Левшинский. Он, немного грузный, но подвижный, энергичный, с ершиком седых волос, — впереди, а я, странствующий энтузиаст, следом за ним, едва поспеваю. Идем, перешагивая через мутные, вспенившиеся ручьи и перебираясь по доскам через лужи: в Москве весна… Весна, знаете ли, и все вокруг словно бы вздохнуло, ожило и распрямилось. И солнечные молнии зигзагами сверкают в окнах, течет с крыш, капает с карнизов, хлещет из водосточных труб, и черный ноздреватый снег кажется уже нездешним, отрешенным, призрачным…

Вот и Малый Левшинский: ну, что же, Вадим Андреевич, где

стоял дом? Показывайте! Подождите, подождите, сразу и не вспомнить… Вадим Андреевич недоуменно и слегка растерянно оглядывается… пытается сообразить, сориентироваться… как будто здесь, но полной уверенности нет… Давно не был на этом месте, и вот, пожалуйста… и не думал, что все так изменилось. Не думал, хотя сам же написал в воспоминаниях, что дома больше не существует, да и самого переулка тоже: «название притулилось на жалком обрывочке, на одном из двух — трех сиротливых домков».

Именно домков, сиротливых и как бы сплющенных, ужатых, утесненных, но где же среди них?.. На всякий случай спрашиваем у здешних жителей, уточняем, наводим справки, но разве их найдешь, здешних-то: все приезжие! Какая-то женщина с удивительно правильным русским выговором — тоже находка! — не помнит дома, но помнит Вадима Андреевича по одному из его выступлений. Читательница! И все же дом… где он был, несуществующий дом в несуществующем переулке?! Да здесь же… конечно, здесь, перед детской площадкой, своей унылостью напоминающей зверинец: то ли качели, то ли карусели — веселись, детвора!

С неким облегчением вздыхаем: все-таки нашли. Существует! «…Дом угловой, двухэтажный, кирпичный: здесь жил доктор Добров; тут сиживал я, разговаривая с Леонидом Андреевым, с Борисом Зайцевым; даже не знали, что можем на воздух взлететь: бомбы делали под полом; это открылось позднее уже», — пишет в воспоминаниях Андрей Белый, не подозревая о том, что заложенная в начале века (таково название мемуарного тома) бомба взорвется во второй половине, в шестидесятые годы, и все взлетит на воздух. Площадка — зверинец для одичавших детей — это уже на обломках…

Сон Аллы Александровны той поры, рассказанный мне, а затем описанный в ее воспоминаниях «Плаванье к Небесному Кремлю»: малолевшинский дом, комната, где они жили с мужем, и сам он — то ли полулежит, то ли как-то странно сидит. И вот она хочет подойти, прикоснуться, обнять, и под ее рукой все рассыпается, словно истлевшая мумия, все оказывается прахом. На следующий день она приезжает в Малый Левшинский, а дома уже и нет…снесли… Не существует, и только «выскок из тьмы — вспышка магния снова».

Так пишет в воспоминаниях Белый, рассказывающий о встрече с Леонидом Андреевым: «Скоро мы встретились: в той же квартире, у доктора Доброва; Андреев собирался переезжать в Петербург, меня долго расспрашивал об А. М. Ремизове и о Блоке, с которым он только что встретился; с Блоком я был тогда на

ножах; зная это, он точно нарочно меня на него поворачивал, пристально вглядываясь и точно изучая мои слова о Блоке; мы пошли от стола, точно выдернувшись из беседы (кто был за столом, я просто забыл), ставши в тень; что-то высказал мне он, выскакивая из-за стола и занавес приподымая над всей ситуацией нашего глупого быта, в котором Борис, Леонид Николаевич занимают не то положение друг относительно друга, какое должны бы занять: повторяю, что так отдалось мне; а что сказано было, опять не помню.

Пожалуй, и помню: не фразу, а среднюю часть ее, без окончания и без начала: «Как странно!»»

Странная фраза без начала и конца, произнесенная там, где мы стоим, и само место отдается в нас так же, как некогда отдавалось в Андрее Белом, авторе этих воспоминаний. Странная фраза — странный дом — странные люди («кто был за столом, я просто забыл»); странная жизнь, не только их, ушедшая, но и наша, нынешняя: у них в подполье бомбы делали, а у нас площадка с чудовищным металлическим скрежетом качелей… каруселей… чего-то соделанного (содеянного — не как вещь, а как злодейство) из гнутых и крашеных труб…

Мы с Вадимом Андреевичем сели на лавочку, задумались, каждый о своем, ведь он современник, а я со- пространственник, и то, что для него было, для меня есть! Есть и бомбы, и гнутые трубы, и металлический скрежет, и странная фраза, и странная жизнь — всет одновременно. И рядом со всем этим Даня, Даниил, Даниил Леонидович — одновременно и шести — семи- летний мальчик, по рассказам Аллы Александровны, заглядывающий из-за приоткрытой двери (велено ложиться спать) в комнату, где собрались маститые литераторы, знаменитости тех лет, кумиры читающей публики, и романтически красивый юноша с белым отложным воротничком, пишущий стихи и прозу «круглым своим почерком, на больших листах» (позднее я увидел фотокопии рукописей — почерк действительно круглый, а листы большие). И заключенный с малярийным цветом кожи, одетый в темно — зеленый тюремный халат, и освободившийся из заключения, совсем не романтический, подчеркнуто обычный, как бы простой, вписывающийся в образ демократичного конца пятидесятых, и уже нездешний, несуществующий, отлетевший душой, приснившийся в страшном сне своей вдове.

Была ли в доме мистика — не условно — литературная, в духе Белого, Блока и Леонида Андреева, а подлинная, основанная на внутреннем опыте, на сокровенных духовных переживаниях? На этот вопрос мне не ответили ни Вадим Андреевич, ни Валентина Гурьевна: им было вполне достаточно мистики

тогдашней жизни, мистики кошмара и абсурда тридцатых годов, мистики тех двойственных определений — вот и обещанная разгадка! — которые распространялись и на облик человека, и на характер общества, и на уклад жизни в целом. И точно так же, как лагерь был стройкой, а стройка лагерем, монастырь (Соловки) тюрьмой, а тюрьма для таких, как Даниил Андреев, — монастырем, смелость соединялась с опасливостью, героизм с рабством, энтузиазм с тупым автоматизмом, и наоборот — автоматизм с энтузиазмом, рабство с героизмом, опасливость со смелостью.

Это и порождало странную, причудливую, гротескную мистику, сквозящую в некоторых рассказах Валентины Гурьевны. К примеру, как она донимала одного из знакомых (нелишне уточнить: второго мужа подруги Шуры) тем, что, догоняя его на улице Горького, шептала ужасные вещи о Сталине. А он, словно ужаленный, пригибал голову, оглядывался, озирался: не слышал ли кто, часом? Или, скажем, как овдовела хозяйка, у которой некоторое время снимали квартиру на Малой Лубянке (в «Щелочке» — как называли между собой эту узенькую улочку, прилегавшую к каменной громаде НКВД): они гуляли в лесу с любимым мужем, испытанным сотрудником органов. И вот как бы в шутку воспроизводя знакомую ему по службе ситуацию, он велит ей: «Ты беги, а я буду стрелять». Она — бежит, он — стреляет. Она — в шутку же! — возьми и упади. А он — всерьез! — возьми и застрелись.

После такой мистики у Валентины Гурьевны и Вадима Андреевича не оставалось никакого желания замечать другую — ту, из-за которой можно было и в лагерях побывать. Поэтому для меня особенно символично, что заметили иную, сокровенную мистику именно побывавшие — Алла Александровна Андреева и Виктор Михайлович Василенко (их арестовали по одному делу с Даниилом Андреевым).

Глава шестнадцатая
КОВАЛЕНСКИЙ

Вот и настало время назвать имя загадочного персонажа, к появлению которого я так долго готовил читателя. Иными словами, третьего человека, жившего в доме Добровых, хотя с ним мне встречаться не довелось, — Александра Викторовича Коваленского. Да, того самого, Вишу, как прозвали его в доме Добровых (у Даниила было прозвище — Брюшон), поэта, переводчика, троюродного брата Блока, женатого на Шуре, дочери Филиппа Александровича и Елизаветы Михайловны

(«Шуре, говорившей басом», как определила ее Валентина Гурьевна): «вокруг порхало два пухлогубых «зефирика», Лиза и Саша, дети В. М.». Один из «зефириков» — будущий Александр Викторович, с чьим отцом, Виктором Михайловичем, приват — доцентом по кафедре механики Московского университета, и дружил Андрей Белый, автор цитируемых воспоминаний. Таким образом, Коваленский- младший как бы уже обозначен, назван, литературно рожден — он присутствует среди великого множества персонажей мемуарных томов Белого. Но какая судьба уготована пухлогубому «зефирику» — этого Белый предвидеть не мог.

Александр Викторович не только побывал и заметил, — судя по всему, он сам был настоящий мистик. Об этом мало кто догадывался даже из близких ему людей, во всяком случае, в тот период, когда он, потерявший жену и большую часть из всего им написанного (кануло в архивах Лубянки), освободился из заключения и доживал свой век одиноким, непризнанным, надменным и неприступным поэтом — поэтом без книг, вышагивавшим с тростью по тропинкам писательской Малеевки. С помощью Вадима Андреевича я пытался разузнать о Коваленском, по моей просьбе он звонил людям, косвенно близким… так сказать, вращавшимся около… имевшим некоторое отношение. Но у меня осталось досадливое чувство, что их интересовал лишь вопрос, как повыгоднее (в валюте) распорядиться уцелевшими рукописями, ни Вадиму Андреевичу, ни тем более мне их даже не показали.

О предполагаемом же мистицизме было заявлено: нет, и не пахло. Сам Вадим Андреевич охарактеризовал Коваленского как человека излишне рационального, рассудочного, по его выражению, механического. К тому же сухого и язвительного, что называется неприятного. Мне сейчас нетрудно догадаться, почему у Вадима Андреевича сложилось такое впечатление, вернее он сам его сложил, словно кирпичную стенку, чтобы ею отгородиться и за ней спрятаться: Коваленскому он был, конечно же, чужд. Коваленский воспринимал его как одного из литературной братии с Тверского бульвара — да, всех этих Приблудных, Рукавишниковых, Хориковых, которые басили, гудели, рыкали, — иными словами, примитивно советских. Кроме того, Вадим Андреевич всегда был бодр, оптимистичен, открыт и победоносно прост, а Коваленский — затаенно сложен. Заложив руки за спину, Вадим Андреевич напевал при ходьбе: «Трум — туру — рум», а Коваленский мог на это только саркастически усмехнуться. Поэтому он не отказывал себе в удовольствии слегка задеть, уколоть, царапнуть, и стрелы его язвительности не щадили гостя,

приходившего в дом вместе с Даниилом, и гость, спасаясь от них, невольно складывал свою защитную стенку.

Но есть и иные портреты Александра Викторовича. Вот как сравнивает его и Даниила сын их близких друзей: «Я, родившийся в 1937–м, мальчиком часто видел Андреева в нашей квартире на Никольской и всегда чувствовал, что это особенный человек, постоянно общавшийся с потусторонним миром — его мирская оболочка была хрупким сосудом мистического сосредоточения. Таким же человеком — сосудом Грааля — был и Коваленский. Но Коваленский, в отличие от восторженного, увлекающегося Даниила Леонидовича, был врожденный большой барин, чуть ироничный, чуть лукавый, он обо всем вспоминал с полуулыбкой. Его революция застала эстетом — денди, блестящим богатым молодым помещиком, одним из первых дореволюционных московских автомобилистов, и человеком, посвященным с детства в высшие мистические тайны».

И Алла Александровна, жившая с ним в одном доме, конечно, знала, что скрывалось за его надменностью, язвительностью, сухостью и неприступностью (все эти свойства она имела возможность испытать на себе). По ее словам, поэмы Коваленского, которым подчас не хватало законченности и завершенности, такие, как «Корни века» и «Химеры», были овеяны неким мистически — провиденциальным духом. Они словно бы предсказывали «Железную мистерию», эти ранние, довоенные поэмы, написанные до ареста и заключения, хотя в позднем творчестве Александр Викторович часто старался плыть по течению и даже подгребать к берегу, где зазывно посверкивали огоньки официального признания, хвалебных статей в газетах, премий и проч., и проч.

В письме из лагеря во Владимирскую тюрьму Алла Александровна между прочим, с милой непосредственностью сообщала, что в лагерной многотиражке были напечатаны два стихотворения Коваленского — «Открытое письмо мистеру Даллесу» и «Первое мая». Она даже обнаруживала в них какие-то достоинства, никак не выражая своего отношения к тому, что это стихи дежурные, проходные, написанные к дате. Такие, какие писали Приблудные, Рукавишниковы и Хо- риковы. И вот ответ Даниила Андреева: «Сообщение о Бише меня потрясло. Несколько дней я был сам не свой. Что он должен был пережить, чтобы сломаться так ужасно, так бесславно! Поскальзывался-то он уже несколько раз (дочь академика и т. п.) но так упасть!..»

Поясним: «Дочь академика» — неоконченная повесть Коваленского, которую он писал во время войны, связывая с ней надежды на публикацию и тоже робко подгребая, стараясь

приспособиться, подладиться под официально принятый тон.

Но не он один, не он один… другие не только робко подгребали, но и карабкались на берег по скользким камням, расталкивая друг друга, для Коваленского же все это было холодной игрой ума, осуществлением некоей рационалистической программы, способом самозащиты. Если Даниила в юности влекла идея духовного самоубийства (об этом еще будет сказано), то Коваленским, его другом и наставником, наученным горьким опытом тюрьмы, возможно, овладела под старость фантастическая идея или, лучше сказать, химера духовного выживания. При этом Коваленский оставался мистиком от природы, во всяком случае в ранний период, в те годы, когда они были особенно дружны с Даниилом.

Мною установлен факт: временами Коваленский переживал совершенно необычные состояния — ему, что называется, являлось, или, как призналась в минуту откровенности Алла Александровна, «в полубессознательном состоянии он диктовал, а Даниил записывал». Вот он, один из «знатоков экстазов и восхищений» — тот, кого Даниил Андреев чувствовал рядом с собой, когда писал «Розу Мира», и с кем сверял свои мистические переживания. При этом меж ними было одно различие, тайна которого приоткрывается в тюремных письмах Даниила Леонидовича. Странствуя по «обителям в доме Отца», иноматериальным мирам, Коваленский избегал их словесных обозначений, оставлял их неназванными, а Даниил Андреев — называл. Называл и сами миры, и их обитателей, в чем Алла Александровна чувствовала с ним определенное несогласие, спорила, противилась, упрямствовала. Поэтому он ей и пишет: «Ты недовольна словом стихиали. А попробуй-ка объясни это понятие иначе, но так, чтобы определение было коротко и вместе с тем сразу указывало бы, о явлениях какого круга идет речь. Биша тоже очень боялся слов. В итоге это приводило к тому, что можно было ногу сломать, пытаясь разобраться в его бесчисленных «он» и «она»» (письмо 44 переписки с женой).

И названия Даниила, услышанные им, распознанные в тюремной тишине чутким ночным слухом небывалые звукосочетания — те же Серафимовы сухарики, небесная пища, небесная весть, прорвавшаяся из иных миров…

Файр, Нэртис, Готимна, Уснорм…

Как ни относись к подобного рода фактам в наш материалистический век, вот она, подпольная, «катакомбная» мистика сталинских лет, — мистика теософских кружков, разрозненных эзотерических обществ и мечтателей — одиночек! Еще жила великая духовная культура старой России, — жила, как

погибшая Атлантида, посылавшая из бездонных океанских глубин мерцающие отсветы, свечения, сполохи и зарницы. Не стало больше собраний на первом этаже дома в Большом Власьевском: Бердяева в числе других замечательных отечественных мыслителей выслали из России. Русская религиозная философия здесь на время угасла, — угасла потому, что требовала печатного станка, нуждалась в общественных собраниях, кафедрах, публичных чтениях, журналах и книгах и была беззащитна перед цензурой. На кафедры взгромоздилась другая, так называемая — марксистско — ленинская… Но не угасла мистика, не угас непосредственный духовный опыт, в каких бы формах он ни проявлялся, — в форме церковной службы, соборной молитвы или уединенных мистических откровений. Об этом писала в предисловии к «Розе Мира» Алла Александровна Андреева: «В такое время, в такой атмосфере возникает… живое ощущение основного противостояния: Бог — и — дьявол. И все, кто служит Богу или тихо и неумело стремится к Нему каким-либо путем, — спутники». Именно спутники на духовном пути, и никакой цензор не наложит запрет на их совместное творчество.

Никакой — даже самый жестокий и беспощадный, будь это сам дьявол или его ближайшие «оперуполномоченные». И вот в переулках Арбата и Пречистенки, в домах, подобных малолевшинскому, и во множестве других мест встречались… спорили…. обсуждали, и хотя это было «против течения», но было, было. И в результате «погибшее зерно дало много всхода», и мы читаем теперь книги Лосева и Бахтина, Карсавина и Флоренского, «Этногенез и биосферу Земли» Гумилева и «Розу Мира» Даниила Андреева.

Что именно являлось Коваленскому в минуты его необычных состояний, я так и не узнал — не потому, что Алла Александровна была со мной не до конца откровенна, а потому, что она сама не знала: Даниил Леонидович дал слово молчать и в эту тайну не посвятил даже свою жену. Да она и не расспрашивала, верная правилу никогда не переступать черты, не нарушать запрета, не стремиться проникнуть туда, куда доступ закрыт, дверь заперта и ключ потерян: слово есть слово.

Лишь однажды Алла Александровна услышала от мужа, что они с Коваленским обсуждали тему о перенесении Монсальвата в Гималаи. Интереснейшая, надо признать, тема, пунктирно обозначенная и в «Розе Мира», хотя там речь идет не столько о Гималаях, сколько о Памире. «Монсальват — затомис метакультуры европейского Северо — Запада, Американского Севера, а также Австралии и некоторых частей Африки: самый географически обширный и расчлененный из всех затомисов.

Основатель Монсальвата — великий человекодух Титурэль, связанный с Христом задолго до воплощения Спасителя в Палестине. Так же, как Лоэнгрин и Парсифаль, он является не легендарным героем, а реально существовавшим некогда в Энрофе (хотя и не в Палестине) человеком. Грааль содержит эфирную кровь Христа, пролитую им на Голгофе… Центр Монсальвата, ранее связанный с системою Альп, в конце Средних веков переместился далеко на Восток и теперь находится в связи с Памиром (причины этого очень сложны)».

Так, читая «Розу Мира», мы вновь и вновь делаем вывод, отчасти банальный в своей очевидности: мистические факты, явления, недоступные физическим органам восприятия, события, происходящие на иных планах бытия, так же реальны, как факты, явления и события нашей жизни. А может быть, и более реальны, иначе Даниил Леонидович не написал бы в письме жене, чье мироотношение он назвал реалистичным: «Мое же — не реалистично, а реально» (письмо 25). Иначе говоря, подлинная мистика — это не то, что нам кажется, а то, что на самом деле есть, и подтверждением тому последняя история, рассказанная мне Виктором Михайловичем Василенко.

История, случившаяся через много лет после смерти Даниила Леонидовича… Однажды Виктор Михай — лович дожидался очереди в кабинет врача: длинный коридор, ряд стульев, унылая тишина. Напротив сидела совершенно незнакомая ему женщина пожилых лет, очень опрятно и со вкусом одетая. Внезапно он поймал на себе ее пристальный взгляд и несколько смутился: что бы это значило? «Извините, пожалуйста, — обратилась к нему женщина, — вы не были знакомы с Даниилом Андреевым?» — «Да, был. Это друг моей юности». — «Он сейчас стоял над вами».

Глава семнадцатая
РОМАНТИЧЕСКИЙ ФЛЕР

Разумеется, меня, странствующего энтузиаста, вле кло — влекло неудержимо — побывать там, где создавалась «Роза Мира». Но я, признаться, и не мечтал, не надеялся, не мог и вообразить, что такое возможно. Это вам не музей — квартира, охраняемая сонной служительницей со стянутыми в луковку седыми волосами, вязальными спицами и клубком ниток на коленях, в сползших на кончик носа очках и неприкосновенно — красным шнурком вдоль мемориальных диванов, кушеток и кресел — тут охрана другая! По купленному в кассе билету вас не пропустят, а чтобы получить пропуск понадежнее, надо пройти административный лабиринт, до умопомрачения запутанный, с

разными каверзами, дразнилками и страшилками за каждым новым поворотом. Поэтому, не мечтая проникнуть в «музей — квартиру», я собирался лишь съездить и посмотреть на казенный дом, где она находилась, погладить мемориальные стены, украшенные колючей проволокой, издали заглянуть в решетчатые окна. Может быть, за одним из них — почему бы и нет? — писались черновики «Розы Мира», «Железной мистерии», «Русских богов», а затем прятались от тюремной охраны тем же способом, что и самодельные карты или финки!

Да, съездить и посмотреть, побывать рядом, соприкоснуться с тем местом, с тем пространством — не более: этими планами я не раз делился с Аллой Александровной, попутно стараясь выяснить, где, в какой камере, за каким окном отбывал срок заключения ее муж, но точного ответа не получал. Алла Александровна внутри тюрьмы не была, а встречалась с мужем лишь в специальном помещении для свиданий, под надзором служительницы — если не с такой же луковкой и не в таких очках, то вынужденной казаться такой же сонной, не замечающей слез, горячечных признаний, объятий и поцелуев тех, кто наконец свиделся после долгой разлуки.

И вот однажды — что это, снова судьба? — Алла Александровна сама мне звонит и приглашает поехать во Владимир, не для того только, чтобы погладить стены и заглянуть в окна, а чтобы побывать в тюрьме. Уму непостижимо — побывать! Как? Каким образом? Освящалась тюремная часовня, устроенная в одной из камер, и по этому случаю собирались бывшие политические узники — немногие из тех, кто остался в живых, кого удалось разыскать, кто согласился приехать. В их числе и Алла Александровна — как вдова узника и как узник иных не столь отдаленных и столь же страшных мест, а по ее рекомендации включили в список и меня — как биографа и исследователя творчества узников.

Одним словом, были следователи, а теперь исследователи…

Мы должны прибыть во Владимир вечером, переночевать у знакомых Аллы Александровны, Виталия и Татьяны, тамошних краеведов, а утром сдать паспорта охране и переступить черту, отделяющую тюрьму от воли. Стоит ли говорить, как ждал я этого дня, этого часа, этого момента. И вот этот столь долгожданный, желанный, чаемый день настал — в назначенное время я у Аллы Александровны! День настал, а вожделенный момент отодвинулся настолько, что я почувствовал себя на воле, как в тюрьме: Алла Александровна встречает меня растерянная, огорченная, раздосадованная, и тут выясняется… Выясняется, как это обычно бывает, что остальные — те, кого удалось разыскать и

кто согласился, по разным причинам не смогли, а машину из Владимира за нами не прислали. И ей, знаете ли, неудобно, неловко, стыдно передо мной, занимающим кресло, этакой важной шишкой: не прислали, не подали к подъезду. Ну, как тут быть?

Я взмолился, простонал: едем! На электричке, на автобусе, на попутке, на чем угодно, но мы должны быть во Владимире! Алле Александровне, как оказалось (значит, я не совсем пропал в ее глазах), только и надо было это услышать — она подхватила дорожную сумку, и мы отправились на вокзал.

На вокзале мы взяли билет, сели в поезд и поехали… Но разве такое у нас бывает! Билет-то мы действительно взяли, в поезд сели и даже поехали, но до этого оказалось, что поезда отменены, билетов в кассе нет, очередь же на ближайший автобус превышает количество мест раз в сто или двести. Мы решили, что самое лучшее средство передвижения в таком случае все-таки поезд, и, оставив Аллу Александровну держать очередь, я купил на него билеты — те самые, которых не было в кассе. Так уж подвезло, подфартило: не было, а — купил. Бывает!

И вот он, поезд, словно выплывающий из небытия, с зелеными вагонами послевоенных времен, поднимающимися рамами окон, жесткими сиденьями, допотопными тамбурами и масонскими эмблемами из скрещенных молотков. Странный, редкостный, нелепый, фантастичный — воскресший покойник с железнодорожного кладбища! Поезд под стать нашему путешествию, ведь и мы погружаемся в небытие, в со- роковые — пятидесятые, во времена тюрем и лагерей: на каком же поезде нам ехать?!

Аллу Александровну арестовали в апреле 47–го, через несколько дней после Даниила Аеонидовича. До этого она проводила мужа в командировку, получила от него телеграмму, какую-то странную, чем-то насторожившую: как будто не он писал и отправлял. И вот оказалось: не командировка это… И саму ее ждала та же участь, что и мужа: пострадать за опальный роман.

«Странников ночи» Даниил Леонидович читал ей по главам, советовался, делился своими мыслями о нем, спрашивал разрешения придать ее черты одной из героинь (еще до того, как они поженились). Таким образом, роман был пережит, прожит ею, оказался ее судьбой: даже в письмах из лагеря Алла Александровна говорила языком его образов. О том, что в тюрьме создается «Роза Мира», узнавала постепенно, по ответным письмам мужа, но о грандиозных масштабах этой работы долго не догадывалась. Не сразу открылось ей и то, какой мистический

опыт был получен мужем в тюрьме: он рассказывал об этом уклончиво, намеками. И, как уже говорилось, многое в этом опыте она поначалу не принимала, оспаривала. Тем не менее и «Роза Мира» постепенно становилась ее судьбой, словно втягивая ее в себя, вбирая, поглощая без остатка. Ей был вручен мешок с черновиками, она по могала в восстановлении «Розы Мира» по этим черновикам, она сберегла ее для потомков, верная завету мужа: «Хранить, пока жива».

Впервые Алла Александровна побывала во Владимире, уже освободившись из мордовских лагерей: разрешили свидание с мужем. Затем, добиваясь в Москве пересмотра его дела, приезжала снова и снова. И вот еще одно свидание — уже не с человеком, а с местом, сохранившим следы его пребывания, его невидимый образ, частичку его духа…

Устраиваемся за столиком купе: впереди три часа дороги. Перелистываем книги, которые захватили с собой, в том числе и «Розу Мира», но мне, признаться, не до чтения. Три часа дороги — самое время поговорить, наговориться всласть. И я приступаю к главным своим расспросам, о внутреннем, сокровенном, таинственном — о духовном пути, который начинается с избранничества («Первое событие этого рода… когда мне еще не исполнилось пятнадцати лет») и искушения, а заканчивается борьбой и преодолением. «В моей жизни был один случай, о котором я должен здесь рассказать. Это тяжело, но я бы не хотел, чтобы на основании этой главы о животных у кого-нибудь возникло такое представление об авторе, какого он не заслуживает. Дело в том, что однажды, несколько десятков лет назад, я совершил сознательно, даже нарочно, безобразный, мерзкий поступок в отношении одного животного, к тому же принадлежавшего к категории «друзей человека». Случилось это потому, что тогда я проходил через некоторый этап или, лучше сказать, зигзаг внутреннего пути, в высшей степени темный. Я решил практиковать, как я тогда выражался, «служение Злу» — идея, незрелая до глупости, но благодаря романтическому флеру, в который я ее облек, завладевшая моим воображением и повлекшая за собой цепь поступков, один возмутительнее другого. Мне захотелось узнать наконец, есть ли на свете ка- кое-либо действие, настолько низкое, мелкое и бесчеловечное, что я его не осмелился бы совершить именно вследствие мелкого характера этой жестокости. У меня нет смягчающих обстоятельств даже в том, что я был несмышленым мальчишкой или попал в дурную компанию: о таких компаниях в моем окружении не было и помину, а сам я был великовозрастным бала- гаем, даже студентом. Поступок был совершен, как и над каким именно

животным — в данную минуту несущественно. Но переживание оказалось таким глубоким, что перевернуло мое отношение к животным с необычайной силой и уже навсегда. Да и вообще оно послужило ко внутреннему перелому».

Что это, как не исповедь, рассказ о преодоленном искушении, — рассказ неполный, отчасти даже уклончивый, но беспощадный к самому себе. Все характеристики даны: зигзаг… романтический флер… великовозрастный балагай (выразительное словечко!), и все-таки что это за идея — служение Злу, как она могла возникнуть, овладеть сознанием и превратиться в жизненную программу? Ну, рано осиротел, потерял мать, был лишен отца, чувствовал с его стороны некий холод, некую неприязнь и в добровском доме, хоть его ласкали, нежили и баловали, сознавал себя отчасти чужаком. Да и юность — время соблазнов и искушений, личностных надломов и срывов. И все- таки причина где-то глубже, не столько в личностном, сколько в надличностном, ведь человек-то был редкой доброты, хотя и протестовал, если кто-либо отмечал это как достоинство. Именно обо всем этом я расспрашиваю Аллу Александровну, стараясь восполнить рассказ из «Розы Мира»: не то чтобы я стремлюсь составить исчерпывающий перечень неблаго видных поступков автора, но для меня важно уяснить конечный смысл того, что Алла Александровна называет попыткой духовного самоубийства. Ради чего оно совершалось тогда и к чему привело потом? «…Послужило ко внутреннему перелому», да, но и оставило след, запечатлелось в душе неким оттиском, иначе бы он не сказал однажды, что масштаб духовного падения предопределяет масштаб последующего взлета и, таким образом, в познании зла заключен — зеркально перевернутый, отраженный — положительный опыт души (нечто близкое этому есть в буддийском, индуистском тантризме и еврейской каббале).

Но это потом, в тюрьме, а тогда, на воле? Ну, пнул ногою собаку… ну, побывал у проститутки… ну, уговорил пьяницу выпить лишнюю рюмку… ну, женился на нелюбимой женщине… зачем? Себе в отместку или кому-то назло? Нет, здесь иное, здесь идея, можно сказать, почти литературная, идея Раскольникова — преступление и наказание. Идея сознательно совершенного зла и последующего раскаяния — вот почему он внутренне принял тюрьму! Разумеется, тут были и другие причины, и главная из них — «инф- рафизический прорыв психики», выход в иные слои, осуществившийся в условиях вынужденного уединения и неограниченного досуга, но «внутренний перелом» включал и моральное преображение, «прорыв совести», и здесь в самой последовательности важнейших жизненных этапов, воли и

тюрьмы зыбко маячит идея Раскольникова. Маячит, просвечивает, словно вода сквозь ледяную корку, недаром Достоевский — один из самых любимых его писателей и каждого из главных персонажей своего романа «Странники ночи» он наделил подобной идеей. И среди тюремных бумаг мы находим молитвенные обращения, призывы к нему, Федору, а вместе с ним и к другим властителям дум, великим братьям — Николаю, Михаилу, Александру: «Великие братья Синклита, дайте знак! Не покидайте, я изнемог от сомнений, незнаний, блужданий и жажды. Поддержите на пути, на этом страшном отрезке пути — в двойном заключении. Великие братья — Михаил, Николай и Федор, откройте мне духовный слух!»

Так он возносит молитвы Николаю Гоголю, Михаилу Аермонтову, Александру Блоку — всем, о ком пишет в десятой книге «Розы Мира». К этой теме, в ее глубинных измерениях, мы еще вернемся, а сейчас мне снова вспоминается мысль Бердяева о свободном откровении творчества. Да, «Роза Мира» откровение творца, романиста, поэта, но и — что не менее важно — откровение для поэта. За ее мистическими восторгами, экстазами, озарениями чувствуется жар творчества, его пламя, бушующая стихия: это нечто очень литературное, только пойми меня правильно, читатель. Пойми, как понимаешь Пушкина: «…жив хоть один пиит». Мол, он, Пушкин, будет славен, пока в подлунном мире жив хоть один пиит, — вот и с «Розой Мира» так же. Совершенно так же: она — для пиитов! Россия вообще литературная страна, — литературная в каком-то высшем, не постигаемом умом смысле. «Быть может, все в жизни есть средство для ярко — певучих стихов». Русский сказал! А другой русский договаривается до того, что вся наша история свершалась ради того, чтобы из нее потом возникала литература, как «Война и мир» из войны 1812 года. Словом, всюду, всюду они родные, родненькие, Толстой, Тургенев, Достоевский, и если в иных краях о чем-то скажут: мистика! — то у нас опять же: литература!

Поистине только в России поэтам можно молиться. Не сверять с ними свои помыслы, заветные думы и чаяния, а именно молиться, как молится Даниил Андреев. Потому-то и «Роза Мира» дана именно России как литературной стране. Литературной до религиозности. Духовным лицам, священникам, иерархам церкви не так уж обязательно ее читать: что им, своих книг, что ли, мало! Тогда и не будет таких недоразумений, как брань и проклятия в ее адрес или как костер во дворе церкви, где ее сжигали (известен такой случай: купили на деньги, пожертвованные Аллой Александровной, и — сожгли). Право же, недоразумение… и чтобы таких досадных недоразумений больше не было, оставьте

вы ее нам, пишущим, романистам. Оставьте как цеховой секрет или, если угодно, некую игрушку, забаву, усладу: зла ведь нам она не принесет…

Духовному лицу совершенно небывалой, неудобоваримой, кощунственной покажется, к примеру, мысль Даниила Андреева о том, что персонажи перечисленных писателей для него так же реальны, как и окружающие нас люди: «После смерти в Энрофе художника- творца метапрообразы его творений в Жераме (один из средних иноматериальных слоев. —А. Б.) видят его, встречаются с ним и общаются, ибо карма художественного творчества влечет его к ним. Многим, очень многим гениям искусства приходится в своем посмер- тии помогать прообразам их героев в их восхождении. Достоевский потратил громадное количество времени и сил на поднимание своих метапрообразов, так как самоубийство Ставрогина или Свидри- гайлова, творчески и метамагически продиктованное им, сбросило пра — Ставрогина и пра — Свидригайло- ва в Урм (один из нижних слоев иноматериального мира. — Л. Б.). К настоящему моменту все герои Достоевского уже подняты им: Свидригайлов — в Картиалу, Иван Карамазов и Смердяков достигли Магир- на — одного из миров Высокого Долженствования.

Там же находятся Собакевич, Чичиков и другие герои Гоголя, Пьер Безухов, Андрей Болконский, княжна Марья и с большими усилиями поднятая Толстым из Урма Наташа Ростова. Гетевская Маргарита пребывает уже в одном из высших слоев Шаданакара (совокупность всех иноматериальных слоев нашей планеты. — Л. Б.) а Дон Кихот давно вступил в Синклит Мира, куда скоро вступит и Фауст».

Да, неудобоваримая, кощунственная мысль, что за чертовщина такая! Нам же, пишущим, она близка, поскольку знаем мы, как рождаются образы, с какой мукой даются слова и что «строчки с кровью убивают — нахлынут горлом и убьют».

Впрочем, хватит об этом. Мысль о литературности русской жизни дальнейшему развитию не поддается: это именно мысль — ощущение. Мысль можно опровергать, как это делает Розанов, полемизируя с Бердяевым, и это даже правильно. Но с ощущением приходится согласиться (и Розанов соглашается)… И одно и то же ощущение (заметьте!) побуждает нас спросить: «А что это вдруг Россия такая литературная?» и «А почему она, собственно, такая православная?». Христианство зародилось на другом конце света, в Палестине, среди виноградников и смоковниц, а у нас какие ж виноградники?! У нас березки! А вот на тебе! То же и с литературой, с романами — это ведь все французское, из Парижа, с набережной Сены, улицы Ришелье,

Больших бульваров. А вот опять же: Россия, «версты полосаты», николаевский мундир, купола, кресты и — литература!

И пожалуй, нигде православие наше и литературность так не сливаются, как в рассказе Бунина «Чистый понедельник» (недаром мы о нем раньше упомянули!). Спрашивается, ну с чего героине, москвичке, красавице в лебяжьих туфельках, играющей сомнам булически прекрасное начало «Лунной сонаты», так любить все это: допетровская Русь, гроб — дубовая колода, лик усопшего закрыт белым «воздухом», дьяконы с рипидами и трикириями?! А вот любит до того, что потом в глухой монастырь уходит. Православие! И в то же время — упоительная, сверкающая жемчугами, парчовая (по выражению Набокова) проза! Как соединилось! Недаром Бунин, по свидетельству Муромцевой — Буниной, записал в одну из бессонных ночей на обрывке бумаги: «Благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность написать «Чистый понедельник»». Словом, так соединилось, что у меня даже возникает пугающая до оторопи мысль (ощущение!): а ведь православие-то оно изначально для таких, в лебяжьих туфельках, они его истинные хранители и владельцы. Просто православие у них отняли, им на время завладели чужие, кряжистые, осанистые, мосластые, широкие в кости — те, о ком сказано: «И крестом сияло брюхо на народ».

И вот, может быть, Даниил Андреев — тоже из таких истинных владельцев…

Но об этом… тссс… молчок! Говорить не время!

Итак, «самоубийство Ставрогина…. сбросило в Урм», попытка же духовного самоубийства самого Даниила Андреева способствовала его познанию трансфизической сущности зла, прижизненному спуску в те слои, куда попадают души, отяжеленные грузом совершенных грехов. Он бы никогда не воссоздал всю панораму инфернального мира, если бы сознательно не испытал на себе, что такое зло, если бы не приблизился к нему вплотную, если бы его не опалило холодным лиловым пламенем ада — в этом смысл «служения Злу», конечный, итоговый смысл.

Но не отрекусь от злого бремени
Этих спусков в лоно жгучих сил:
Только тот достоин утра времени,
Кто прошел сквозь ночь и победил;
Кто в своем бушующем краю
Срывы круч, пустыни пересек,
Ртом пылающим испив струю

Рек геенны — и небесных рек.

«Гибель Грозного»

Да, так в итоге, хотя первоначально он, избранный, был подвергнут темными иерархиями сильнейшему искушению, соблазну принять зло, облеченное в романтический флер, притягательное и даже как бы и не — злое. Идея не — злого, оправданного, практически целесообразного зла очень уж в духе тех лет… очень уж в духе, словно кто-то неведомый откупорил склянку с темно — фиолетовым, припахивавшим серой эфиром, чтобы ядовитые пары растворились в самом воздухе тридцатых и сороковых.

Зло явно внедрилось, вошло в атмосферу, покрыло всех неким прозрачным, колышущимся, мягко и обморочно — сладко обжимающим мозги покрывалом: отсюда и моральное оправдание Ивана Грозного в литературе и искусстве тех лет, идеализация Петра I и формула «добро должно быть с кулаками». Отсюда же и образ Воланда в «Мастере и Маргарите», сама художественная притягательность которого словно бы внушена неведомым хранителем фиолетовой склянки… Не было ли для Булгакова создание этого образа таким же духовным самоубийством, как для Даниила Андреева идея «служения Злу», ведь метапрообраз Воланда пребывает отнюдь не в Жераме, и кармическая связь с ним куда страшнее, чем с прообразами Чичикова, Собакевича или Наташи Ростовой?!

Глава восемнадцатая
ЗВЕНТА — СВЕНТАНА
ИКОНА ПРЕПОДОБНОГО

Так мы едем, почти без остановок, — только мелькают за окнами платформы дачных станций, веранды, в елочку обшитые досками и выкрашенные мучительно желтой краской, покосившиеся щитки с расписанием, стершимся, словно шумерская клинопись, и круглые вокзальные часы на столбах. Хочется сказать, часы без стрелок — не из любви к загадочным символам, а оттого, что стрелок я не замечаю. Время для меня остановилось, потеряло всякую реальность, и я слушаю, слушаю. Иногда только достаю книжечку и прошу у Аллы Александровны позволения наскоро записать услышанное. «Оливкового цвета, с хоботками, они питаются тем, как мне плохо» — это он сказал

больной, лежащий в постели со своим инфарктом, полученным в тюрьме, после того как явственно различил перед собой контуры тех астральных существ, которые впитывают в себя излучения человеческих страданий. Или иное признание: «Я видел цесаревича Алексея! Ты не можешь себе представить, что он сделал для России!»

На Оке, в Колонове, Даниил Андреев впервые услышал имя — распознал внутренним слухом и сумел подобрать ему фонетический эквивалент, — имя великой богорожденной монады, выразительницы Вечной Женственности, Невесты Планетарного Логоса, Той, Которая являлась в видениях Владимиру Соловьеву, была открыта духовному опыту многих подвижников Церкви и воплощена в вечных образах мировой литературы, — Звента — Свентана… Тут мне хочется прерваться, снова забыть о бегущих стрелках и несколько раз произнести вместе с читателем это слово, доносящее иную, звездную, надмирную, божественную музыку — ту, которую мы называем музыкой сфер: Звента — Свентана, Звента — Свентана, Звента-Свентана… То, что оно прозвучало в этом странном, фантастическом, нездешнем поезде, где-то между Москвой и Владимиром, между волей и тюрьмой, преступлением и наказанием, страданием и счастьем, смертью и жизнью, и то, что моим спутником и собеседником была Алла Александровна Андреева, спутник и собеседник того, кто услышал, распознал, воплотил, — все это, признаться, исполнено для меня особого значения. Ведь Звента — Свентана — один из важнейших, ключевых образов «Розы Мира», можно сказать, мистическая душа этой книги, и среди рыцарей Вечной Женственности Даниил Андреев — один из самых верных, пламенных и стойких.

Роза Мира для него — мистический дар Той, Которой суждено воплотиться в одном из сияющих небесных градов нашей планеты. Она спустится туда с непостижимых горних высот, облаченная в лучезарный эфирный покров, дитя демиурга — народоводителя и одной из Великих Сестер. «С Нею спустится в этот затомис из Элиты Шаданакара сонм высочайших душ. Вот Она, надежда наша и упование, Свет и Божественная красота! Ибо это рождение отразится в нашей истории тем, что увидят наши внуки и правнуки: основанием Розы Мира, ее распространением по человеческим кругам всех стран и, если страшный срыв человечества не отбросит его вниз, в глубь мрака, — приходом Розы Мира к верховной власти надо всей землей». Розы Мира — как торжества всеобщего мира, равенства, демократии (хотя бы под самодержавным началом), гуманитарного расцвета, как устранения вражды и разобщенности, как отказа от деспотизма,

власти полицейских режимов, диктата, террора и принуждения, как объединения человечества в подлинное духовное братство — именно так поняты автором ближайшие цели программы Розы Мира.

Поняты автором, но поняты ли читателем и поняты ли мною, что называется годящимся автору во внуки? Полагаю, что истинное понимание придет к нам не сразу, через определенный срок, а сейчас наша задача — читать «Розу Мира» вдумчиво и непредубежденно. Я, собственно, и есть такой читатель, и именно исходя из того, что «Роза Мира» — книга нечитаная, я и не отказываю себе в том, чтобы лишний раз ее процитировать.

Процитирую и на этот раз — из главы, посвященной Звенте — Свентане, образу ключевому не только для «Розы Мира», но и для всей русской религиозной философии нашего времени. И для философии, и, что еще важнее, для непосредственного опыта духовной жизни: «Известно, что от гностиков до христианских мыслителей начала XX века в христианстве жило смутное, но горячее, настойчивое чувство Мирового Женственного Начала, — чувство, что начало это есть не иллюзия, не перенесение человеческих категорий на план космический, но высшая духовная реальность. Церковь намеревалась, очевидно, дать выход этому чувству, освятив своим авторитетом культ Богоматери на Востоке, культ Мадонны — на Западе. Действительно, перед благоговейным почитанием Материнского Начала — почитанием, иррационально врожденным народной массе, — возник конкретный образ, к которому оно и устремилось. Но то мистическое чувство, о котором я говорю — чувство Вечной Женственности как начала космического, божес твенного, — осталось неудовлетворенным. Ранняя и непререкаемая догматизация учения об ипостасях поставила носителей этого чувства в своеобразное положение: дабы не отпасть в ересь, они принуждены были обходить коренной вопрос, не договаривать до конца, иногда отождествлять Мировую Женственность со Вселенской Церковью или же, наконец, совершать отвлечение одного из атрибутов Божества — Его Премудрости — и персонифицировать это отвлечение, наименовав его святой Софией. Высшие церковные инстанции избегали высказываться по этому вопросу сколько-нибудь определенно, и это не может быть поставлено им в вину, ибо идея Мировой Женственности не может не перерастать в идею Женственного аспекта Божества, а это, естественно, грозит ломкой догматизированных представлений о лицах Пресвятой Троицы».

«Ранняя и непререкаемая догматизация» — да, но ведь в

словах Христа: «Пошлю вам духа утешителя, он же наставит вас на всякую истину», обращенных к апостолам на Тайной Вечери, «нет и тени указания на то, что утешитель, которого пошлет Воскресший Спаситель, есть третья ипостась и вообще ипостась», — так рассуждает Даниил Андреев, мистически переживая Троицу как неразрывное единство Отца, Приснодевы — Матери и Сына. Разумеется, это его личный духовный опыт и личное мнение, правда, «подтверждено оно было и той высшей инстанцией, которая остается для меня единственным авторитетом». К загадке этой высшей инстанции, источника всех сведений, полученных автором «Розы Мира» эзотерическим путем, мы еще попытаемся приблизиться. Сейчас же для нас важно то, что личный опыт, мистические переживания, философские умозрения Даниила Андреева поразительно совпадает с опытом, пе реживаниями, умозрениями Сергея Булгакова, Павла Флоренского, Владимира Соловьева, Дмитрия Мережковского.

Знайте же: Вечная Женственность ныне
В теле нетленном на землю идет!

Или:

И в пурпуре небесного блистанья,
Очами, полными лазурного огня,
Глядела Ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня…

Так у Владимира Соловьева, а вот как у Мережковского, цитирующего эти строки в книге «Атлантида — Европа, Тайна Запада»: «Чтобы понять догмат Божественной Троицы, надо помнить, что между Матерью — Духом и Матерью Господа, Девой Марией, такое же расстояние, как между Богом и человеком, Творцом и тварью. Слишком часто забывалось это, если не в христианском догмате, то в христианском религиозном опыте, и Третье Лицо Божие, заслоненное лицом человеческим, оставалось невидимым, непознанным и бездейственным. Только Матерью-Духом завершается для нас или завершится когда-нибудь Троица».

Не об этом ли у Даниила Андреева?

Слушаю,
Ниц преклоняясь у порога,
Хор Вседержительнице,
Деве Дев, —
Светлых священнослужительниц
Строгий
В купол вздымающийся напев:
Той, Кем пронизаны иерархии,
Той, Кем святится вся вышина,
Той, что бездонным сердцем Марии
Непостигаемо отражена.

«Дом Пресвятой Богородицы»

Для Мережковского завершение предсказано, предугадано в том, что само слово Дух — руах, — изначально женского рода, о чем он вновь и вновь напоминает. Таким образом, третья ипостась Троицы обретает у него свое женское, материнское обличье. И Звента — Свентана Даниила Андреева — не начало ли этого завершения, первый отзвук имени Той, в Которой для будущего человечества сольются и Вечная Женственность, и Вселенская Церковь, и Святая София, и священная Матерь — Земля, Первоматерь рода человеческого, единая во всех древнейших культах и ритуалах?..

За окном по — осеннему быстро темнеет, тяжелым бархатом опускаются сумерки, в небе лучисто сияют звезды, необыкновенно ясные и крупные в эту ночь. Внезапно ослепляют огни встречных поездов, и снова глухая, осенняя, распахнутая темнота полей, оврагов и перелесков: приближаемся к Владимиру. Алла Александровна все рассказывает, вспоминает — и о тюрьме, и о том, что было до и было после. Но тюрьма — черта, граница, нестираемая мета всей их жизни. 25 августа 1956 года — дата первого свидания. Он поднял на руки, обнял, расцеловал и незаметно для вынужденно сонной служительницы — сапоги, гимнастерка, винтовка — передал маленькую тетрадку со стихами. Не с этими ли?

Мне, слепцу и рабу, наважденья ночей расторгая, Указуя тропу к обретенью заоблачных прав, Все поняв и простив, отдала этот труд Всеблагая, Ослепительный миф — свет грядущего — предуказав.

Сапоги, гимнастерка, винтовка и — Всеблагая, Та, Чьей красотой спасется мир: как странно, по — русски это соединилось! Недаром он пишет дальше:

Нет! Не зодчим, дворцы Создающим под солнцем и ветром, Купола и венцы Возводя в голубой окоем, В недрах русской тюрьмы Я тружусь над таинственным метром До рассветной каймы В тусклооком окошке моем.

Да, как странно, по — русски — трудиться над таинственным метром в тюрьме, за тусклооким решетчатым окном! Но ведь и «Роза Мира», если искать ей жанровое определение, одна из тех странных русских книг, которые рождаются в безмолвных и глухих углах, чердаках и подвалах, острогах и кельях, закутах и ямах, осмеиваются, освистываются, вызывают брезгливое недоумение, именуются сумасшедшим бредом («к репутации сумасшедшего мне не привыкать». — Д. А.), а затем поражают своими пророчествами мир. Поражают, — потому что это книги не сочиненные, а словно бы данные, ниспосланные, надиктованные их авторам в минуты прозрения. «Было такое впечатление, что он не пишет в смысле «сочиняет» а едва успевает записывать то, что потоком на него льется», — рассказывал Алле Александровне академик Василий Васильевич Парин, подружившийся в тюрьме с Даниилом Леонидовичем.

В конце разговора Алла Александровна достала, бережно развернула и показала мне свою реликвию — маленькую иконку преподобного Серафима Саровского, с которой Даниил Леонидович не расставался ни на фронте, ни в тюрьме.

Его призвали в армию осенью 1942–го, и провожали его, по словам Аллы Александровны, сестры Усовы, Татьяна и Ирина, его близкие друзья и горячие поклонницы (Алла Александровна была тогда замужем за художником Сергеем Ивашовым — Мусатовым). До этого Даниила Леонидовича то призывали, то отпускали из-за врожденного недуга, больного позвоночника, доставлявшего ему немалые страдания (он даже вынужден был некоторое время носить металлический корсет). Служил он сначала под Москвой, в поселке Кубинка, при штабе формировавшихся там воинских частей. Его использовали на подсобных работах: он печатал на машинке, топил печь, убирался — выметал сор из углов, мыл полы, доставляя немалое удовольствие штабному начальству тем, что у них в денщиках сын прославленного писателя Леонида Андреева. Затем прошел по льду Ладожского озера к осажденному Ленинграду, был в Шлиссельбурге и Синявине, хоронил умерших, подтаскивал снаряды, надорвавшись, попал в медсанбат, и его оставили там санитаром. И всюду эта икона была с ним, он носил ее на груди как величайшую драгоценность.

Маленькую, легко умещающуюся на ладони, я долго, пристально, жадно ее рассматривал. Стоит ли говорить, какой меня охватывал благоговейный трепет от соприкосновения и с самой иконой — потускневшим от времени, но от этого еще более просветленным ликом святого Серафима, — и с тем, что она вобрала, впитала за многие годы, устремленными к ней помыслами, сокровенными движениями ума и сердца. Как чувствовалось, что это намоленная икона, словно бы окруженная неким мистическим полем!

«Великий дух, когда-то прошедший по нашей земле в облике Серафима Саровского, а теперь — один из ярчайших светильников Русского Синклита, приблизился и склонился ко мне, укрыв меня, словно епитрахилью, шатром струящихся лучей света и ласкового тепла» — это тогда, в ноябре 1933–го, во Власьевском переулке, а в тюрьме? Не был ли преподобный Серафим той «высшей инстанцией», с которой поэт вел ночные диалоги? Сознаюсь, что этот вопрос возник у меня в поезде, но Алле Александровне я задал его гораздо позже: требовалось время для того, чтобы он окончательно во мне оформился, и требовалась решимость, даже некоторая отвага, чтобы его задать. Сам Даниил Аеонидович эту инстанцию намеренно не называет. Вернее, называет имена Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Блока, показывавшего ему Агр, но с ними трудно связать все обилие сведений, полученных им эзотерическим путем, всю грандиозность открывшейся ему панорамы. 242 иноматериальных слоя, составляющий брамфатуру Земли, — он сам называет в письмах эту цифру. Блок показывал Агр, а остальные 241 кто? Собственно, названные имена призваны лишь прикровенно указать на те, что не подлежат огласке, иначе тайна не была бы тайной. Даниил Андреев эту тайну бережно хранит, так позволительно ли нам пытаться приоткрыть завесу?

Глава девятнадцатая
ГЛАЗОК В ПРОШЛОЕ

Об этом еще предстоит думать, вновь и вновь задавая себе вопросы, между тем наш поезд прибывает во Владимир. Мы высаживаемся на ночной перрон и долго отрешенно расхаживаем по вокзалу, разыскивая Виталика: он должен нас встретить. Наконец Виталик найден, вернее, найдены мы, потому что Виталик тоже ходит и ищет, но с большим успехом — первым увидел, окликнул, подбежал. И вот мы уже протискиваемся в кабину трудяги автомобиля, приспособленного явно не для парадных, а для будничных семейных выездов, и с заднего сиденья на нас таращат глаза детишки, с переднего же

бесстрастно, «в спокойствии чинном» посматривает отец Виталика: он за рулем, при исполнении…

Пока едем к Виталику, он успевает рассказать, что здешние краеведы, в том числе и они с женой, получили вожделенный доступ к тюремной картотеке. Установлено, что Даниил Леонидович сидел в сорок пятой камере — это как раз в том корпусе, даже в том коридоре, где будем мы. Значит, увидим! Увидим именно ту или одну из тех, поскольку Алла Александровна уточняет, что он сидел в нескольких камерах, а однажды даже попал в карцер: пытался спасти и выпустить залетевшую в окно бабочку, о чем товарищем по камере был сочинен шутливый стихотворный экспромт.

…Сидел в той камере поэт
С душою сумрачной, но милой,
Он бабочку на белый свет
Решил вернуть хотя бы силой.
Хоть он и против был насилья,
Но здесь оправдано оно:
Ведь бесполезны даже крылья,
Когда не видишь ты окно!
Но бдителен надзор и чуток —
Поэт застукан en delit,
И вот его на трое суток
Уж в темный карцер увели.
Читатель ждет морали внятной.
Ужель она вам непонятна?
Не надо помогать тому,
Кто сдуру лезет сам в тюрьму!

5 сентября 1951

У Виталика мы чистим картошку, завариваем чай, накрываем на стол, а затем обязанности хозяйки переходят к его жене Тане: она была на концерте, слушала хор (все-таки Владимир!), потому и припозднилась. Мы вместе ужинаем — усердно наминаем деревянными ложками и присаливаем разваристую картошку — и укладываемся спать, а ранним утром, едва зарозовело прозрачное марево облаков и зазолотились на солнце державные купола соборов, мы у ворот тюрьмы… Да, да, хоровое пение, древние соборы и — тюрьма… тюрьма, а в ней часовня… Вот и отец Евгений, совсем молодой, но степенного вида, с бородкой, с

косицей длинных волос, в руках водо- святная чаша — ему сегодня служить. Здесь же телевидение и местные газетчики — люди с блокнотами, софитами, микрофонами и, сказал бы, камерами, но камеры тут другие.

Сдаем паспорта в окошечко — щелк! — и открывается дверь. Свершилось! Мы во Владимирской тюрьме — прощай, воля! Разумеется, прощаемся-то мы в шутку — этакие необязательные шуточки малознакомых и случайно собравшихся вместе людей, но каждый невольно соизмеряет с собой чувство, возникавшее у тех, кто действительно прощался.

Нас ведут по коридору, мы пересекаем тюремный двор, поднимаемся по лестнице. В камерах нас слышат, неким образом улавливают наши шаги, глазеют на нас сквозь стены, и нас провожает смутный, недобрый гул, угрожающий ропот: ужо вам… В одной из камер устроена часовня — иконостас, царские врата, алтарь. Все новое, — как говорится, не успела вы сохнуть краска. Беленые стены понизу расписаны орнаментом — кружки, лепестки. О. Евгений готовится к службе, расставляет, раскладывает церковную утварь, телеоператоры также готовятся к съемке, а мы с Аллой Александровной просим показать нам сорок пятую…

Сорок пятая в нескольких шагах от нас — и показывать нечего! — вот она! Но на эти шаги, может быть, и не сразу решишься. Сначала попытаешься как бы задержать, замедлить время: слишком быстро все случилось, слишком внезапно и неожиданно (так и Алла Александровна, освободившись из лагеря, была не готова к встрече с Москвой, близкими, Подсосенским переулком). Поэтому первый шажок мысленный — ты как бы крадешься, приноравливаешься, стараешься опробовать взглядом белый арочный свод коридора, выложенные серой плиткой стены, пол в квадратную клеточку, выкрашенные красной краской двери и хорошую надпись, вполне годную для того, чтобы украсить ворота ада: «Хулиганство является противоправным деянием социалистического общества».

Опробовал, и теперь можно подойти: вот она, дверь сорок пятой. Такая же красная, но не кумачоволозунговая («Хулиганство является»), а с темно — багровым оттенком, как в описанных им мирах возмездия. «Цвет здесь преобладает один: в Энрофе мы не способны видеть его, и по впечатлению, производимому им, он скорее всего напоминает темно — багро- вый». Так в Агре, и так же здесь, в уподобленном ему земном чистилище.

Итак, дверь — квадратные шляпки болтов, висячий замок, железный засов, «кормушка» и какая-то проволока — как нам объяснили, для того, чтобы дверь слишком широко не

открывалась. «Та ли это дверь?» — спрашиваем. Отвечают убежденно, что именно та, правда, раньше «кормушка» была побольше и откидывалась не вовнутрь, как сейчас, а в коридор. Ну и глазки попроще, все же остальное как было, так и есть. Можно ли заглянуть в глазок? Пожалуйста, заглядывайте…

Я поднимаю задвижку глазка (очевидно, в этом главное усовершенствование): двухэтажные кровати, белые простыни, стриженые головы. Камера на девять человек — действующая. Попроси — и открыли бы, но я не стал просить, понимая, что туда можно заглянуть только через глазок, через узкую щелочку. Не туда, где отбывают срок нынешние, а туда, где отбывали прежние и где создавалась «Роза Мира»…

Глазок в прошлое — узкая, как прорезь бритвой, потайная щелочка, и я поднимаю задвижку, и мне в глаза бьет свет, нездешний, иной, надмирный, и на меня смотрит сквозь стены тот, чья рука выводила: «Я тяжело болен, годы жизни моей сочтены. Если рукопись будет уничтожена или утрачена, я восстановить ее не успею. Но если она дойдет когда-нибудь хотя бы до нескольких человек, чья духовная жажда заставит их прочитать ее до конца, преодолевая все ее трудности, идеи, заложенные в ней, не смогут не стать семенами, рождающими ростки в чужих сердцах».

Дошла. Стали.

Начинается служба, и мы с Аллой Александровной возвращаемся в часовню. Часовня в честь святого Николая, покровителя всех плененных, останавливающего руку палача. Привели уголовников в полосатой тюремной одежде: «полосатые», — значит, за особо тяжкие преступления, душегубы, «убивцы». О. Евгений раздал им свечи, стал совершать литию — «литеечку», как он сам выразился… Читает молитвы, благодарственный тропарь, поминает усопших: «Во блаженном успении вечный упокой». Кропит святой водой иконы и стены часовни. И нас окропил, благоговейно, «по чину» склонивших головы, и всех, «во узах сидящих».

Один из них мне признался: «Моя была камера. Я здесь спал». И показал место, где стояла его кровать. Смуглолицый, цыганского вида, с черной как смоль бородой, крючковатые пальцы с толстыми ногтями, сидит за убийство. Другие подают о. Евгению записки: «Прошу вызвать для православной беседы». О. Евгений обещает вызвать, но не всех сразу, по очереди. Очередь же движется медленно: о. Евгению не так уж часто приходится здесь бывать, поскольку это не храм, не приход, не основное место службы.

Заключенные особенно просят вызвать Галкина: «Галкин

хочет повеситься». — «Хорошо, вызову. А Васенков как?» — «Васенков повесился». Такой происходит разговор… Разговор, кажущийся мне соединительной черточкой между словами: тюрьма — часовня, часовня — тюрьма. Да, глазок — щелочка, разговор — черточка, судьба — ниточка — сколько их оборвалось здесь, таких ниточек, таких судеб! Сколько было Васенковых — ив тридцатые, и в сороковые, и в пятидесятые — с такими судьбами, с оборвавшимися и обвисшими концами нитей, и над ними Некто один, неназываемый и недоступный.

Властелин судьбы, держатель всех нитей — он тоже смотрит сквозь стены. Я еще не отличаю его взгляд от взглядов других, погибших и безымянных, но испытываю неотвязное чувство, что он рядом, и только когда Алла Александровна читает по внутреннему радио тюрьмы стихи, написанные Даниилом Леонидовичем здесь, в сорок пятой, его облик проступает из тьмы:

О триумфах, иллюминациях, гекатомбах,
Об овациях всенародному палачу,
О погибших и погибающих в катакомбах
Нержавеющий и незыблемый стих ищу.

Ну конечно же он, «всенародный палач»! И чувство, и мысль о нем неотвязно преследовали, не могли не преследовать в этих стенах: где ад, там и демон.

И свидетельство о склонившемся к нашим мукам
Темном Демоне, угасающем все огни,
Ты преемникам — нашим детям и нашим внукам,
Как чугунная усыпальница, сохрани!

Глава двадцатая
ТЕМНЫЙ ПАСТЫРЬ

В «Розе Мира» он назван темным пастырем. И среди всех разоблачительных портретов, как прижизненных («Тараканьи смеются усища»), так и посмертных, этот — особенный, раскрывающий потусторонний смысл его земных деяний, портрет

в темно — фиолетовых, фосфоресцирующих, с багряными отблесками, инфернальных тонах: «Каждая из инкарнаций этого существа была как бы очередной репетицией. В предпоследний раз он явился на исторической арене в том самом облике, который с гениальной метаисторической прозорливостью запечатлел Достоевский в «Великом инквизиторе» Это не был Торквемада или кто-либо другой из крупнейших руководителей этого сатанинского опыта; но и к рядовым работникам инквизиции он не принадлежал. Он появился уже на некотором спаде политической волны, и в течение его многолетней жизни ему стало ясно, что превратить Католическую церковь в послушный механизм Гагтунгра (имя высшего из демонических существ, населяющих иноматериальный мир нашей планеты. — Л. Б.), в путь ко всемирной тирании не удастся. Но опыт деятельности в русле инквизиции очень много дал этому существу, развив в нем жажду власти, жажду крови, садистическую жестокость и в то же время наметив способы связи между инспирацией Гагтунгра, точнее — Урпарпа (одна из ипостасей Гагтунгра. — Л. Б.), и его дневным сознанием. Эта инспирация стала восприниматься временами уже не только через подсознательную сферу, как раньше, а непосредственно подаваться в круг его бодрствующего ума. Есть специальный термин: хохха. Он обозначает сатанинское восхищение, то есть тип таких экстатических состояний, когда человек вступает в общение с высокими демоническими силами не во сне, не в трансе, а при полной сознательности. Теперь, в XVI веке, в Испании хохха стала доступна этому существу. Оно достигло ступени осознанного сатанизма».

Такова предыстория его появления на земле. Появления в облике коммунистического вождя, генералиссимуса, отца освобожденных народов, чей парадный портрет и поныне многим несчастным заменяет икону: во френче, в фуражке, с сияющими голенищами сапог (и не скажешь, что сухорукий, рябой, с изрытым оспинами лицом и тяжелым взглядом желтых глаз из-под низкого лба). Другие утверждают, что, напротив, он, коммунистический вождь, втайне ненавидел коммунизм и, будучи грузином, для державного величия России сделал больше, чем иной из русских царей. А то, что уничтожал не только коммунистов, уничтожил миллионы, так ведь для народа, совершившего такую революцию, свергнувшего царя и проклявшего Бога, это заслуженная кара. И даже если был агентом царской охранки — это опять же ему в заслугу, ведь охранка-то царская.

Словом, говорят, говорят, говорят, не ведая, откуда являются

земные вожди и каким силам служат.

Но вот иной портрет — перед рассветом, в кресле, на фоне занавешенных кремлевских окон: «В 30–х и 40–х он владел хоххой настолько, что зачастую ему удавалось вызвать ее по своему желанию. Обычно это происходило к концу ночи, причем зимою чаще, чем летом: тогда мешал слишком ранний рассвет. Все думали, что он отдыхает, спит, и уж конечно никто не дерзнул бы нарушить его покой ни при каких обстоятельствах. Впрочем, войти никто не смог бы, даже если бы захотел, так как дверь он запирал изнутри. Свет в комнате оставался затенен, но не погашен. И если бы кто-нибудь невидимый проник туда в этот час, он застал бы вождя не спящим, а сидящим в глубоком, покойном кресле. Выражение лица, какого не видел у него никто никогда, произвело бы воистину потрясающее впечатление. Колоссально расширившиеся, черные глаза смотрели в пространство немигающим взором. Странный матовый румянец проступал на коже щек, совершенно утративших сеою обычную маслянистость. Морщины казались исчезнувшими, все лицо неузнаваемо помолодевшим. Кожа лба натягивалась так, что лоб казался больше обычного. Дыхание было редким и очень глубоким. Руки покоились на подлокотниках, пальцы временами слабо перебирали по их краям… Хохха вливала в это существо громадную энергию, и наутро, появляясь среди своих приближенных, он поражал всех таким нечело веческим зарядом сил, что этого одного было бы достаточно для их волевого порабощения».

Вот что раскрывает метаисторический метод Даниила Андреева, какую обнажает суть, мистическую подоплеку явлений! Когда я впервые, еще по слепой машинописной копии, заключенной в серый картонный переплет, прочел это место из «Розы Мира», меня, лишь начавшего осторожно приближаться к этой книге, оно поразило, наверное, больше всех других мест — очень хорошо помню тогдашнее особенное чувство. Я сразу поверил, что все это так, что автор не выдумал, не вообразил, не доверился собственной фантазии, а воспроизвел действительность, явь, реальность. На примере этой сцены мне стало ясно, что «Роза Мира» — при всем словесном мастерстве ее автора — не художественная литература, не вольный вымысел, прихотливо воссоздающий некий условный поэтический мир, а отчет о подлинном духовном опыте. Отсюда и двойственность моего чувства, может быть наивного: да, все это так, но откуда он знает, ведь «никто не дерзнул бы» и дверь запиралась изнутри! Значит, он единственный обладал тем, что позволяло проникнуть за запертые двери! Так я еще глубже осознал значение истинной

мистики — не той низменной и вульгарной, основанной на колдовстве и черной магии, которыми нас пугают, а возвышенной и утонченной мистики как способа познания, как таинственной жизни души, реализации безграничных духовных возможностей человека, деятельного служения Добру и Свету.

После освящения часовни мы побывали в монастыре, бывшем филиале КГБ, возвращаемом теперь церкви, с чувством некоего ритуального приобщения — свободной обязательности! — обошли соборы, постояли, посмотрели, оценивая значимость факта: сначала в намоленных кельях допрашивали и пытали, а теперь в пыточных камерах и застенках будут молиться. Как это по — нашему, по — русски, аж оторопь берет!

Затем Виталик и Таня всех собрали на обед с графином водочки, борщом и картошкой со своего огорода: пожалуйте откушать, гости дорогие. Конечно, не ахти какое событие, но из таких и складывается путешествие — терпеливое шествие неким путем, на котором встречаются священные камни, древние стены, старые вещи и — новые люди. На вещи надо посмотреть, к камням и стенам — с благоговением прикоснуться, с людьми же самое важное посидеть и поговорить: тогда и путешествие твое оживет, и сам ты станешь для себя новым.

Поэтому как не упомянуть и об этом событии, и об этой встрече — застольной, с графинчиком! Тут были и здешние газетчики, и режиссер телевидения, и о. Евгений, и сопровождавший нас по тюрьме военный — Алексей Анатольевич, моложавый, скромный, с тихим голосом и грустной улыбкой: о. Евгений по- своему воспитывает, а Алексей Анатольевич по — своему. Ну и разговорились, как водится в нашем отечестве, о душе, ее странностях и загадках, о том, чем ее лечить и как ее спасать. Вспомнили и Даниила Леонидовича, относившего преступников к разряду душевнобольных, а сумасшедших — к разряду одержимых: первые томятся в плену собственных недугов, вторые же в плену изощренного воздействия темных сил.

Вспомнили и о том, как в тюрьме Даниил Леонидович читал уголовникам лекции по стихосложению, — как бы с ложечки давал лекарство, словно детям. И хотя лекарство не было привычно сладким, они пос лушно открывали рты и глотали, потому что преступная душа вовсе не умудрена жизнью, а, наоборот, задержана болезнью в своем развитии. И творимое ею зло содержит в себе гораздо больше инфантиль- но — детского, чем сознательного, мужественного и разумного. Вспомнили и о многом другом, тюремном и вольном, да и как не вспомнить в такой привычно русской, словно из чеховских времен, компании: священник, военный и наш брат, интеллигент, учительствующий,

сочиняющий или философствующий!..

После обеда Виталик нас проводил на вокзал, мы спустились с высокого обрыва по длинной, деревянной, прогнившей, почерневшей от времени до фосфорического свечения — владимирской! — лестнице и стали дожидаться автобуса. Ждать пришлось, к счастью, недолго: автобус вскоре подали. И, как всегда, была неловкая и томительная минута, знакомая всем прощающимся: мы уже сели и машем рукой в окно Виталику, Виталик стоит и машет нам, а автобус все не отходит. И приходится с преувеличенным усердием махать, потому что разговаривать сквозь стекло нельзя, и это продолжается до тех пор, пока, махнув нам последний раз, не отходит Виталик.

Мы еще долго сидим в автобусе — гораздо дольше, чем его ждали, но таков неисповедимый закон вокзалов и автобусных станций: что прибавилось, все равно отнимется. Наконец шофер закрывает двери, берется за руль, автобус разворачивается, и я чувствую, как отходит, отодвигается в прошлое, отпадает то, что еще совсем недавно было нынешним, сегодняшним, настоящим. Ведь совсем недавно, всего лишь несколько часов назад… но уже отошло, зато приблизилось в своем значении другое, еще более важное, то, что прибавилось в эту поездку и никогда от нас не отнимется.

Глава двадцать первая
НАДМИРНОЕ МЕСТО

С тысячелетних круч, где даль желтела нивами
Да темною парчой духмяной конопли,
Проходят облака над скифскими разливами —
Задумчивая рать моей седой земли.
Их белые хребты с округлыми отрогами
Чуть зыблются, дрожа в студеных зеркалах,
Скользят — скользят — плывут подводными дорогами,
И подо мной — лазурь, вся в белых куполах.
И видно, как, сходя в светящемся мерцании
На медленную ширь, текущую по мху,
Всемирной тишины благое волхвование,
Понятное душе, свершается вверху…

Так начинается стихотворение Даниила Андреева «Весной с холма», которое я читаю, стоя на этом холме, на этих тысячелетних кручах, и видя даль, белые хребты облаков,

прозрачную лазурь, отражающуюся в студеных зеркалах Десны. Я в Трубчевске, небольшом городке под Брянском, — под Брянском, но зато на холме, крутом и высоком, куда, выйдя из автобуса, долго взбираешься по склону и откуда словно бы и не смотришь, а паришь зачарованным взглядом над равниной, над степью, над скифскими разливами, — удивительное, сказочное, былинное, надмирное место! Даниил Леонидович, самозабвенно любивший Труб- чевск и брянские леса, часто бывал здесь в довоенные годы. Наезжал обычно летом и жил до поздней осени, до первых заморозков, бродяжничал по брянским лесам, купался в Неруссе, ночевал у костра, глядя на затухающие угли, любуясь звездами на черном бархатном небе (звезды таинственно притягивали его с детства). И сохранился домик, где он останавливал ся, и живы люди, которые его помнят, — сам городок почти не изменился с той поры — как же и мне не побывать, как не наведаться!

И вот собрался. Взял билет до Брянска, получил нужные наставления от Аллы Александровны, — и наставления, и адреса людей, с которыми нужно свидеться, и приметы мест, которые так важно посетить, и некую напутственную волну, поток горячего участия, воодушевляющее веяние, распространяемое человеком, желающим, чтобы и вы испытали то, что некогда довелось испытать ему: «Поезжайте! Не пожалеете!» Больше всего мне хотелось встретиться с семьей Левенков, которые близко знали Даниила Леонидовича, а со старшим в доме, Протасом Пантелеевичем, человеком удивительным, глубоко интеллигентным, творческим, артистичным, его связывала подлинная дружба. Многие часы провели они вместе, беседуя, открывая друг другу самые сокровенные мысли…

Ночь я провел в поезде, ворочаясь на жесткой вагонной полке и от желания заснуть не засыпая, а от боязни проспать проваливаясь в тревожный и неглубокий сон. Проводник заранее не разбудил, — наверное, от сходного желания и боязни, и каким-то чудом я все-таки проснулся в Брянске, торопливо оделся, подхватил дорожную сумку и спрыгнул с подножки на низкую платформу.

Было раннее — раннее утро, вернее, утра не было, потому что еще не рассвело, клубами валил моросящий дождь и хлестал, окутывал, налетал порывами и душной паклей забивал рот влажный осенний ветер. Странной показалась мне в темноте громада вокзала со светящимся одиноким окном, — странной и жутковатой, и самому вдруг стало одиноко, тоскливо, словно бы и непонятно, зачем я здесь. Но на то и путешествие — шествие неким неизведанным путем, чтобы охоту к перемене мест вовремя сменить на ностальгию по местам покинутым и вкрадчиво

убедить нас в том, что самые памятные впечатления, неожиданные открытия и необыкновенные находки мы не столько обретаем в пути, сколько забываем дома.

Впрочем, к таким дорожным парадоксам, переменам и перепадам я давно привык и умел не поддаваться сладкому соблазну уныния, больше полагаясь на собственное терпение и счастливый случай: авось кривая да вывезет, авось да обойдется. Главное — именно шествие, движение, перемещение в пространстве, и внешнем, и внутреннем, где состояния души сменяются так же, как мелькающие картины за расчерченным дождем окном поезда или автобуса. Поэтому скорее в автобус, и ностальгия, тайное воздыхание по утерянному домашнему раю обернется дорожным, обретенным раем, а обманчивая тяга назад — стремлением вперед, к тому, что откроется вдруг за поворотом, охотой к перемене мест.

И вот я уже забился в угол сиденья, надвинул на глаза шапку, чтобы добрать остатки сна. А когда очнулся, уже и рассвет забрезжил в окнах, обозначились на небе слоистые, белесые облака, замелькали тонкие болотные березки, поля с размытыми бороздами, колеи дорог, посверкивающие отраженьями тусклого неба лужи перед прохудившимися коровниками, неубранные стога. И по некоей скудности, нищете, разору, запущенности всего вокруг обозначилось в сознании, что еду я, знаете ли, по России. По России — м — да — не той, которая нам Богом дана, а той, в которую мы, люди, по — скотски ее превратили. Разорили, замусорили, истоптали, заплевали, и теперь сами не знаем, куда ступить: везде наши собственные плевки, окурки и шелуха от подсолнухов.

Собственную страну отрусили, как грушу, растущую при дороге, и после этого называем себя русскими — да не русские мы, а советские, особой интернациональности, тупиковой генетической ветви, потому что русские так не живут, такую жизнь не терпят, на дух не переносят! Посмотрите на русских, укоренившихся вне России, — разве у них так?! По — всякому, конечно, бывает, но так, как у нас, никогда. Значит, и России, которая Богом дана, больше у нас нет, а есть страна — свалка, страна — помойка, страна — мусорная яма под названием Совдепия.

Торчит она, как обломок бетонной трубы, как ржавая арматура, громоздится, словно вывороченный отбойным молотком асфальт, благоухает, как траншея с гнилой водой, — та страна, о которой Даниил Андреев, уже смертельно больной, однажды подойдя к окну своей последней квартиры на Ленинском проспекте, сказал: «Сон идиота». А в стихотворении

«Изобилие» из триптиха «Столица ликует» с убийственным сарказмом написал:

Радостный Олимп
рождающейся расы,
Борющихся масс желанные миры:
Десятиметровые фанерные колбасы,
Куполоподобные
красные
сыры.
Кляксами малярными —
оранжевые, синие,
Желтые конфеты цветут,
как май, —
Социалистическая
скиния,
Вечно приближающийся рай.

В стихотворении же «Монумент» подвел итог, дал образное и точное название советскому идиотизму: «Широкозадый пляс тех, кто не стал людьми».

Вот и я сейчас вижу этот сон наяву, этот широкозадый пляс, и, как всякому человеку, преследуемому неотвязным кошмаром, мне хочется глухо мычать и скрипеть зубами.

Казалось бы, кошмар неотвязный и конца ему не будет, но вдруг название — «Уручье», и словно веет отрадой, кошмарный морок рассеивается, обломки труб и ржавая арматура исчезают, и идиотический сон становится блаженным сновидением, в котором предстает Россия, данная нам Богом: все-таки есть, сохранилась, осталась! Потянулись над крышами дымки печных труб, открылись холмистые дали, овраги, перелески, болотные топи (так и хочется вслед за Даниилом Андреевым добавить: немеречи!). И я с облегчением установил для себя, что я не на строящемся Ленинском проспекте, а в дремучих брянских лесах.

Заросли багульника и вереска.
Мудрый дуб. Спокойная сосна…
Без конца, до Новгорода — Северска,
Эта непроглядная страна.

С севера, с востока, с юга, с запада

Хвойный шум, серебряные мхи,
Всхолмия, не вскопанные заступом
И не осязавшие сохи…

Лишь тростник там серебрится перистый,
Да шумит в привольном небе дуб —
Без конца, до Новгорода — Северска,
Без конца, на Мглин и Стародуб.

«Брянские леса»

В Трубчевске я долго искал стакан кипятка, чтобы опустить в него припасенный пакетик чая, слегка взбодриться после всех дорожных мучений и передряг да и отправиться на осмотр города. Но кипяток здесь — небывалая редкость, и после долгих блужданий по кафе и закусочным мне пришлось опустить пакетик в странную бурую жидкость, именуемую кофейным напитком, которая меня взбодрила до легкомысленно — блаженной беспечности, полной отрешенности от всех забот и некоей лихорадочной взвинченности.

И я отправился.

Сначала добросовестно осмотрел дома на центральной улице Ленина, здешнем Ленинском проспекте (все-таки кошмар еще преследовал), а затем свернул в городской парк. Там тоже торчало и громоздилось, но в отдалении, в глухом уголке, белело и золотилось нечто старинное, церковное, живое — Троицкий собор, построенный в одиннадцатом веке на основании еще более древней церкви. В двенадцатом и тринадцатом веках собор перестраивался, подновлялся, пока не приобрел свой нынешний вид, Ниловский же придел (в честь преподобного Нила Сорского, подвизавшегося здесь) был возведен в 1910 году, накануне великих подновлений двадцатого века, от которых собор чудом уберегся. Обо всем этом я, странствующий энтузиаст, кропотливый собиратель исторических сведений, прочел на мемориальной табличке, когда приблизился к собору.

Приблизился, постоял, полюбовался и решил обойти со всех сторон, и вот тут-то… надмирное место! Да, да, там, за собором обрывались вниз тысячелетние кручи, расстилалась степная даль, вздымались груды белых облаков, блестела на солнце Десна. И над Россией, которая дана нам Богом здесь, на земле, словно возникали таинственные очертания иной, Небесной России:

Широко распластав воздушные воскрылия,
Над духами стихий блистая как заря,
Сам демиург страны в таинственном усилии
Труждается везде, прах нив плодотворя.
Кто мыслью обоймет безбрежный замысл Гения?
Грядущее прочтет по диким пустырям?
А в памяти звенит, как стих из песнопения:
«Разливы рек ее, подобные морям…»
Все пусто. И лишь там, сквозь клены монастырские,
Безмолвно освещен весь белый исполин…
О, избранной страны просторы богатырские!
О, высота высот! О, глубина глубин!

Так заканчивается стихотворение «Весной с холма», — холма того самого, на котором… Да, стою как завороженный и не могу двинуться с места — такова магия пространства, распахнутого передо мной, и таково чувство высоты, вознесенной над миром. «Воздушные воскрылия» — вот же они, словно угадываются, распознаются, различаются в небе, и сам демиург страны, народоводитель России, зримо творит свою сокровенную миссию…

Из состояния завороженности, окрыленности и некоего восторженного парения меня вывела женщина с метлой, убиравшая в парке, как оказалось, словоохотливая рассказчица о здешних нравах: я для нее человек новый, для меня же ново все то, что для нее привычно, вот и возникает взаимное притяжение, именуемое любопытством. Как тут не поговорить, не потолковать! Я ей о московском, о тамошнем, она мне — о здешнем, о трубчевском, духовном и светском: как повздорили городские власти и поссорились батюшки в церкви, чуть в бороды друг другу не вце пились. Посетовала, что в соседнем районе доплачивают «за радиацию» (Чернобыль), а у них не доплачивают, хотя «радиация» такая же — дети слабоумные рождаются. Ну и о прочем порассказала, громоздящемся и торчащем, вернув меня с небес на землю: я вместе с нею повздыхал, посочувствовал — а чем поможешь! — и распрощался.

Место я посетил — пора наведаться к людям.

Глава двадцать вторая
АПОСТОЛЬСКАЯ ПОХОДКА

Анатолий Протасьевич Левенок, — прочел я имя в записной

книжке и отправился по указанному адресу. Вот и дом на улице Дзержинского, — улице, так же как и площадь в Москве, «заклейменной прозваньем страшным: в память палача» («О тех, кто обманывал доверие народа»). Но не мы выбираем улицы, где суждено родиться и жить. Дзержинского так Дзержинского…

Дом же добротный, что называется справный: заборчик, калитка, крыльцо с навесом. А вскоре и сам Анатолий Протасьевич показался — с ведром и лопатой — в огороде работал. Я представился и отрекомендовался, сославшись, понятное дело, на Аллу Александровну: ею послан, принимайте. И вот тут- то — люди по — разному встречают, кто испуганно, кто с сомнением, кто безучастно, кто с подчеркнутым, заискивающим участием, — на лице Анатолия Протась- евича отобразилось. Отобразилось, знаете ли, предвкушение, заранее испытываемое удовольствие от встречи, выдававшее в нем завзятого говоруна, до машнего философа, любителя порассуждать, а иногда и срезать собеседника, если уж слишком о себе мнит.

Насчет того, чтобы срезать или хотя бы подковырнуть, как грибным ножом упругую сыроежку, я угадал по мелькнувшему в глазах задорному огоньку, затаенной готовности к петушиным наскокам и некоей нарочитой степенности, вальяжности и даже медлительности, с которыми начинает поединок опытный словесный боец. «Эге, — подумал я, тоже приосаниваясь и стараясь выглядеть этаким крепким грибком, боровиком или груздем, — видно, грибник бывалый…»

Анатолий Протасьевич поручил меня заботам жены, а сам счел нужным переодеться и вскоре появился в комнате, точнее было бы сказать горнице, такой она показалась чистенькой, светлой, ухоженной и как бы обласканной заботливыми хозяевами. Появился, готовый к словесному поединку: умытый, причесанный, в новой рубашке. В руках он держал тетрадку, которую отложил в сторону, не желая заранее привлекать к ней мое внимание.

Я начал разговор с того, что напомнил Анатолию Протасьевичу одно место из «Розы Мира», — то, где рассказывается о пережитом автором непередаваемом состоянии духовного единства с природой, звездным небом, всей вселенной: «В моей жизни это совершилось в ночь полнолуния на 29 июля 1931 года в тех же брянских лесах, на берегу небольшой реки Неруссы. Обычно среди природы я стараюсь быть один, но на этот раз случилось так, что я принял участие в небольшой общей экскурсии. Нас было несколько человек — подростки и молодежь, в том числе один начинающий художник. У каждого за плечами

имелась котомка с продуктами, а у художника еще и до рожный альбом для зарисовок. Ни на ком не было надето ничего, кроме рубашки и штанов, а некоторые скинули и рубашку. Гуськом, как ходят негры по звериным тропам Африки, беззвучно и быстро шли мы — не охотники, не разведчики, не изыскатели полезных ископаемых, просто — друзья, которым захотелось поночевать у костра на знаменитых плесах Неруссы».

Остановились на ночлег, собрали хворост, разожгли костер под сенью трех старых ракит, достали из заплечных котомок немудреную еду, поужинали, и вот замолкли разговоры и всех сморил сон. Лишь один не спал, остался бодрствовать, лежа у огня и отгоняя широкой веткой назойливых комаров. «И когда луна вступила в круг моего зрения, бесшумно передвигаясь за узорно — узкой листвой развесистых ветвей ракиты, начались те часы, которые остаются едва ли не прекраснейшими в моей жизни. Тихо дыша, откинувшись навзничь на охапку сена, я слышал, как Нерусса струится не позади, в нескольких шагах за мною, но как бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычайным. Торжественно и бесшумно в поток, струившийся сквозь меня, влилось все, что было на земле, и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва ли переносимом для человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, медлительно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня; и все, что я мог помыслить или вообразить, охватывалось ликующим единством».

Я лишь напомнил Анатолию Протасьевичу и сейчас не буду приводить целиком это удивительное, поэтичнейшее, проникновенное, овеянное непередаваемым чувством место — пусть читатель сам отыщет его во второй главе второй книги «Розы Мира» и пе реживет вместе с автором то, что довелось ему испытать в ту необыкновенную ночь. Для меня было важно расспросить Анатолия Протасьевича: не он ли участник небольшой экскурсии и, может быть, даже тот начинающий художник? И вот мой собеседник, потягиваясь, покряхтывая, покрякивая, слегка насупливая брови и морща расширенный, утиный — клювиком — нос, степенно, складно, основательно повествует, рассказывает. Вспоминает довоенные годы, когда летом к ним приезжал Даниил Андреев и останавливался в соседнем доме, за заборчиком, разделявшим два огорода. В заборчике была маленькая калитка, чтобы не обходить по улице, а наведываться друг к другу запросто, по — свойски, перешагнув через грядки.

Хозяйка станет занимать
И проведет через гостиную,
Любовна и проста, как мать,
Приветна ясностью старинною.

Завидев, что явился ты —
Друг батюшки, знакомый дедушки,
Протянут влажные персты
Чуть — чуть робеющие девушки.

Усядутся невдалеке
Мальчишки в трусиках курносые,
Коричневы, как ил в реке,
Как птичий пух светловолосые.

Хозяин, молвив не спеша:
«А вот — на доннике, заметьте-ка!» —
Несет (добрейшая душа!)
Графин пузатый из буфетика.

И медленно, дождем с листа,
Беседа потечет — естественна,
Как этот городок, проста,
Чистосердечна, благодейственна…

Из стихотворения Данишла Андреева, посвященного семье Левенков

Даниил Леонидович больше дружил с отцом Анатолия Протасьевича — Протасом Пантелеевичем, истинным провинциальным интеллигентом не по образованию, а по духу, человеком благородным и творческим, иконописцем, художником (картины его висят на стенах), умельцем, мастерившим скрипки, любителем театра. Анатолий же, его брат Олег и сестра Лида были для Даниила Леонидовича молодежью, спутниками в лесных походах, товарищами в купании и ночевках у костра. Светлые, тихие, прозрачные озера, шелестящие на ветру камыши, хатка лесника на берегу (почему хатка, а не избушка — вопрос языковой, особый), дубы в три обхвата, бурелом, причудливые лесные коряги — сколько было таких походов — эк- скурсий, без рубашек, с котомкой за спиной, гуськом, как ходят негры по звериным тропам. Да, это была их мальчишеская Африка и

юношеская Индия — та самая, которой Даниил, по словам Анатолия Протасьевича, увлекался в те годы.

«Ну а каким он был?» — спрашиваю я, вкладывая в этот вопрос то, что заставляет Анатолия Протасьевича не только вспомнить, но и назвать, определить, подобрать словцо. Да, крякнуть, насупиться, потереть затылок, задумчиво покрутить головой — и подобрать меткое, точное, выразительное. На такие словечки Анатолий Протасьевич мастер. От него я услышал, что у Даниила Леонидовича была не просто походка, а походка — жанр. Жанр — не в том смысле, в каком вырабатывают походку артисты пантомимы или манекенщики в салоне мод, а в том, в каком она естественно возникает у людей, артистически и духовно одаренных, чьи движения и жесты соответствуют их внутреннему настрою. В этом смысле походка у Даниила Андреева, как уточнил Анатолий Протасьевич, была апостольская, проповедническая: он держал палку, словно посох, и вышагивал большими шагами, босой, с подвернутыми штанинами, в рубашке навыпуск, с заплечной котомкой.

И не случайно среди заключенных Владимирской тюрьмы впоследствии зародился слух, который передавался по этапам (дошел и до мордовских лагерей, где сидела Алла Александровна), — слух о том, что Андреев ходит босой и с крестом на груди. «А Андреев- то, слышали, — босой и с крестом?» Возник же такой образ: странник, апостол, паломник, бродяга — как это в его духе, как отвечает его внутренней сути! Недаром в письме к жене он и не стал опровергать этот слух: да, босой и с крестом, правда, крестик пластмассовый. И недаром в «Розе Мира» написал о Толстом: «…если бы ушел он из дома лет на 20 раньше, сперва в уединение, а потом — с устной проповедью в народ, совершенно буквально странствуя по дорогам России и говоря простым людям простыми словами о России Небесной… эта проповедь прогремела бы на весь мир, этот воплощенный образ Пророка засиял бы на рубеже XX века надо всей Европой, надо всем человечеством…»

Да, крестик у него был пластмассовый, а ему бы — медный или железный.

В тюрьме лишь трагически заострились те черты апостольского облика Даниила Андреева, которые начали вырисовываться раньше, в пору его безмятежной юности. Безмятежной и — по разным причинам хочется сказать — блаженной:

Вот блаженство — ранью заревою

Выходить в дорогу босиком!
Тонкое покалыванье хвои
Увлажненным
Сменится песком;
Часом позже — сушью или влагой
Будут спорить глина и листва,
Жесткий щебень, осыпи оврага,
Гладкая,
прохладная
трава…
Не поранит бережный шиповник,
Не ужалит умная змея,
Если ты — наперсник и любовник
Первозданной силы бытия.

Из цикла «Босиком»

Голос же у Даниила был, по словам Анатолия Про- тасьевича (тут он задумался, помолчал, сделал хитрую паузу)… чистый. «В каком смысле чистый?» — стараюсь понять я. «А в том смысле, в каком бывает чистым воздух или вода, — уточнил Анатолий Протасьевич и, снова покряхтывая, покрякивая, покручивая головой, с некоей уклончивой серьезностью добавил: — Если действительно были у нас святые, то они говорили такими голосами». Я с готовностью принял это определение, но жена Анатолия Протасьевича Лидия Яковлевна оказалась придирчивее и усомнилась в точном выборе слова: можно ли так сказать о голосе?! И тут эти почтенные, преклонных лет люди горячо заспорили — о чем?! — о слове, об оттенках речи, о точности и правильности выражений!

Я почувствовал, что к словам, языку у них совершенно особое отношение, и не только к языку! Внимательно присмотревшись к обстановке, к окружающим меня предметам, я обнаружил, что у этого бревенча того, деревенского, нехитро убранного домика, хатки, избушки своя — не побоюсь сказать! — творческая атмосфера! На стене скрипка… в углу пианино, покрытое кружевной дорожкой… и какие кружева! С тончайшими узорами, напоминающими разводы первого осеннего льда на высохших лужах или блестки горной слюды, — их плетет Лидия Яковлевна, художница, мастерица, виртуоз своего дела. Что там дорожки и салфетки — она вам из кружев сплетет миниатюрный чайный сервиз: чайник, чашечки и даже кружевной самовар! Кружевной

самовар, знаете ли, — эка диковинка! Спрашиваю: «Выставляете? Продаете?» Нет, не продает, хотя уговаривают, уламывают, сулят немалые деньги, и на выставки отдает неохотно. Показывает лишь близким людям — не публике. Как подлинному артисту, ей жаль расставаться с предметами, в которые вложено столько вдохновенного и кропотливого труда.

Глава двадцать третья
НА МОГУЧЕМ ТРУБЧЕВСКОМ ЯЗЫКЕ

Мы вновь заговорили о Данииле Леонидовиче, о его странствиях по брянским лесам, ночевках у костра, а чаще без костра, — потому что огонь и потрескивавшие в костре сухие ветки мешали вслушиваться в тишину, созерцать, любоваться ночной природой. Заговорили — и тут в разговоре стал обозначаться некий уклон, некий забавный крен. Собственно, и в выражении «апостольская походка» проскользнула добродушная язвительность, — проскользнула и скрылась, но теперь обнаружилась вновь: Анатолий

Протасьевич подтрунивает, подшучивает над чудаковатостью Даниила Леонидовича. И тут у него в запасе немало всяких быличек, побасенок, лукавых баек. Ну вот, к примеру: однажды в лесу Даниил Леонидович, привыкший ночевать без костра, варил на свече яйцо, держал его, и так и этак перехватывая, пока оно нагревалось, и обжег себе пальцы. Привыкший ходить босиком, все-таки поранил однажды пятку и долго хромал, вызывая сочувствующие вздохи окружающих. Бедовая головушка! Как-то раз хозяйка дома попросила купить на рынке крупы. Возвращается радостный: «Марфа Федоровна, я гречки купил!» Глянула и ахнула: да это ж конопля!..

Так, что называется, травит Анатолий Протасьевич свои лукавые байки, причем уклон в его рассказах совпадает с осторожным подталкиванием в мою сторону заветной тетрадки: прочти, мол, прочти…Не пожалеешь! Еще попросишь!

Я понял, уразумел по этим внушениям, что Анатолий Протасьевич пишет стихи. И более того, по его мнению, они ничуть не уступают стихам Даниила Андреева. Ему даже кажется несколько зазорным, что приехали из Москвы… расспрашивают о Данииле Леонидовиче… допытываются, каким он был, как выглядел, чем занимался, а к стихам самого рассказчика не проявляют ни малейшего интереса. Что за оказия?! Что за незадача!

Вот он и подталкивает, незаметно клоня к тому, что у Даниила Андреева поэзия сложная, умственная, философическая

и не слишком вразумительная, у него же простая и доступная… Вот стихи, а все понятно! Да и вообще, зачем нужны шедевры! Шедевры вредны уже хотя бы тем, что своим недосягаемым совершенством губят в каждом из нас художника:

вместо того, чтобы развивать собственные творческие задатки, мы раболепно поклоняемся гениальности избранных. Иными словами, пусть не будет гениев, но будет больше скромных талантов. Пусть не будет искусства профессионального, но будет искусство самодеятельное, народное, способное украсить жизнь, а не обогатить музеи.

Лишь только Анатолий Протасьевич это произнес, мне стало ясно, что в нем проснулся идеолог, — идеолог лубка, народного примитива. Этот человек действительно украшал свою жизнь тем, что играл на скрипке, писал картины, сочинял стихи и рассказы. Я с готовностью признал его право на это и безошибочно угадал в нем человека, который мог быть доволен собственной жизнью так же, как срубивший добротную избу плотник гордится выточенными балясинами крыльца, гривастым коньком крыши и затейливыми резными наличниками. Но я сделал одну непростительную ошибку: надменный ценитель шедевров, я оттолкнул тетрадочку. Подталкивал, подталкивал Анатолий Протасьевич, а я — оттолкнул. Ему так и не удалось почитать мне свои стихи: я вежливо уклонился, перевел разговор, сделал вид, что не догадываюсь о его тайном желании.

Не удалось, а как хотелось!

Но у каждого свой уклон, и я оправдывал себя тем, что неукоснительно следовал логике самого автора, который, по его же признанию, пишет для себя и тем самым избавляет других от обязанности быть слушателем и читателем. Да и сказалась литераторская мнительность, боязнь, идиосинкразия, вызываемая самим видом таких тетрадок с клеенчатыми обложками и линованными страничками, на которых морозы губят розы, любовь волнует кровь, а ботинки изощренно рифмуются с полуботинками. Короче говоря, оттолкнул, о чем горько пожалел уже в автобусе (раскаялся, но было поздно) по дороге в Брянск, когда достал листок с рассказом Анатолия Протасьевича: все-таки вручил мне на прощание.

Рассказ — на особом, редкостном, самородном трубчевском языке, смеси украинского, белорусского, русского и старославянского. На нем пишет лишь один писатель во всем мире — Анатолий Протасьевич Левенок. И пишет, и — отчасти — говорит, называя жилище лесника хаткой, а не домиком и не избушкой. И рассказы у него такие же особые, редкостные, этнографические — прежде чем познакомить читателя с одним из

них, приведу отрывок из трубчевско- русского словаря, составленного автором:

тубаретка — табуретка; скатерсть — скатерть; веренина — кушанье из муки;

косячок (косинчик) — шкаф треугольной формы в углу комнаты;

прискринок — полочка;

ни синь пороху — полное отсутствие;

наскопать — нащепать;

скабка — заноза;

скабезиться — разнервничаться;

качулка — скалка;

жвянькать — шамкать;

клюкарза — старуха с клюкой;

склима — занудность, зануда;

клямка — щеколда.

Запомнили? А теперь читаем рассказ Анатолия Левенка «Под шохву»:

«Бабка встала затемно. Убрала тубаретку, поправила скатерсть, сполоснула дясны. Хотела перекусить веренины, но ни в косячке, ни в прискриничках — ни синь пороха!

Свечки не нашла и хотела наскопать лучинки, но заскабила скабку. Полезла под загнёт хоть кулаги хлебнуть, но чуть чепелой не опрокинула кашник со ско- лотвиной.

— Ты што скабезишься? — проворчал дед.

— Цыц; а то качулкой!

— Не жвянькай, клюкарза.

— Ну, склима!..

Бабка, бука с бельем, вышла из хаты. Хлопнула клямкой, постояла на угле и потащила гусятницу пу- канки под шохву…»

Признаться, плохо я знаю трубчевский язык — в словарике не нашел, а без словарика так и не понял, с чем была у бабки гусятница и куда она ее потащила, но что поделаешь — такая уж я склима!.. Хотя выразительность, живость, некую непосредственную народность рассказа я почувствовал, и особенно понравился диалог — как дед с бабкой ругаются. Не те ли самые, которых я видел на картине Анатолия Прота- сьевича: старик и старуха, она в платке, он в красной рубахе, сидят за самоваром и чай из блюдечка пьют?! Перед моим уходом Анатолий Протасьевич показал- таки мне свою живопись — маленькие работы в лубочном, примитивном, самодеятельном стиле, они привели меня в полный восторг, столько в них было

остроумия, потехи, лукавства, наблюдательности и той непередаваемой пластики, на которую способен лишь художник наивный, непосредственный, избяной, домашний.

Иными словами, срезал меня Анатолий Протасьевич, сразил наповал, и я научился ценить не только общепризнанные шедевры, но и образцы скромного домашнего творчества, живописания и сочинительства. Жаль вот только тетрадка… не раскрыл я ее, не заглянул… и на скрипке мне Анатолий Протасьевич не поиграл, но те несколько часов, которые я провел в его доме, украсили и мою жизнь так же, как украшали некогда жизнь Даниила Леонидовича Андреева.

Теперь мне стало ясно: Даниила Леонидовича влекла сюда атмосфера интеллигентной провинциальной жизни, то неуловимое, тонкое, артистичное, о чем мечтал Чехов и что овеивало семью Левенков. Семью, где не жили искусством, не поклонялись, не приносили ему жертв, а трудились, растили детей, но при этом — жили искусством. Вот удивительно: не жили, не поклонялись и — жили! Я еще раз убедился в этом, побывав у сестры Анатолия Протасьевича Лидии Протасьевны, тихой, задумчивой и… как бы отрешенной, забывающейся, — мы долго разговаривали, и она уносилась мыслями в прошлое. Да, в далекое прошлое, в те времена, когда первыми в городе считались купцы Курындины, Десна была судоходна до Брянска и с началом навигации детвора убегала с уроков смотреть на пароходы — с колесами, высокими трубами и сиплым гудком.

Все это было здесь, в городе. И здесь, в доме Лидии Протасьевны, было то, что затем также овеяло стихи Даниила Андреева и проникновенные, лирические страницы «Розы Мира». Лидия Протасьевна показала мне хранившийся в семье листок со стихотворением Даниила Леонидовича, посвященным ее отцу Протасу Пантелеевичу, и я выписал из него несколько строк:

Он был так тих,
безвестный, седенький,
В бесцветной куртке
рыболова,
Так мудро прост,
что это слово
Пребудет в сердце
навсегда…

И далее:

Я все любил:
и скрипки нежные,
Что мастерил он
в час досуга;
И ветви гибкие,
упруго
Нас трогавшие
на ходу…

Мог бы выписать и больше, но остановило то, что и эти стихи как бы наивные, домашние, не для печати: сочинил и преподнес в подарок. Да и сочинил-то словно не до конца, не до конца обратил в строки и перевел на бумагу, а оставил такими, какими они до сих пор живут в стенах дома, — вот скрипки Протаса Пантелеевича… вот диванчик, на котором сидели, а за окном упругие, гибкие ветви, ульи, садовые гряды… Здесь встречались, вели неторопливые беседы под грушей на лавочке, пили чай с медом, мечтали, фантазировали, философствовали, и все это навсегда пребудет в сердце…

Так я думал тогда, но затем перечитал это стихотворение в книге, уже целиком. И мне открылось, что сближало Даниила Леонидовича и Протаса Пантелеевича не просто соседство и разговоры велись не только житейские, под настойку на доннике, и даже не только литературные («О Лермонтове, сагах, ведах»), но и теософские, с уклоном в солнечную мистику Древнего Египта, культ «неумирающего Ра»:

Был часом нашей встречи истинной
Тот миг на перевозе дальнем,
Когда пожаром беспечальным
Зажглась закатная Десна,
А он ответил мне, что мистикой
Мы правду внутреннюю чуем,
Молитвой Солнцу дух врачуем
И пробуждаемся от сна.

Вот оно как! Значит, «встреча истинная» произошла не сразу, внутреннее, потаенное долгое время не высказывалось, пока там,

на речном перевозе, не прорвалось наружу. Конечно, Протас Пантелеевич — это не Коваленский, столичный барин, знаток экстазов и восхищений, но он тоже мистик, посвященный в древние культы, и «бесцветная куртка рыболова» — символ сознательно избранной безвестности, уединенности, провинциального отшельничества, спасительного в те страшные годы…

Вечером, перед самым отъездом, я вновь пришел к обрыву — попрощаться с надмирным местом. На Десну опускались сумерки, закатное солнце поблескивало на остриях выбитых стекол в окнах собора, жарко краснела рябина — настоящая, тонкая, — а пьяный хор в беседке вытягивал «тонкую», ненастоящую. И гипсовая фигура женщины с обломком поднятой руки напоминала о расцвете парковой скульптуры. Ступени лестницы уводили вниз, к роднику Нила Сорского, и почему-то в ушах звучало: «Десна была судоходной до Брянска». Как это странно, исполнено одинаково невыразимой тоски и отрады: закатные сумерки, пьяный хор, обломок гипсовой руки с торчащей из нее ржавой проволокой, солнце на остриях стекол и ступени к роднику… И Десна была судоходной… И, если посмотреть вдаль, кажется, что сам демиург таинственно воздевает воскрылия над своей кроткой, святой, нелепой и безобразной страной…

Часть вторая
Повесть о сожженном романе

Глава двадцать четвертая
БРАТЬЯ ГОРБОВЫ — САША И ОЛЕГ

Трубчевск, брянские леса, Десна и Нерусса во многом связаны с ранним, довоенным периодом творчества Даниила Андреева, и прежде всего с его лирическими циклами и романом «Странники ночи». Может быть, и на неоконченную поэму «Песнь о Монсальвате» они оказали косвенное влияние, проступая в очертаниях романтических декораций, диких круч, колдовских провалов, дремучих сказочных лесов, по которым странствует гордый король, королева и ее свита в поисках Чаши Грааля. Во всяком случае, чисто реалистические описания природы в ранней лирике Даниила Андреева хранят отголоски романтической образности, а поэма «Немереча» — это тоже поиск выхода из непроходимых топей жизни, из мрака — к свету, от сна — в явь, от смерти — к бытию.

Поэтому косвенное влияние — да, может быть, но с романом Трубчевск связан непосредственно, вплетен в основной сюжетный узел. Во второй главе археолог Саша Горбов, обветренный, загорелый, русоволосый, с подкупающе доверчивым взглядом серых глаз на открытом лице, один из трех братьев Горбовых, главных героев романа, ночью возвращается в Москву из Трубчевска. Там он несколько месяцев провел в экспедиции, оторванный, отрешенный от московской жизни, от дома в Чистом переулке, от своих родных, ото всего, что творится в стране. Влюбленный в природу, всецело погруженный в ее светлый и гармоничный мир, мир брянских лесов, он словно бы и забыл, что «на дворе» — тридцать седьмой год, страшное время показательных процессов, арестов, пыток и казней. И вот — катастрофа, крушение поездов, опи-

санное в романе безжалостно, во всех натуралистических подробностях и в то же время обобщенное до метафоры, символического пролога дальнейших событий.

Саша видит искалеченные, обезображенные тела, кровь, обезумевшие глаза, выражение нечеловеческих страданий на лицах, слышит отчаянные возгласы, стоны, горячечные мольбы. Он пытается помочь тем, кому еще можно помочь, разгребает завалы, гасит пламя, извлекает из-под обломков, спасает

оставшихся в живых. И недавний рай, чувство отрешенности, блаженного выпадения из времени, растворения в природе оборачивается адом, кошмаром, кромешным наваждением. Вся сцена исподволь готовит читателя к тому, что такая же катастрофа, такое же крушение ждет и всю семью Горбовых, обитателей дома в Чистом переулке, их друзей и знакомых.

Саша — образ автобиографический, выражение сокровенных глубин души автора, персонификация его пантеистических наитий, восторгов и вдохновений. Свое вдохновение, упоенность природой Саша черпал во всем том, из чего рождалась ранняя лирика Даниила Андреева, — бродяжничества по брянским лесам, дубравам и березовым рощам с их пугливой тишиной, нарушаемой дальним зовом кукушки, стуком дятла, воркованием ручья под замшелыми камнями, верховым шумом сосен, клонимых ветром, шелестом вереска и багульника. И не только лирика, но и романная проза: в описаниях природы заметно родство, эти описания так же образны и лиричны.

Вот как сам Саша Горбов вспоминает в романе о своих скитаниях: «Образы, вспыхнувшие в его памяти, но только это были образы тихих хвойных дорог, похожих на светло — зеленые гроты, молчаливых полян, не вспоминаемых никем, кроме аистов. Открылась широкая пойма большой реки, овеянная духом какого-то особенного раздолья, влекущего и таинственного, где плоты медленно плывут вдоль меловых круч, увенчанных ветряными мельницами, белыми церквами и старыми кладбищами. За ними — волнообразные поля, где ветер плещется над золотой рожью, а древние курганы, поросшие полынью и серой лебедой, хранят заветы старинной воли, как богатырские надгробия. С этих курганов видны за речной поймой необозримые леса, синие, как даль океана, и по этим лесам струятся маленькие, безвестные, хрустальночистые реки и дремлют озера, куда с давних пор прилетают лебеди и где он встречал нередко следы медведей; словом, он ударился в лирику».

Автор вовремя останавливает, сдерживает себя, не позволяет отдаться потоку нахлынувших образов, ведь лирическим даром — даром словесного выражения пережитых восторгов, — им наделен другой герой романа, брат Саши Олег, внешне очень похожий на него, такой же сероглазый и русоволосый, но по характеру совсем иной, более сложный, противоречивый, даже надломленный. Ему вручена лира. Если Саша — вольный скиталец, бродяга, воплотивший в себе страсть автора к путешествиям, покорению пространства, — страсть так до конца и не утоленную, то Олег — вторая ипостась его души, тоже покоритель, но пространства внутреннего.

Олег Горбов — поэт, изведавший тайные глубины творчества, где добро и зло подчас неразделимы, сплетены в единый клубок и художественные обретения оборачиваются нравственными срывами и падениями. Кроме того, он готовит себя к выполнению важной духовной миссии — написанию литургических текстов и предшествующим этому аскетическим подвигам, постам и борьбе с плотью. Олег так любит бывать в храме, благоговейно, с умилением душевным взирает на лики икон, горящие лампады и свечи, слушает пение хора на клиросе. Его пленяет и захватывает красота православного богослужения, в котором он видит высшее выражение русской культуры, ее неповторимой самобытности. Но при этом Олег убежден, что литургическое творчество не может застыть и окостенеть, оно должно продолжаться, что наряду с церковнославянскими нужны молитвы, гимны, стихиры, акафисты на русском языке, исполненные такого же истинного, обжигающего вдохновения. Ведь было время, когда вновь созданные гимны свободно исполнялись в церквах, оценивались, критиковались, некоторые отвергались, а некоторые включались в чин богослужения, и это естественно, в этом жизнь. Да, церковь, по мысли Олега, жаждет вдохновенного поэтического творчества, церковь ждет новых златоустов, гениев слова, ну если не таких, как царь Давид или Роман Сладкопевец, то близких им по духу… а может быть, и таких, таких! И Олег мечтает по мере сил ответить на это ожидание, эту жажду. В этом заключается его литургическая идея, — главная идея всей его жизни.

Даниилу Андрееву она была так близка, недаром в тюремных письмах к жене он, усыпляя бдительность цензора, ведет речь о некоем Олеге, которому приписывает свои заветные мысли. Этот Олег и есть герой романа. Саша как бы остался для Даниила Леонидовича там, за воротами тюрьмы, в безмятежном прошлом, а Олег здесь, рядом, в череде тюремных будней. И, что еще важнее, он присутствует во всем его тюремном творчестве.

От Саши же значение духовных миссий, аскетических подвигов, бездонные пучины творчества скрыты. Он, добрый, открытый, доверчивый и простодушный, отдается жизни непосредственно. Может быть, поэтому Саша не испытывает таких жгучих соблазнов, фаустовской жажды жизни во всех ее проявлениях. Не испытывает желания все изведать и испытать, мучительного раздвоения между земным и небесным, которое в итоге приводит Олега к попытке самоубийства, а затем к уничтожению всего написанного и за счет этого обретению нового права на жизнь.

Можно сказать и так: Саша — человек дневной, трубчевский, а Олег — ночной, московский.

Чего больше в самом Данииле Андрееве, ведь оба образа автобиографичны? Да, это так, и, забегая вперед, добавим, что столь же автобиографичен и образ третьего брата — Адриана Горбова. И сравнивая, сопоставляя их по степени погруженности в глубины души автора, можно сказать так: Саша с его вольными скитаниями, добротой, искренностью и застенчивостью — первый замер этой глубины, Олег с его порывами, сомнениями и метаниями — второй и Адриан — третий. Таким образом, Адриан тоже московский, но его Москва особая…

Вот мы и приблизились к самому, может быть, главному — Москве и ее отражению на страницах романа. Если Трубчевск присутствует в романе ретроспективно, показан через воспоминания Саши Горбова, то основное действие развертывается именно в Москве и ее предместьях. Здесь стягиваются все сюжетные нити, свершаются судьбы героев, наступают развязки их подчас запутанных и сложных взаимоотношений. Но Москва не просто служит фоном для этого — она живет как самостоятельный персонаж, художественный образ, дышит, колеблется, меняет очертания и оттенки: то пропадает, затихнув, замерев, затаившись, то является во всем ослепительном блеске. Москва! Дивная, чарующая, загадочная — врубелевская, и в то же время родная, милая, овеянная теплотой — поле- новская. В этом образе слилось все: впечатления от детских прогулок по Кремлю с няней, воспоминания о юношеских блужданиях по переулкам Пречистенки, мечтах в скверах у храма Христа Спасителя, церковных службах. Все это хлынуло на страницы романа, чтобы воплотиться в образе Москвы.

Москвы утренней, полуденной, предзакатной и особенно — ночной. Собственно, отсюда и название романа — «Странники ночи». Описанные в нем события происходят в несколько ночей, когда залитые солнцем поленовские дворики окутывает врубелевская синева. Да, врубелевская, лиловеющая в фосфорическом свете луны Москва господствует в романе, и очертания крыльев поверженного демона угадываются в ней как зловещий призрак. Недаром описание картины Врубеля приобретает в романе такую же символическую значимость, как и истолкование, разгадка, расшифровка внутреннего смысла Пятой симфонии Шостаковича: «Репродукция была великолепная, судя по подписи — английская, сделанная, видимо, в девяностых годах, когда гениальное произведение еще сияло всеми своими красками, всей своей страшной, нечеловеческой красотой. Казалось, на далеких горных вершинах еще не погасли лиловые отблески первозданного дня; быстро меркли его лучи на исполинских поломанных крыльях поверженного, — и это были не крылья, но целые созвездья и

млечные пути, увлеченные Восставшим вслед за собой в час своего падения. Но самой глубокой чертою произведения было выражение взора, устремленного снизу, с пепельно — серого лица — вверх: нельзя было понять, как художнику удалось — не только запечатлеть, но только хотя бы вообразить такое выражение. Невыразимая ни на каком языке скорбь, боль абсолютного одиночества, ненависть, обида, упрек и тайная страстная любовь к Тому, Кто его низверг, — и непримиримое «нет!», не смолкающее никогда и нигде и отнимающее у Победителя смысл победы». И далее автор приводит реплику одного из героев романа, Леонида Федоровича Глинского:

— Видите? — промолвил Леонид Федорович после долгого молчания. — Это — икона, но икона Люцифера.

Таким образом, ночь в романе — это ночь люци- ферическая, демоническая, ночь отпадения от света, ночь советской деспотии и бездуховности, и странники в ней — те, кто не согласен смириться с царством тьмы, еще несет в себе искры добра и света. Зримым воплощением ночи становится возвышающаяся над городом темная громада Лубянки, где на всех этажах светятся окна, за которыми пытают и допрашивают. Сюда после ареста привозят и Леонида Федоровича, и многих других, кому суждена участь бесчисленных и безвестных узников и жертв застенков, тюрем и лагерей.

Глава двадцать пятая
МАРТИРОЛОГ

Однако вернемся к Саше Горбову. После всех пере- житых потрясений, связанных с ночным крушением поезда и спасением людей, он наконец попадает домой. Там его встречают мать, отец и братья, от которых он уже успел отвыкнуть за долгие месяцы своего отсутствия, как, впрочем, и от всей уютной, патриархальной обстановки их дома в Чистом переулке, родных стен с картинами и фотографиями в рамках, стульев, шкафов, диванов, разбросанных в беспорядке вещей. Да и его близкие первое время смотрят на него как на пришлеца, чужака, существо из другого мира и, хотя, конечно же, рады его возвращению, испытывают перед ним некоторое неудобство, неловкость как перед человеком, который многого не знает из того, что произошло, изменилось в их жизни, и которому многое надо объяснять, подыскивать слова. Поэтому они силятся улыбаться, быть приветливыми, но холодок некоего отчуждения проскальзывает меж ними и Сашей.

Саша торопится рассказать им и о случившемся ночью, и о

своей жизни в экспедиции, странствиях по брянским лесам, купании в Неруссе, ночных бдениях у костра. Домашние же слушают его не то чтобы неохотно, без интереса — нет, они участливо кивают, задают вопросы, но Саша чувствует, что их мысли заняты чем-то совсем иным. Это наводит его на подозрение, что беспорядок в вещах и странное поведение домашних вызваны какими-то неприятностями, может быть очень серьезными, которые от него скрывают. Саша набрасывается на них с жадными, нетерпеливыми расспросами, стараясь допытаться до истины, но они отмалчиваются и опускают взгляд. Наконец мать уводит его в другую комнату, закрывает дверь и наедине сообщает, что случилось нечто ужасное, что многие друзья их дома арестованы вместе с семьями, стариками и маленькими детьми, что от них никаких вестей и судьба их окутана мраком. Скорее всего, их ждет тюрьма или лагерь, они их никогда больше не увидят, но еще ужасней то, что со дня на день могут прийти и за ними. Постучаться ночью, затолкать в воронок. Никто не защищен, никому не уберечься, и еще эти страшные голосования на собраниях за смертную казнь…

При этом разговоре мать Саши перечисляет имена всех, — реальные имена друзей и знакомых Добровых, арестованных в те годы. Отсюда и название главы — «Мартиролог».

Саша поражен всем услышанным. Ему кажется невероятным, что людей можно так жестоко и безнаказанно вырвать из привычного уюта и благополучия семейного круга, из комнат с изразцовой печкой, фикусами в кадках, абажуром над овальным столом, нотами на пюпитре рояля. Да, вырвать и бросить на холодный каменный пол тюремного застенка, лишить всего, последних надежд. Даже недавняя железнодорожная катастрофа отодвигается в сравнении с этим на задний план, тускнеет в его сознании. Ему страшно за мать, отца, братьев и всех его близких. И он готов обвинить себя за то незаслуженное счастье, которому он так бездумно отдавался, скитаясь по брянским лесам, купаясь в Неруссе и ночуя у костра.

Аресты среди друзей и знакомых — не единственная новость, ожидавшая Сашу. Саша узнает, что его брат Олег собирается жениться на Ирине Федоровне Глинской, сестре Леонида Федоровича, и в семье готовятся к их венчанию и свадьбе. Казалось бы, личная жизнь Олега устраивается, налаживается, в ней наступает некая определенность, чему можно только радоваться, но, когда Саша робко пытается выразить эту радость, он ни в ком не находит поддержки. Более того, его неуместный оптимизм вызывает досаду и раздражение, заставляя Сашу снова почувствовать, как он ото всех далек. Хотя, собственно, с

братьями Олегом и Адрианом он, самый младший из всех, никогда и не был особенно близок, их внутренний мир — мир поэта Олега, влюбленного в русскую церковность, и ученого — астронома Адриана — оставался для него скрытым, недоступным, и это отсутс твие подлинной близости он особенно остро ощутил именно сейчас.

Когда Горбовы собирались вместе в гостиной за большим столом, ужинали и пили чай из самовара, о свадьбе старались не говорить, прежде всего, потому, что сам Олег избегал этой темы. Олегу казалось, что близкие понимают все не так, как ему хотелось, мнилось, мерещилось, будто они в душе не одобряют, будто они против этого брака, и он готов был ринуться с открытым забралом защищать свой выбор, свою выстраданную любовь к Ирине. Но никто и не был против — просто всем было ясно, что сам Олег не уверен в своем выборе, и поэтому все боялись его ранить, задеть, оберегали его. И лишь Адриан вел себя подчеркнуто безучастно, суховато покашливал, изучал лепнину на потолке, постукивал по столу ножом, делая вид, будто его ничего не интересует, кроме того, что ему подадут в тарелке. И Саша, переводя взгляд с одного брата на другого, терялся в догадках, что с ними происходит, какие бури кипят у них в душе.

Итак, за столом говорили о постороннем, а то и вовсе молчали, и только когда все расходились по своим комнатам, в душе у каждого прорывалось. Мать вытирала слезы, вздыхала, что-то беззвучно шептала, уткнувшись ладонями в лицо, отец глухо молчал, Олег ходил большими шагами от стены к стене, а Адриан раскачивался в скрипучем кресле, листая случайную книгу и больше следя за номерами страниц, чем за тем, что на них написано.

Всем было известно, что у Олега кроме Ирины есть еще и Имар, его давняя любовь, с которой он не решается порвать, мечется, терзается угрызениями совести. Имар с ее черными змеевидными косами и узкими татарскими глазами нужна Олегу как земная женщина (в ее окне вечерами горит пунцовая лампа — знак того, что она его ждет), к Ирине, более утонченной душевно, он стремится как к мечте, совершенному идеалу, но достижим ли этот идеал, возможен ли? Олег сомневается в этом, сомневается в себе, в Ирине и в их любви, он не уверен, что выдержит те обеты, которые собирается принять. Сомневается и не знает, от кого ему на самом деле бежать, от верной ему Имар или от этих сомнений, этой неуверенности.

Так я представлял себе обстановку в доме Горбовых после возвращения Саши. Представлял зримо, слышал голоса героев,

вникал в подоплеку их сложных взаимоотношений, угадывал их мимику, жесты, выражения лиц. И все-таки чего-то не хватало, какого-то штриха, завершающей детали, которая объединила бы разрозненные (все-таки разрозненные!) фрагменты в целостную картину. И я, странствующий энтузиаст, решил поехать в Чистый переулок.

Отшумел последний июньский ливень, в центре Москвы все омыло, очистило пенным потоком воды, обдало волной какой-то свежести, а затем небо прояснилось до фиалковой голубизны и во влажном воздухе засияло, заискрилось, заклубилось столбиками мелких иголок солнце. От мокрых, зыбких мостовых потянулась испарина, засверкали витрины и крыши Арбата. С Малого Афанасьевского переулка я свернул в Филипповский, миновал церковь, где меня когда-то в детстве крестили, пересек Сивцев Вражек и по На- щокинскому переулку вышел к Гагаринскому. Пройдя по Гагаринскому, свернул в Чертольский, который и вывел меня на Пречистенку.

Вывел, и я, повторив про себя все эти названия, изумился их чарующей красоте, дивной музыке: Афанасьевский, Филипповский, Нащокинский, Чертольский… Вот она, матушка — Москва, — та, подлинная, сохранившаяся, по которой бродили герои «Странни ков ночи»! Да, здесь, здесь они жили, братья Горбовы, Саша, Олег, Адриан! От мокрой земли в палисаднике напротив школы тянуло грибной прелью: этот запах они тоже наверняка чувствовали, этим воздухом с детства дышали!

Следующим переулком был Хрущевский, затем — Пречистенский, а затем — Чистый. В Чистом переулке сладко, дурманно пахло липами. Я постоял возле двух старинных особняков, смотревших окнами друг на друга: от одного вида этих окон, белых колонн и мезонина повеяло чем-то патриархальным, уютным. Двинулся дальше, мимо канареечного цвета домика, где некогда жил осанистый, седобородый крепыш, композитор Танеев, которого Даниил Андреев мальчиком вполне мог встречать на улицах (он умер в пятнадцатом году) и вот он, Большой Левшинский.

По Большому Левшинскому я дошел до места, где Денежный переулок переходит в Малый Левшинский. И вот тут-то мне все стало ясно, ведь Чистый переулок и Малый Левшинский — соседи. Да, да, Хрущевский, Пречистенский, Чистый и — сразу же следом — Малый Левшинский. И что же? Даниил Андреев, живший здесь, в Малом Левшинском, не стал далеко отпускать своих героев, слишком они были ему близки и дороги. Поэтому и поселил их совсем рядом, под боком, в Чистом переулке.

И для меня вдруг как-то по — особому выявилось,

высветлилось, что дом Горбовых — это дом Добровых, что Горбовы — старшие списаны с Добровых — старших и прототипом Адриана был не кто иной, как Александр Викторович Коваленский. А уж Коваленского-то мы знаем, нам о нем рассказывали, мы читали, поэтому и Адриана Горбова нам легче представить: такой же суховатый, язвительный, невозмутимый внешне и страстный в душе. Астроном, влюбленный в туманность Андромеды! Созерцатель и мистик!

Да и многие штрихи, детали обстановки и быта в добровском доме перенесены на жизнь в горбовском. Вот вам и картина: восполнилась! Завершилась!

Вдумаемся: для Даниила Андреева добровский дом — целая эпоха, он прожил в нем сорок лет. Сорок лет, заключенных между двумя датами: привозом новорожденного Даниила из Берлина в 1906–м и его арестом в 1947–м. Детство, юность, возмужание, первые поэтические опыты, начало писания романа — все в этом доме. И вот роман закончен и его автор арестован. Из добровского дома его увозят на Лубянку, где целый год длятся следствие, допросы, очные ставки. В результате роман будет сожжен, добровский дом снесут, когда Даниила Леонидовича уже не будет на свете. Но сохранилась память о доме и о романе, память тех, кто его читал; уцелели переулки — Малый Левшинский и Чистый, Даниил Леонидович в тюрьме восстановил несколько отрывков из романа. Значит, он сам приступил к воскрешению романа, сделал первый шаг, что для нас очень важно, почти символично. Человека воскресить нельзя: это дело божеское. Но роман воскресить можно: это дело человеческое.

Наше общее с Даниилом Андреевым дело.

Глава двадцать шестая
НОЧНАЯ МОЛИТВА

В следующих главах фабула романа переносит нас СЗ[5] из дома в Чистом переулке за Москва — реку, на Якиманку. Там в мезонине маленького дома живут Леонид Федорович и Ирина Федоровна Глинские, брат и сестра (у каждого из них по комнате, третью комнату в квартире занимает сосед). Жилище Леонида Федоровича поражает, даже завораживает необычностью обстановки: множество книг от пола до потолка, глобусы, карты. Здесь же слоновий бивень, фигурки многоруких индуистских богинь, резные буддийские четки, молитвенные барабаны и прочие экзотические атрибуты, свидетельствующие о том, что владелец этой коллекции, собранной за многие годы, —

кабинетный ученый, страстно влюбленный в Индию, посвятивший жизнь ее изучению. Это действительно так — даже в облике хозяина проскальзывают черты, выдающие его пристрастие: он несколько смугл, темноволос и чем-то неуловимо похож на индуса. Правда, сутулые плечи, желтоватая седина на висках, глубокие морщины наводят на мысль, что он рано состарился, а частое покашливание и нездоровый румянец на щеках заставляют заподозрить, что он неизлечимо болен туберкулезом.

Страсть к путешествиям роднит Леонида Федоровича с Сашей Горбовым, вольным трубчевским скитальцем. Но вся трагедия Леонида Федоровича в том, что его заветная мечта побывать в Индии, увидеть южные моря, услышать шуршание прибрежной гальки под набежавшей пенистой волной, вдохнуть соленый, йодистый запах прибоя никогда не осуществится. Не осуществится, во — первых, из-за болезни, а во — вторых, времена-то какие, тридцать седьмой год… какие уж там путешествия!

И вот в романе описывается ночь, которую Леонид Федорович проводит один в своей заставленной книгами и экзотическими предметами комнате. За окнами иссиня — черная, непроглядная тьма, занавески задернуты, город спит тяжелым, как похмельный дурман, сном. На столе горит лампа под абажуром, и ее свет кажется мертвенно — желтым. И Леонид Федорович испытывает ту мучительную, беспросветную тоску, которая охватывает человека, замурованного в склепе, от невозможности вырваться на свет, осознания полнейшей безнадежности своего положения и бессилия что-либо изменить. Ведь по возрасту своему он застал и хорошо помнил прежнюю Россию и как ученый формировался в те годы, когда еще можно было дышать, свободно высказываться, общаться в своем кругу, не опасаясь, что на тебя донесут, и переписываться с зарубежными коллегами, получать от них новые книги в запечатанных сургучом посылках. Он чувствовал свою избранность, посвященность, принадлежность к той блестящей плеяде ученых, которые составляли цвет тогдашней науки, и мог гордиться добытыми знаниями, трудами, открытиями.

И вот постепенно, не сразу, та Россия стала отходить и погружаться в небытие, следы ее повсюду стирались, а вместо нее выперло что-то бесстыжее, бессмысленное, хамское, широкозадое, вызывавшее у него глухую ненависть. И что стало с блестящей плеядой? Леонид Федорович перебирал имена знакомых профессоров, с кем вместе учились, дружили, чаевничали, мечтали, спорили: этот в лагере, этот в тюрьме, этот сгинул без следа, этот проходит по безумному показательному процессу, публично кается, сам на себя клевещет, признается в

несовершенных преступлениях, выдает на такую же расправу близких и друзей.

Страшное время, но все ли понимают весь ужас происходящего? Нет, не многие, единицы тех, в ком теплится еще свет веры, свет духовного знания. Еще и в прежней России интеллигенция подчас бравировала, кичилась своим атеизмом, а теперь и вовсе вместо Бога обрела себе идола, рябого и усатого, в серой шинели, с изрытым оспой лицом и желтыми глазами под низким лбом. Да и какая там интеллигенция!..

Но Леонид Федорович из числа последних, кто несет в себе веру и знание, недаром он так влюблен в Индию. Как ученый, он всегда был чужд стремлению слепо следовать за фактами, отвергая то, что не укладывалось в их прокрустово ложе. Он смутно чуял, угадывал, распознавал, что в истории все не ограничивается зримым полем действия, вечевой площадью, полями сражений и битв, — нет, на историю влияют потусторонние силы, в нее вмешивается то незримое, что народы в своем религиозном творчестве наделяют обликом богов и богинь. Ему была приоткрыта высшая мудрость — софийность — истории. Он мог считывать ее тайные знаки и в этом смысле сам был историософом.

Как историософ, мистический созерцатель Леонид Федорович разработал целую теорию чередования в истории синих и красных эпох, показывающую, что за всей пестротой исторической жизни, многообразием человеческих воль и стремлений, в том числе за стремлением к техническому прогрессу и революционным преобразованиям, скрывается противоборство двух начал. В синие эпохи усиливается, преобладает, торжествует духовное начало, эти эпохи отмечены знаком высших откровений, огненных пророчеств и мощного религиозного творчества. В эти эпохи приходят великие Учители человечества, основатели мировых религий — Заратуштра, Моисей, Буд да, Христос, Мухаммед, создаются священные книги, возникает чувство близости Бога, открытости неба (вспомним лестницу Иакова и сходящих по ней ангелов), пламенное горение веры. Это эпохи святости, аскетических подвигов, чудотворства, мистических озарений, порывов и экстазов. В результате этого духовного движения, первичного толчка, заданного истории, складывается сообщество верующих, будь то буддийская сангха или мусульманская умма, зарождается Церковь — православная, католическая или протестантская. Возводятся украшенные витражами соборы, громовыми раскатами звучит орган, под сводами разносятся звуки певческого хорала.

Но затем церковные формы жизни начинают окостеневать,

живое и пламенное чувство веры затухает и гаснет, аскетические подвиги прекращаются, чудотворство исчезает и наступает красная эпоха, ознаменованная торжеством материального начала. Вот тогда-то творческие силы общества и устремляются на достижение технического прогресса и революционное переустройство, ломки и нововведения. Могучие умы совершают великие открытия, но используются они в сугубо утилитарных целях, подчас убийственных для человечества. Провозглашаются идеалы братства, равенства, счастья, но не в Царстве Небесном, а в царстве, которое мыслится как рай, опрокинутый на землю. И этот опрокинутый рай оборачивается кострами инквизиции, охотой за ведьмами, газовыми камерами, террором и трудовыми лагерями.

Спасает от удушья в этой гнетущей атмосфере лишь то, что остается маленькая горстка людей, не сломленных веком, способных на сопротивление его низменным страстям, похотям, грубым, плотским, материальным началам и сохраняющих верность заветам прежней эпохи, — своеобразное синее подполье.

Они таятся, скрываются, их выслеживают, за ними охотятся, их хотят уничтожить, но эти люди не сдаются, храня в ладонях и передавая друг другу тлеющий уголек, последнюю искорку священного огня. Пусть он едва теплится, трепещет в ладонях — вместе с ним не иссякает надежда…

Такие подпольные люди, хранители синего огня, есть и в окружении Леонида Федоровича. Скоро они соберутся в его мезонине на Якиманке для того, чтобы пожать друг другу руки, услышать друг друга, вселить надежду, поддержать веру, укрепиться духом. Соберутся, несмотря ни на что — слежку, охоту, травлю. Соберутся, и это служит залогом того, что в ночном небе еще покажется сияющая утренняя звезда, предвестница наступления новой эпохи.

А пока Леонид Федорович молится, — молится своей удивительной, вдохновенной молитвой за всех, за все мироздание, весь необозримый Божий мир: за диких слонов, трубящих в джунглях, рассеченных потоками солнечного света после отшумевшего тропического ливня, за пятнистых газелей и антилоп, грациозно спускающихся каменистой тропой к водопою, царственных жирафов, проплывающих над вершинами лиан, гигантских черепах, спрутов и осьминогов в пучинах южных морей, которых ему не суждено увидеть, рокочущий шум прибоя, который он никогда не услышит. Молится за рыбаков с иссохшими, морщинистыми лицами, сгорбившихся в лодке под камышовым парусом, бритоголовых монахов в вылинявшей желтой одежде, с посохом, четками и бронзовым от загара

оголенным плечом, за последнее зернышко риса, прилипшее ко дну их чаши для подаяний. Молится за чеченские сакли, украинские хаты, почерневшие избы русских деревень, мужиков и баб на перевозе, шершавые грубые руки, тя нущие трос, босоногих мальчишек, распластавшихся на спинах коней. Молится за хоры светоносных ангелов, славящих Бога, и шестикрылых серафимов — стражей у престола Всевышнего. Молится и этой молитвой как бы возносит, передает в руки Бога весь сотворенный Им мир…

По свидетельству Аллы Александровны Андреевой, многие, читавшие роман, переписывали эту молитву, хранили и повторяли, помнили наизусть…

Образ Леонида Федоровича Глинского тоже отчасти автобиографичен, и дело не только в том, что Даниил Андреев вложил в него всю свою любовь к Индии, которую он, как и его герой, не видел воочию, но лишь изучал по книгам. Еще важнее, что Леонид Федорович — знающий, хотя этот образ, созданный еще до Владимирской тюрьмы, не мог вместить того мистического опыта, тех видений и откровений, которые были посланы ее узнику. Отсюда и фраза из тюремной переписки с женой: «Я знаю то, о знании чего Леонид Федорович только мечтал…» (письмо 25). В другом письме Даниил Леонидович пытается донести до жены смысл узнанного, сопоставляя себя с героями романа, в том числе и с Леонидом Федоровичем Глинским: «Ты вообще совершенно не представляешь, до чего дело дошло и куда направляется. А насчет близости старых друзей скажу так: теперь мне ближе всего был бы Адриан такой, каким он стал после случившегося с ним внутреннего переворота; Олег — каким бы мог бы стать в конце пути, и Леонид Федорович, если бы случилось вот что: его доктрина (теория чередования красных и синих эпох. — Л. Б.) была только попыткой обобщить положительный опыт прошлого. Она должна была подготовить путь для истинно нового. Именно этого нового ей не хватало. Так вот, представь, что случилось чудо и к Леониду Федоро вичу пришло бы то откровение, которое ему казалось мыслимым только в конце века» (письмо 19).

Знаменательное высказывание! Своей жизнью в тюрьме и всем, что с ним происходило бессонными ночами на тюремных нарах, Даниил Андреев как бы дописывает судьбы своих героев и сам становится персонажем романа — тем, с кем случилось чудо, которого так жаждали они. Отметим, выделим, подчеркнем эту важную для нас мысль (мы к ней еще вернемся): роман не только живет в сознании узкого круга его читателей — Коваленских, Виктора Михайловича Василенко, Аллы Александровны, сестер Усовых и других, но и дописывается и их жизнью в лагерях и

ссылках (все читатели, напомним, были арестованы и осуждены), и жизнью самого автора. Значит, его содержание не исчерпывается рукописью и, уничтожив рукопись, нельзя было уничтожить роман.

Глава двадцать седьмая
МЕЗОНИН. МОЛЧААИВАЯ КЛЯТВА

После нескольких дней, проведенных с близкими, обедов за овальным столом, чаепитий, разговоров, внезапных исповедей и признаний или, наоборот, отчужденного молчания Саша Горбов постепенно осваивается дома, для него многое проясняется и встает на свои места. Ему понятны тревоги и опасения старших, матери и отца, ведь они столько пережили из-за арестов, что теперь вздрагивают от каждого шороха, скрипа, суеверно крестятся, слыша ночные шаги на лестнице, панически боятся опозданий и задержек своих близких и домочадцев. И Саша старает ся быть рядом с ними, внушает, что им ничего не грозит, утешает и успокаивает. И, растроганные, старики просветленно улыбаются в ответ, кивают, с благодарностью гладят его руку и заверяют, что им уже не так страшно.

Саше все больше открывается и то, что причина метаний Олега — не только Имар и невозможность разорвать с ней, но и сомнения в любви к Ирине, в собственном творчестве, неудовлетворенность своим внутренним состоянием, бессилием перед собственными слабостями и несовершенствами, мешающими продвижению на избранном пути. Олег признается Саше, что их брак с Ириной как брак чисто духовный, в чем-то подобный браку Иоанна Кронштадтского, исключает физическую близость, что одновременно с венчанием в церкви Ивана Воина на Якиманке они дают обет целомудрия, но смогут ли они выдержать этот обет и есть ли в нем истинный смысл? В целом замысел духовного брака, казалось бы столь возвышенный, чем-то отталкивает Сашу: он сознает, что Олег не тот воин, чтобы победить в этом бою, и жажда аскетического подвига может обернуться для него жестоким срывом.

Саша также начинает догадываться, что неспроста Адриан так холоден и безучастен ко всему, что связано с женитьбой Олега: Ирина — вопреки нежеланию это признавать — нравится ему, может быть, он даже влюблен, ревнует к брату, презирает себя за постыдную ревность и поэтому готов возненавидеть и его, и ее, и себя. Словом, узел завязался мучительный, крепкий, тугой, и кто его в конце концов развяжет — Олег, Адриан, Ирина или сама судьба, — остается только гадать.

Русоволосый, сероглазый, добрый, открытый Саша не знает, как ко всему этому отнестись, как себя вес ти, чем помочь братьям. Да и нуждаются ли они в его помощи? Может, ему лучше было и не возвращаться, а остаться там, в Трубчевске, о котором он все чаще вспоминает: тихие хвойные дороги, молчаливые поляны, меловые кручи, белые церкви? Все эти вопросы тоже тревожат и мучат Сашу. И временами кажется, что вопреки первоначальной уверенности он ничего так и не понял, ничего для него так и не прояснилось и что его подхватывает, несет и кружит тот же вихрь событий, в какой попали они.

Олег наедине, при закрытых дверях рассказывает Саше, что в мезонине на Якиманке, у брата Ирины Леонида Федоровича собираются люди. При этом Олег намеренно не уточняет, какие именно люди, восполняя свои слова долгим, пристальным, красноречивым взглядом, внушающим брату, что у этих людей есть особое свойство и особая цель. Цель, отличающая их от тех, кто встречается, чтобы повеселиться и потанцевать на вечеринке по случаю дня рождения и первый тост произносит не за именинника, а за вождя. Саша осознает значение взгляда, до него доходит смысл сказанного, и когда Олег приглашает его пойти вместе с ним на очередную встречу, он неуверенно соглашается, хотя мысли сбиваются, путаются и в душе возникает смятение. А как же их старики? А если они узнают? Им этого не пережить…

Кроме того, Саша не чувствует себя готовым к выполнению подобных задач, достижению таких целей. Хотя они еще до конца не ясны ему, он догадывается, в чем они могут заключаться и к каким привести последствиям, и его охватывает невольный страх. Саша, не считавший себя трусом, чувствует, что боится, очень боится, и пытается понять почему. Да, он тоже задыхается в этой гнетущей атмосфере, тоже ищет выход из мрака ночи, опустившейся на страну. Но ищет его в другом: в вольном бродяжничестве, ночевках у костра, близости к природе и отрешенном забвении всего того, что происходит на городских улицах и площадях, среди несметных толп, скандирующих лозунги и приветствующих вождя на мавзолее.

Тем не менее вечером он отправляется на встречу вместе с Олегом, понимая, что отпустить его одного нельзя, что это было бы равносильно предательству. Они молча идут по вечерним улицам, обгоняя редких прохожих. Замоскворечье уже затихает, окутанное маревом облачной дымки, небо над ним то лиловеет, то становится темно — фиолетовым, то отливает багрянцем, во двориках белесый туман поднимается над поленницами дров, погребами, зарослями лопухов и репейников. Вспыхивают последние отсветы зари — на церковных маковках золотом, а в

окнах приземистых домов яичным желтком.

Вот и мезонин на Якиманке, где живут брат и сестра Глинские, — Саша и Олег поднимаются по лестнице, тихонько стучат в дверь. Слышатся шаги, дверь сначала осторожно приоткрывается, затем распахивается шире, и в глаза ударяет полоска света. В прихожей их встречает Леонид Федорович, одетый по — домашнему и в то же время слегка торжественно, по — про- фессорски старомодно, при галстуке. Он несколько церемонно, с подчеркнутой учтивостью приветствует их. Знакомится с Сашей, о котором уже, конечно, слышал, крепко пожимает обоим братьям руки, приглашает в комнату. Олег, чуть задержавшись, вопросительно указывает глазами на дверь соседа — третьего жильца этой квартиры. Леонид Федорович, понимая причину его беспокойства, произносит вполголоса, что от соседа, слава богу, удалось избавиться, спрова дить в Большой театр: купили ему билет на оперу. Поэтому его присутствие им не помешает и можно надеяться, что на них, даст бог, не донесут.

А в комнате, среди многоруких богов и богинь, уже собрались и другие гости, среди которых Саша видит Ирину Глинскую: она сидит на диване, голова гордо откинута, тонкие руки обнимают колени. Красавица! Сама как богиня! Чем-то очень похожа на своего брата, такая же смуглая, но черты тоньше и в глазах больше сквозящей, пронзительной синевы. Почему она здесь? Какая роль отводится ей среди всех этих людей? Саша хочет спросить об этом Олега, но откладывает свой вопрос, поскольку начинается собрание группы.

Первым из присутствующих берет слово архитектор Боря Моргенштерн, маленький, со всклокоченной шевелюрой и прыгающими на носу очками. Расхаживая по комнате со стаканом кирпично — красного чая, помешивая его ложкой и отхлебывая шумными глотками, он, так же взахлеб, рассказывает о своем проекте. Проекте храма Солнца Мира на Воробьевых горах, где когда-то хотел возвести свой храм, посвященный Христу Спасителю, безумный мечтатель Витберг, намного опередивший свое время, — его идеи остались невоплощенными, даже несмотря на покровительство Александра I. Боря тоже из числа таких мечтателей, вслушивающихся в таинственные зовы будущего, которое приоткрывается в его проекте. Да, наступит эпоха, когда человеческие представления о Солнце как высшем божестве — Ра, Амоне, Атоне, Митре, Су- рье, Христе (Он тоже — Солнце Мира,) — сольются в едином божественном образе, парящем над всем пантеоном. И поклоняться этому Солнцу Мира будут в храмах, подобных тому, какой явился ему в дерзких творческих мечтах.

Отодвинув посуду, Боря разворачивает на столе большой лист ватмана с рисунками будущего храма. Собравшись, сгрудившись вокруг стола, все с нетерпением склоняются над ними, жадно смотрят. Беломраморное здание небывалой красоты возносится вверх остриями и шпилями своих башен, сквозит рисунками витражей, сияет, ликует и торжествует, увенчанное сверкающим куполом и крестом. Широкие белые лестницы, украшенные резьбой, с разных сторон ведут к нему. Храм окружает высокая ограда, в узорах которой угадываются очертания множества лир, и каждая из этих лир должна звучать, как звучали каменные колоссы Мемнона в Древнем Египте при восходе божественного Солнца.

Все молча, с затаенным дыханием разглядывают это чудо, беломраморный храм, а затем — символическая сцена, одна из ключевых в романе! — не сговариваясь, возлагают на него руки, ладонь на ладонь, словно принимая посвящение, принося безмолвную клятву.

Храм Солнца Мира, уже преображенный, небесный, возникнет в «Железной мистерии», созданной уже после романа во Владимирской тюрьме: «Тогда становится видимым белый многобашенный собор, как бы воздвигнутый из живого света и окруженный гигантскими музыкальными инструментами, похожими на золотые лиры».

Глава двадцать восьмая
СИНЕЕ ПОДПОЛЬЕ

Вслед за Борей Леонид Федорович как хозяин (дома предлагает выступить Василию Михеевичу Бутягину, седому, взъерошенному, с наполовину расстегнутым воротом рубахи, съехавшим набок галстуком и отвисшими карманами пиджака. Василий Михеевич — библиотекарь по должности и историк по призванию, один из тех, кому дорога каждая мелочь, связанная с прошлым, для кого это прошлое остается незатемненным, несмотря на все старания свести его сложнейшие перипетии к восстанию Спартака, Степана Разина и Парижской коммуне.

Василий Михеевич, достав из портфеля свои записи и воинственно нацепив на нос очки, делает доклад о русской истории от Рюриковичей до Романовых, особенно подробно останавливаясь на эпохе Грозного, Смутном времени и реформах Петра. Глуховатым голосом, слегка покашливая, он рассказывает, как складывались государственные, нравственные, духовные устои русской жизни, как возникали идеи Третьего Рима и царя — помазанника. Рассказывает и о том, как русская державная

мощь оборачивалась деспотией и каким помрачением умов можно объяснить то, что год, названный Лермонтовым страшным («…России страшный год, когда с царей корона упадет»), встречался с радостью и ликованием как год свершившейся революции и долгожданного освобождения.

Да, истинного царя — освободителя убили, взорвали бомбой, разнесли в клочья, зато по слепоте своей, окамененному нечувствию, странной невменяемости приняли за освободителей тех, кто под кумачовыми лозунгами создал новую инквизицию, колхозное рабство и крепостное право. Бога свергли, а поклонились сухорукому усачу в серой шинели. Поразительная, причудливая, парадоксальная подмена! Да, много всяких подмен было в русской истории, разные миражи и иллюзии затуманивали сознание, самозванцы всех мастей занимали престол, и большевизм — самая великая подмена. Об этом говорит Василий Михеевич, задумчиво закрывая глаза, поглаживая ладонью лоб и охватывая щепотью переносицу. Затем он отнимает от переносицы пальцы, открывает глаза, стараясь обозначить словами то, что явилось его внутреннему взору: да, да, большевики — вот творцы иллюзий! Вот самозванцы!

После минутной паузы (попросил налить себе чаю) он продолжает, поднося ко рту чашку и всякий раз забывая сделать глоток и вместо этого заглядывая в свои записки. Основная мысль доклада сводится к тому, что большевизм есть разрушение вековых устоев русской жизни, крайнее выражение всего уродливого, темного, дикого, противоестественного в русской истории — тирании, опричнины, богохульства, поругания святынь, шутейных соборов. И поэтому исторически он обречен, каким бы незыблемым и несокрушимым ни казалось его могущество. Этим выводом Василий Михеевич закончил, спрятал свои листки и оглядел собравшихся умоляющим, страждущим взором человека неуверенного и беспомощного, ожидавшего от других оценки своих высказываний, согласия или несогласия с ними. Уф, он даже запарился! Запарился и полез за платком в свой отвисший карман!

Все слушавшие доклад в неподвижных, застывших позах зашевелились, заскрипели стульями, потянулись к стаканам с чаем. По лицам было заметно, что доклад понравился, произвел впечатление, но требовалось время, чтобы его обдумать. Леонид Федорович предложил задавать вопросы и сам же первым задал вопрос, отчасти вызванный его собственной теорией чередования эпох: как относится Василий Михеевич к эпохе декабристов? Тот, снова охватив щепотью переносицу, ответил, что декабристы — при всем их личном благородстве, дворянских понятиях о долге,

чести, искреннем стремлении к благу России — предшественники большевиков в их разрушительном деле и успех их восстания привел бы Россию к не менее жестокой тирании. Кто-то возразил: все- таки нельзя уравнивать, ставить на одну доску большевиков и декабристов. Василий Михеевич стал запальчиво доказывать, что можно: это справедливо и по сути верно. Леонид Федорович хотел вмешаться в спор, но сдержался, про себя решив, что сейчас лучше выслушать следующий доклад — уже не историка, а экономиста.

Он попросил выступить Алексея Юрьевича Серпуховского. И когда тот поднялся и вышел на середину комнаты, встав под самым абажуром, заложив за спину руки и склонив бритую наголо голову, сразу стало ясно, что это человек с офицерской выправкой, безупречными манерами, трезвым и ясным умом, язвительный, саркастичный и бесстрашный. Он начал с того, что не просто подверг сомнению экономическое устройство сталинского общества, но попросту разгромил и уничтожил советскую экономику. Он показал, что она держится на рабском труде и искусственно нагнетаемом энтузиазме, что сельское хозяйство — ее основа — в корне подорвано коллективизацией, раскулачиванием, уничтожением слоя настоящих хозяев. Колхозы — лучшая форма существования для лодырей, иждивенцев, всякой голытьбы беспорточной, для тупой и безвольной массы, способной ра доваться тем жалким крохам, которые остаются им, обворованным государством (закупочные цены запредельно низкие), за их подневольный труд. В деревнях беспробудное пьянство, грязь, запустение, разруха и кумачовые лозунги, о которых уже упоминал предыдущий докладчик (взгляд в его сторону Василия Михеевича) — вот истинный, советский идиотизм деревенской жизни. И вместо мужичка с ноготок, который ведет под узцы свою лошадку, шествует по дорогам маленький иуда, змееныш, донесший на родного отца, — Павлик Морозов.

В целом октябрьский переворот не просто затормозил экономическое развитие России, но вывел ее за пределы европейского экономического пространства, в мертвую зону, где вместо естественных законов правят указы, декреты и постановления, эти чахлые цветы на искусственной клумбе, унавоженные пахучим агитпропом — агитацией и пропагандой новой идеологии. Конечно, силой, умом, гением народа и в этой мертвой зоне можно что-то создать. Можно бросить на стройки и рытье каналов трудовые армии заключенных, можно продержаться за счет продажи царского золота, алмазов, нефти и других ископаемых, можно затянуть пояса и как-то прожить, но

все равно это будет в экономическом смысле неполноценная жизнь рахитичного организма с непропорциональной головой, щуплым тельцем и хилыми ножками. Поэтому тяжелейший кризис, ступор и распад системы неизбежен, и уже сейчас надо думать о том, как излечивать страну, возвращать ее к человеческой жизни.

И тут Алексей Юрьевич вкратце перечислил основные меры. Перечислил, загибая пальцы на маленькой холеной руке, испытующе глядя на всех и определяя, насколько с ним согласятся собравшиеся (от этого будет зависеть, как к ним относиться, чего они стоят): захват власти, реставрация монархии, восстановление частной собственности, роспуск колхозов и так далее.

Все смолкли и замерли, и в напряженной тишине было слышно, как из носика самовара в наполовину наполненную чашку падают — одна за другой — капли. И никто не решался приподняться, завернуть кран и тем самым взять на себя некую инициативу, выделиться из всех. Женя Моргенштерн сидел потупившись, обняв рулон своего ватмана, Олег Горбов крутил одним пальцем молитвенный барабан, истертый от прикосновения множества рук, Ирина характерным жестом прижимала к лицу узкую ладонь: глаза были закрыты.

Не то чтобы с выступавшим сразу не согласились, нет, но в его словах прозвучал призыв, на который не все были готовы откликнуться, — призыв к действию, сплоченности не ради возведения храма в будущем, а ради борьбы сегодня, сейчас. Борьбы с оружием, не на жизнь, а на смерть: вот какая требовалась клятва с возложением рук (ладонь на ладонь)!

Значит, снова кровь, гражданская война? Подобные вопросы донеслись, послышались с задних рядов, робкие и невнятные. Алексей Юрьевич вскинул голову, усмехнулся, скорее даже язвительно осклабился, синие глаза на широкоскулом лице сузились, и он заговорил о том, что гражданская война не кончилась, она продолжается, но уже одной стороной, захватившей власть, — война, направленная на уничтожение цвета нации, лучшей части народа по тюрьмам и лагерям. Тысячи тысяч ведут на заклание, приносятся гекатомбы жертв, но сейчас не время слепой покорности библейского Исаака, ведь ведет не отец, а тот, кем подменили истинного отца. Вот она злая, дьявольская подмена! (Снова взгляд на Василия Михеевича.)

И тут Василий Михеевич, всколыхнувшись, порывисто вскинувшись, заскрипев стулом, всей своей фигурой, взглядом, сползшими на нос очками изобразил вопрос: ну помилуйте, каким образом осуществить столь грандиозный замысел? Как это

возможно практически? Алексей Юрьевич сразу уловил суть вопроса и про себя подумал, а стоит ли отвечать на него лишь для того, чтобы удовлетворить чью-то любознательность? Но все-таки, совершив над собой усилие (дрогнул на щеке напрягшийся мускул), ответил, перечислил, уже не загибая пальцы, а четко выговаривая слова: вовлечение в заговор все большего числа людей, особенно армейских командиров, установление связей с заграницей, с белоэмиграцией, подпольная борьба, диверсии, террористические акты и в итоге открытое вооруженное выступление.

Перечислил и едва не замычал от бессильной ярости. Нет, эти жалкие, не приспособленные к жизни мечтатели и фантазеры совершенно не поняли, не вняли, не приняли того, к чему он их призывал. Посмотрите на их растерянные лица, их изумленные глаза: они устрашились, как дети, у которых вместо игрушечных пистолетов оказалось в руках настоящее оружие. Поэтому больше он им ничего не скажет, хватит, это смешно, в конце концов. К чему эта бессмысленная комедия!

Алексей Юрьевич смолк, склонил бритую наголо голову, тем самым скупо благодаря за внимание, офицерской походкой вернулся на место, сел, забросив ногу на ногу, и туго закрутил кран самовара.

Осознавая неловкость возникшей ситуации и чувствуя себя виноватым перед Алексеем Юрьевичем, ко торого он пригласил, обещая ему помощь и поддержку, Леонид Федорович произнес несколько общих слов о долге каждого участвовать в борьбе и готовности откликнуться на призыв, а затем, сознавая отчасти свое малодушие, вернулся к прежним, безопасным темам. Он с принужденной улыбкой стал излагать свою теорию чередования синих и красных эпох и особенно подробно остановился на эпохе Александра I и декабристов. По его мнению, эпоха Александра с его мистической чуткостью и религиозной терпимостью — яркий пример синей эпохи, но все дело в том, что на исходе каждой из таких эпох начинают скапливаться элементы будущей красной эпохи. Собственно, декабристы и были таким элементом… Снова оживился прежний спор о декабристах, во время которого Алексей Юрьевич Серпуховской тихонько поднялся и вышел, извиняющимся жестом показав на часы и попрощавшись глазами с Леонидом Федоровичем.

Леонид Федорович понимающе кивнул и не стал его провожать, чтобы внезапно не оборвалась беседа, столь спасительная в натянутых и неловких ситуациях. Но при этом он тоже невольно вспомнил о времени: спектакль в Большом театре заканчивался и сосед должен был вскоре вернуться. Поэтому все-

таки пора… пора и им расходиться. Об этом же напоминала взглядом сестра, сидевшая впереди, рядом с Олегом. Но она же ждала от него еще каких-то важных, нужных в эту минуту, ободряющих слов — напоследок. Леонид Федорович едва заметно кивнул ей в знак понимания и, завершая свою речь, добавил, что в глубине, в недрах красной эпохи тоже зарождаются и вызревают элементы будущего, своеобразное синее подполье.

— Синее подполье — это мы и подобные нам, — сказал он с воодушевлением, но все же не сумел скрыть легкой досады и неудовлетворения в голосе, и каждый почувствовал, что уход Алексея Юрьевича Серпуховского, закрывшаяся за ним дверь придала этим словам нечто от скрытого, затаенного упрека.

Глава двадцать девятая
НОЧНЫЕ ШАГИ

А Алексей Юрьевич тем временем шел по ночной Москве — через Каменный мост, набережной вдоль Кремля и оттуда — к Лубянке. Окна в домах уже погасли — за плотными занавесками едва теплились светляки настольных ламп, и лишь светилась всеми окнами, сверху донизу, каменная громада НКВД, тысячеглазый спрут. Там всю ночь продолжалась страшная работа: допрашивали, пытали, били и истязали. Едва Алексей Юрьевич это представил, по лицу пробежала судорога и все, о чем говорили на «синем» вечере, вновь показалось ему младенческим лепетом, пустой болтовней, беспомощным слюнтяйством.

Как он жалел о том, что согласился быть участником этих жалких посиделок, этого интеллигентского сборища, играющего в конспирацию: соседа, видите ли, в театр отправили, избавились от соглядатая! Боже мой! Ради чего?! Ради всей этой пустой говорильни, абстрактной демагогии?! Называют себя подпольем, а у самих ни настоящей организации, ни четко поставленных задач, ни плана действий. Разговоры, разговоры, разговоры! О Россия, сколько раз ты себя губила этими разговорами и вот уже погубила окончательно, скатилась в пропасть, а они все говорят, и не уймешь, не остановишь! Как нужны тебе те, кто способ ны действовать, — рыцари, а не трубадуры, жонглеры и скоморохи! Как он их презирает и ненавидит со всеми их выкрутасами, трюками и ужимками!

Этот Леонид Федорович с его претензиями на мистические знания, на некую посвященность, рассуждениями о красных и синих эпохах! За всем этим — фук! А ведь поначалу крепко жал руку, убеждал, что за ним серьезная сила! А эта его сестра с гордо откинутой головой! Только мечтает о рыцарях, об огненных

испытаниях, а сама никогда не протянет над огнем руку: ай, пальчик обожгла! А этот Олег Горбов, с которым она шепчется о каких-то обетах, или его брат Саша: тот вообще не понимает, что вокруг происходит! А Василий Михеевич, он-то (все-таки историк), может, и понимает, но беспомощен, как дитя! А взлохмаченный Боря со своим ватманом и все остальные — посиделки, жалкие посиделки!

Хорошо еще не раскрыл, не выдал себя и они понятия не имеют, кто он на самом деле… Алексей Юрьевич усмехнулся, вообразив, как округлились бы от ужаса глаза у этих людей, если бы им стало известно о его ночных бдениях, собраниях и встречах. Ах, значит, вы вступили?!. (Ладошка от страха прикрыла рот.) Да, он вступил… вступил в настоящую конспиративную организацию. Ах, значит, вы связаны?!. Да, он связан с иностранной разведкой… Ах, значит, вы готовите?! Да, он готовит, лично участвует в разработке планов диверсий и террористических актов и составляет список будущих жертв, советских бонз и чинуш, и не надо говорить ему о том, что эти средства недопустимы, что могут погибнуть невинные, а у виновных есть дети, что он выступает на стороне врагов собственной страны.

Враги России — большевики, совершившие в ней вооруженный переворот, лишь названный ими рево люцией, и борьба с ними — его святое дело, жизненная идея. Циничный прагматик Ленин не остановился перед тем, чтобы ради достижения своих целей пойти на сделку с немецким генштабом, стать германским агентом, и он не остановится. Пойдет на сделку с кем угодно, хоть с дьяволом, лишь бы доказать, что в России еще остались мужчины, остались настоящие боевые офицеры. Да, он сам готов…

Готов стать исполнителем этих террористических актов, стрелять этих палачей: рука не дрогнет. Или сабелькой полоснуть по большевистскому горлу! О, он бы с наслаждением!.. Что, Леонид Федорович, каким цветом окрашен для вас такой человек — синим или красным? Нет, он иной, он белого цвета, и его призвание в том, чтобы поднять упавшее и растоптанное святое белое знамя.

Так думал Алексей Юрьевич, удаляясь от Лубянки в глубь ночной Москвы, и, как пишет, завершая эту главу, Даниил Андреев, по затихшим улицам раздавался «четкий и смелый стук каблуков».

Серпуховской был уверен, что никогда больше не увидит всех этих людей, собиравшихся в мезонине на Якиманке, и не встретится с Леонидом Федоровичем, но судьба уготовила им

нежданную встречу.

Глава тридцатая
У БИБЛИОТЕКИ

Леонид Федорович Глинский весь день провел в (у библиотеке. Он сидел на своем привычном месте, за столиком у окна, иногда отрываясь от книги с обозначенными на ней радужными концентрически ми кругами света, падающего из-под абажура массивной настольной лампы, откидываясь в кресле и оглядывая огромный двухъярусный зал с высокими окнами, на которых каждые полчаса за шнурок открывалась фрамуга. Его любимая библиотека!.. Он никогда не называл ее Ленинской и, если слышал от других это название, едва сдерживался, чтобы не сморщиться с брезгливостью, и готов был застонать, замычать или, наоборот, радостно заблеять в угоду тому, кому невдомек, бедняге, что есть слова несо- единяемые, как и эти два слова: Ленинская (брр!) и — библиотека.

Нет, для него это была просто библиотека, вернее даже, Библиотека, поскольку здесь он проводил упоительные, блаженные часы наедине с книгами, раскрытыми под конусом света от лампы, с брошенным поверх белых страниц карандашом. И весь этот ритуал — найти в выдвижном ящике каталога карточку, нанизанную на металлический прут, заполнить листок требования, указав автора, название и шифр, спуститься ненадолго в буфет или курилку, а затем, вернувшись, хищно взять, схватить (сцапать, как он выражался) с полки присланную из потаенных недр хранилища, поднятую наверх книгу — этот ритуал вызывал у него сладкую дрожь. И, истинный бог, хотелось замычать и заблеять от счастья. Вот она жизнь, вот она хоть и тайная (о, мудрый Пушкин!), но — свобода!

Собственно, Леонид Федорович не раз приходил к мысли, что если раньше понятие жизни в целом складывалось из множества самых разнообразных компонентов — путешествий, свободных дискуссий, коммерческих предприятий, игрой на бирже и проч., проч., то теперь оно предельно сузилось и он жил, в сущности, только когда читал. Другой жизни не осталось, ее отняли, уничтожили, сдавили клещами, но зато эта была. И была подлинной, настоящей. Сюда никто не мог вторгнуться, никакой соглядатай, хотя сотрудники, выдававшие книги, конечно, следили, примечали, кто какую берет, кто чем интересуется, и наверняка докладывали… К тому же множество книг стали недоступными: их убрали, спрятали в спецхран! Что ж, пускай, все равно им не отнять у него той потаенной свободы, которая

возможна только здесь, в Библиотеке!

Когда из приоткрытой фрамуги засквозило, повеяло вечерней прохладой и за окном стала сгущаться сумеречная синева, Леонид Федорович потянулся до хруста в суставах, на минуту закрыл ладонью уставшие от чтения глаза, с наслаждением сомкнул веки и сказал себе, что на сегодня хватит, пора наконец домой. Он решительно поднялся, сдал огромную гору (Вавилон!) книг, попросив, чтобы ему оставили их на следующий раз, а не отправляли в хранилище. И, получив нужную отметку в контрольном листке, спустился по широкой мраморной лестнице, предъявил листок дежурному милиционеру, оделся и вышел. У подъезда, под высокими сводами, немного постоял, озираясь, приглядываясь к вечерней толпе. Московский люд валил потоками, возвращался из учреждений, контор, с заводов — «Шарикоподшипника», «Трехгорного», «Динамо», «Фрезера», «Компрессора», ЗИС, какого там еще! Сколько же в Москве этих чудовищ! И на каждом долбят, куют, сверлят, фрезеруют, вальцуют — кипит бессмысленная работа! И никакой жизни, никакой — даже тайной — свободы! Но в таком случае прав Серпуховской, прав во всем и надо с ним согласиться… Или все же?.. Все же тай- ная-то есть?..

Эти мысли вызвали едкую, язвительную и в то же время горькую, печальную, задумчивую улыбку. И тут у Леонида Федоровича возникло, в него закралось странное чувство, что рядом сейчас тоже кто-то стоит и смотрит. Смотрит и, может быть, думает то же самое. И так же улыбается. Соглядатай!

Леонид Федорович насторожился, застыл на месте, весь подобрался, а затем резко обернулся. Обернулся и увидел Алексея Юрьевича Серпуховского, в наглаженном летнем костюме, сухощавого, элегантного, в бухарской тюбетейке на бритой голове: он как раз в этот момент тоже пристально посмотрел на него. Они сдержанно, суховато, немного даже неприязненно раскланялись: случайная встреча казалась не слишком желанной. Но деваться было некуда — с натянутой вежливостью поздоровались. Пожали руки, сначала несколько вяло, некрепко, затем покрепче. Заговорили. Заговорили о чем-то незначительном, постороннем (не спрашивать же, зачем они здесь стоят и кого ждут!), но внезапно во взглядах обозначилась некая цепкость, колючий, даже хищный прищур: взгляды скрестились так, что не разведешь. И оба почувствовали, что им надо друг другу высказать, непременно высказать то, что копилось (роилось, клубилось) в душе с той встречи, с того «синего» вечера.

Тут они разом замолчали, обрывая прежний разговор на полуслове, чтобы начать уже совсем иной, новый. Первым начал

Серпуховской. Начал, потупившись и что-то высматривая у себя под ногами (была бы трость — ткнул бы тростью), ведь он тогда, знаете ли, ушел, не попрощавшись со всеми, и, наверное, были всякие пересуды, догадки, предположения, кто- нибудь, может, и упрекнул или даже обвинил, ведь такие всегда найдутся… Да нет, собственно, никто не упрекал, никаких разговоров, просто вызвало недоумение, осталось немного непонятным… Непонятным? Так он готов объяснить, пожалуйста: ему прос то стало противно, уж вы извините за резкость, не смог, знаете ли, вынести, бывает… Чего именно?.. Да этого слюнтяйства, пустопорожней болтовни всякой, да — с! Лицо Алексея Юрьевича исказило, передернуло: нервическая гримаса… Что же вам показалось болтовней? Леонид Федорович, напротив, был спокоен, даже как-то тих, просветлен и по — особому задумчив… А все, все, все, чему вы с таким упоением предавались! Все, что вынашивается в мечтах, высиживается в библиотеках… м — да… и не ведет к действию, к борьбе. Глаза Алексея Юрьевича расширились, полыхнули решимостью и снова сузились. Взгляд стал острым как бритва… Смотря как понимать борьбу… А не надо понимать, надо бороться. Бороться с единой целью — свергнуть, свергнуть… Теперь Алексей Юрьевич безучастно смотрел куда-то вдаль, в вечернее небо.

Значит, диверсии и теракты, но ведь это и есть стихия красного, а его уже вон сколько! Красному же должно противостоять синее, если мы хотим его победить… Снова вы с вашими теориями! Нет, нам не договориться… Почему же? Попробуем… Хорошо, какой же путь предлагаете вы? Устраивать подобные посиделки? Возлагать руки на рисунки будущих храмов?.. Не только. Путь принятия судьбы страны как мученичества. Ведь мы с вами здесь! Здесь и сейчас, в это страшное время! Вместе с Россией! И при этом мы остаемся самими собой как личности, как граждане, как русские и тем самым противостоим. Противостояние — вот что самое важное!..

Простое присутствие, даже противостояние меня не удовлетворяет и бессловесное мученичество тоже. Повторяю, я хочу действовать. Алексей Юрьевич нетерпеливо посмотрел на часы (была бы шашка, выхватил бы из ножен)… Но ведь за вашими действиями кровь и слезы, а слезинка ребенка, как вы помните…

Оставьте литературу! Оставьте литературу! Она нас и погубила… Нет уж, без литературы у нас в России никак не получается. Уж извините, не оставлю… А, все равно. Стало быть, на вашу организацию не рассчитывать, когда позовет труба?.. Боюсь, что так. Увы, террористов из нас не получится…

Прощайте. Надеюсь, хвоста за нами нет… Прощайте. Храни вас Бог…

С этими словами они вновь пожали друг другу руки, пожали крепко, по — мужски, и что-то промелькнуло в глазах у обоих… Что-то дружеское, теплое, сердечное, прощальное, сближавшее их гораздо больше, чем все сказанное до этого. Алексей Юрьевич исчез в сгущавшейся темноте вечерней Москвы, Леонид Федорович же отправился пешком к себе на Якиманку. А оттуда на него уже смотрела сама Судьба… Судьба, странным, мистическим образом сблизившая его пути с путями его создателя, автора романа «Странники ночи» Даниила Андреева.

Поэтому мог ли и я не оторваться от письменного стола и не побывать на Якиманке! Конечно, я и раньше много раз бывал, но одно дело смотреть своими глазами, спеша по собственным надобностям и нуждам, а другое — глазами автора романа и его героев. Этим-то глазам наверняка откроется что-то особое, потаенное, не различимое обычным взглядом.

Глава тридцать первая
ПО ЯКИМАНКЕ: ОТ КОНЦА — К НАЧАЛУ

Было все как в романе: чудесный летний день начался с пасмурного, мглистого, пепельно — серого, но теплого утра и моросящего дождя, оставлявше го под водосточными трубами взбитые хлопья пены. Было ясно, что дождь ненадолго, и вскоре он и вправду отшумел, отстучал по крышам, отпузырился в лужах и затих. Небо очистилось, меж легкими облаками проступила густая, пронзительная, словно омытая синева, солнце засияло, заиграло радужным блеском, переливчатое, слепящее, и стало припекать. Воздух прогрелся, хотя еще был влажен и поэтому отдавал духотой, словно за стеклами оранжереи. К полудню совсем прояснилось, небо стало и выше и шире, солнце то пряталось за легкими облаками, то появлялось вновь и в тени веяло прохладой.

Я доехал до Крымского Вала, а это — самый конец Якиманки. Тут на площади еще стоит Ильич и глыбится, топорщится угловатая революционная сила, им поведенная в битвы (дальше рифма: бритвы, хорошая рифма!). Оглядев этот каменный миф социализма, окруженный суровой буржуазной действительностью, нововозведенными гигантами, бетонными истуканами банков и корпораций, я пошел по правой (для меня левой) стороне Якиманки. Вернее, по улице, которая так называлась, поскольку название-то было (да и то возвращенное после того, как много лет носила она, словно чужеземное иго,

имя болгарина Димитрова), а вот самой Якиманки не было: извела ее угловатая революционная сила, а затем и буржуазная действительность. Кончилась она во всех смыслах, и прямом (последние номера домов) и переносном, утратила свой лик, обезличилась.

Но вот вдали все-таки мелькнуло, забрезжило нечто, вселяющее надежду, и прямо перед собой в легкой облачной дымке я увидел Кремль, золоченые купола соборов, белую колокольню Ивана Великого. С такой же отрадой справа я различил теремные очертания дома купца Игумнова, построенного в древне русском стиле, с изразцами, арочными сводами — не дом, а затейливая игрушка! Правда, рядом с ним нет уже двухэтажного особняка, где некогда жил Антон Павлович Чехов, нравственно столь близкий автору романа, да и его персонажам: его номер 45 отошел французскому посольству. Зато слева-то, слева… за кованой оградой на белых столбах высилось чудное, стройное, бело — красное, нарышкинского барокко здание храма Ивана Воина — того, самого, где собирались венчаться и приносить обеты целомудрия Олег Горбов и Ирина Глинская.

Здесь, в этом храме, — конечно, я устремился туда. Войдя в ворота, постоял, огляделся: двор был ухожен, с цветниками, расчищенными дорожками, выкрашенными лавочками: чувствовалась заботливая рука, хозяйское око, рачительный иосифлянский дух. В глубине двора к тому же что-то строилось, возводилось: то ли хозяйственные службы, то ли обитель администрации, то ли домик священника. И кирпичи новенькие, ладненькие, один к одному: значит, и средства стяжал себе храм вопреки всем зарокам Нила Сорс- кого: иосифляне мы, иосифляне…

К счастью, храм был открыт, и я, перекрестившись как положено, с благоговением вступил под его своды. Меня поразило великолепие церковного убранства, иконы в резных золоченых окладах, подсвечники, паникадило, крепленное цепью к высокому, расписанному куполу, льющийся в окна свет.

В этом храме с детства бывали и Леонид Федорович, и Ирина Глинские, ведь жили-то они совсем рядом, через несколько домов. И я мог представить, как по праздникам их наряжали, причесывали, наставляли, вразумляли (в храме не шалить, быть паинькой, вести себя хорошо!). Ирине повязывали платок, и она, притихшая, испуганная, ошарашенная, изумлен — ная, вступала под те же своды. И вот уже батюшка в полном церковном облачении (стихарь, епитрахиль, фелонь) зычным голосом возглашает: «Благословенно Царство…» А затем начинается

Великая ектенья, прошения о свышнем мире и спасении душ наших, вступает хор, поющий антифоны, читают Апостола и Евангелие…

Я купил три свечи у доброй, бестолковой и запо- лошной старушки (все что-то объясняла и никак не могла объяснить по телефону). И, когда ставил их перед иконой Богоматери, невольно вздрогнул: показалось, что детская ручка Ирины (синие жилки, просвечивающие сквозь кожу) тянется со свечой и сама она приподнимается на цыпочки, чтобы достать до подсвечника, а рядом, склонив голову, сосредоточенно молится смуглолицый брат, будущий индолог Леонид Глинский.

И мне представились годы, прожитые ими здесь, на Якиманке. Да, Якиманке, которая тогда еще была. Была уютная, с домиками в два — три этажа, церквами, монастырским подворьем, богадельней, гимназией, мануфактурой и Кремлем — там, за Каменным мостом. А с Каменного моста — удивительный, необыкновенный (дух захватывает!) вид на Москву: стоишь и смотришь с затаенным дыханием, как завороженный на небывалую красоту, словно сведенную с небес, чтобы запечатлеться в облике кремлевских стен, башен, соборов, отраженных в реке, и неоглядных далей…

Вот и они часто стояли и смотрели, брат и сестра, — как завороженные, затаив дыхание…

Поселил же их автор в доме с мезонином под номером 38, которого теперь уже нет (устыдившись многоэтажной Америки, снесли перед приездом президента Никсона, как и многие другие домики). Но

_ 9ГП — старожилы Маросейки показали мне, где он находился, этот дом, описанный в романе как дом Глинских (его отдали после войны под Литературный музей). Да и Борис Чуков мне о нем рассказывал: каменный низ, деревянный верх, лестница с крутыми поворотами, паркетные полы внизу и деревянные наверху, в светелках. Вот здесь Леонид Федорович тосковал о южных морях в окружении своих многоруких богинь, а за окнами видел все те же крыши с печными трубами, маковки и колокольни своей Якиманки.

Комната Ирины была обставлена не так, как у брата, но с той же интеллигентской простотой, даже ас- кетичностью: на книжных полках томики Пушкина, Тютчева, Блока, множество словарей (она переводила для издательства), маленький стол с бронзовой лампой, старенькая пишущая машинка, кофейная турка, пепельница, овальное зеркало и цветы в вазе. Цветы она очень любила, и Олег, с тех пор как он стал бывать у Глинских, дарил ей розы и хризантемы…

И вновь я, странствующий энтузиаст, блаженный сопространственник, был там, куда переносился в мыслях Даниил Андреев, воссоздавая события «синего» вечера, возложения рук на проект будущего храма и историю знакомства Олега и Ирины. Здесь, в мезонине дома, звучали приглушенные голоса взлохмаченного Бори Моргенштерна, Василия Михеевича Бутягина, Алексея Юрьевича Серпуховского. Здесь после того вечера Ирина, стоя в дверях, прощалась с Олегом, возвращавшимся вместе с братом Сашей к себе в Чистый переулок. А до этого именно сюда Олег провожал Ирину после премьеры Пятой симфонии Шостаковича в Большом зале консерватории — события, сыгравшего почти роковую роль в их жизни, оставившего неизгладимый след.

Дирижировал Мравинский, и они сидели рядом на галерке, притиснутые друг к другу нависавшей, сгрудившейся над ними толпой. Сидели, с замирающим сердцем вслушиваясь в хоральные раскаты вступления, глядя на высокую, рыцарственную фигуру дирижера в черном фраке, послушный его воле оркестр, отсветы ламп и софитов на лаковых деках виолончелей, сияние медных труб, ряды кресел, портреты великих в овальных рамах. А затем, потрясенные, аплодировали автору, выходившему на сцену, худому, словно изможденному, в очках, с белорусской прядью на лбу, и всю дорогу говорили, говорили об этой музыке. Хотя музыка в словах невыразима, им казалось, что они понимают и могут сказать, о чем она, проникают в самую суть, и это понимание сближало их, страшило и отталкивало, как сближает, страшит и отталкивает любовь.

В симфонии есть тайнопись, своеобразная криптограмма — скрытая цитата из «Кармен», тема любви. И они раскрыли цитату. Да, в тот вечер под магическим воздействием музыки зародилась в сердцах их будущая любовь или то, что мнилось им любовью. Зародилась потому, что в этой музыке прочитывалась и их судьба, и судьба поколения, застигнутого тьмой века, испытавшего ужас отчаяния, но не сломленного, нашедшего в себе силы, чтобы сопротивляться, противостоять и бороться…

И вот, вернувшись с Якиманки, я закрываюсь в комнате, сажусь в кресло и ставлю запись Пятой симфонии Шостаковича: дирижирует Мравинский. И мне кажется, будто я присутствую на той давней премьере в Большом зале консерватории, что я один из толпы, что я стою на галерке, и передо мной — Олег и Ирина, и я слушаю эту музыку так, как могли слушать они.

Да, та же музыка, тот же дирижер, и я — слушаю. Я — сейчас, как они — тогда. И для меня это — еще одна страница романа, утраченного, уничтоженного и неуничтожимого, потому что он —

здесь, в этой музыке, вобравшей в себя все то, чем жили люди тридцать пятого, тридцать шестого, тридцать седьмого. Теперь это так ясно: ведь музыка Пятой симфонии родилась из воздуха тех тридцатых, ее звуки неким таинственным образом соотносимы с ними.

Я говорю, таинственным, потому что до конца непостижимо, как это происходит, как время — неуловимое, зыбкое, прозрачное и призрачное время — проникает на страницы партитуры. Ну, ладно бы — на страницы книги, повести, романа, где оно описывается, воссоздается в деталях быта, костюмах (блузки с воротником на шнуровке и спортивные тапочки, беленные зубным порошком), прическах, репликах персонажей, но — партитуры, партитуры! Тем не менее оно проникает, и страшный тридцать седьмой слышится во всем, в каждом звуке, в каждой теме — от темы гарцующей нечисти в первой части симфонии до маршевого финала. Казалось бы, праздничные, парадные марши (так их вначале и воспринимали), но затем понимаешь, что под такие марши только выводить из бараков заключенных на массовые расстрелы…

Но в музыке явлено и то, что происходило на площади, и то, что — в душе. В том числе в душе Ирины и Олега. Явлено, запечатлено в звуках, их сочетаниях и конфигурациях: вот они, эти значки на страницах партитуры. Собственно, музыка есть музыка — организованная по определенным законам звуковая субстанция. И композитор вовсе не занят тем, чтобы звуками выражать чувства, — он стремится следовать этим чисто музыкальным законам, логике развития своего материала. Но при этом неким таинственным образом… да, я вновь говорю, таинственным, поскольку до конца невозможно постигнуть, как музыке дано выражать наши самые интимные, сокровенные, затаенные, не распознанные нами самими… чувства, чувства. Сколько их вместило в себя это грандиозное музыкальное полотно — Пятая симфония Шостаковича, вместило самых разных — скорбных, мучительных, отчаянных, трагичных, светлых и радостных.

Таким образом, Пятая симфония Шостаковича вместе с «Поверженным демоном» Врубеля — это две внетекстовые страницы «Странников ночи», две их проекции в мир красок и звуков. Они сохраняют, несут в себе дыхание романа, в них слышны шорохи, вздохи, стоны, голоса, мольбы его персонажей. Поэтому мой тебе совет, читатель: прочти внимательно эти внетекстовые страницы, поставь запись симфонии, всмотрись в картину Врубеля под теремными сводами Третьяковской галереи, и еще один фрагмент сгоревшего романа восстанет для тебя из

горстки пепла.

С Якиманкой же мы не прощаемся: нам еще предстоит в воображении побывать там не раз. По этой улице повезут Леонида Федоровича, арестованного в тридцать седьмом, и по ней же через десять лет повезут Даниила Леонидовича: это тоже внетекстовая страница, написанная самой жизнью…

Глава тридцать вторая
НОЧЬ ПЕРЕД ВЕНЧАНИЕМ
ПУНЦОВАЯ ЛАМПА

Приближались венчание и свадьба: скоро это должно было произойти. Ирина готовилась к ней спокойно, здраво, рассудительно и деловито, заботясь лишь о том, чтобы в том случае, если это все же произойдет, свершится, самое необходимое — по скромному минимуму, — у них было. А сверх минимума — уж извините, — к чему эта купеческая, водевильная (как выразился бы Чехов, некогда живший здесь, на Якиманке, напротив и наискосок от их дома) роскошь. Да и к тому же не так будет обидно, если ничего не произойдет. А ведь может, может не произойти при том, в каких настроениях пребывает Олег. Настроениях мятущихся и непредсказуемых — его готовность может обернуться срывом. Да, знаете, как срывают со стола скатерть после того, как долго накрывали, сервировали, украшали, раскладывали ножи и вилки, ставили цветы в вазах. А тут рывок, и все вдребезги!

Ирина это понимала и не старалась предотвратить: оставалась холодна, безучастна и безвольна. Собственно, и она могла бы метаться и сомневаться: причины для этого были, и ой — ёй — ёй какие. Но Ирина не брала на себя эту роль, не посягала на нее, раз уж она принадлежала Олегу. Ирина терпеливо, с обреченностью ждала: сбудется или не сбудется, чет или нечет? И, готовясь к свадьбе, так же внутренне готова была принять извинения и отказ. Принять и отпустить, ни в чем не обвиняя, ведь всему виной… хм… Шостакович.

Хотя, с другой стороны, она бы не просто отпустила, а и сама, не дожидаясь, спровадила. Да, нашла бы повод, придралась бы к чему-то, устроила скандал и спровадила, выставила, прогнала. Единственное, что удерживало ее от этого шага, — тайное нежелание, чтобы он уходил к той, к которой она не ревновала, нет, но испытывала стойкую неприязнь. Даже к самому имени, ненавистному до дрожи, — Имар. Имар Мустамбекова. О боже, только сдавить ладонями виски и не слышать! Не хотела не то чтобы о ней знать — даже догадываться, а уж тем более

исподволь выспрашивать, выведывать, прислушиваться к копошащимся в душе подозрениям. Самолюбива и горда? Да, самолюбива, очень самолюбива, а это не есть ли признак того, что не любит?

Последнюю ночь перед венчанием Ирина не спала. Было тихо, как никогда, в окно светил уличный фонарь и мерцала луна. Ирина вновь задавала себе вопросы, уже столько раз заданные, что они перестали быть осмысленными вопросами и превратились в странные, невразумительные, полунемые сгустки сознания. А надо ли?.. А любит ли?.. А зачем?.. Когда они гуляли по Замоскворечью, стояли на Каменном мосту, Олег читал ей свои стихи или сжимал, отогревая дыханием, ее руки, эти вопросы, эти сгустки сознания исчезали. Но когда они расставались, все начиналось сызнова, и вот наконец эта последняя ночь, и она не знает, не знает, не знает, что ей завтра делать. Помоги хоть ты, Шостакович! Помоги, Иван Воин!

В эту ночь не спал и Олег. Он сидел за столом, уронив голову на руки, уткнувшись лбом в скрещенные запястья, выпрямлялся, откидывался на стуле, то выключая, то вновь зажигая лампу. Затем вставал, расхаживал по комнате, останавливался у окна, глядя на Чистый переулок, погруженный во тьму, с лилово освещенными луной и мигающим фонарем крышами. Олег с недоверием, страхом и тревогой думал о том, что завтра в храме Ивана Воина они с Ириной обме няются кольцами и, держа над ними венцы, их объявят мужем и женой. «Венчается раба Божия Ирина рабу Божию Олегу…»

Он выбрал этот храм не случайно: святой Иван — Иоанн — прославился тем, что во времена Юлиана- отступника, посланный вместе с отрядом преследовать, мучить и казнить христиан, тайно им помогал, устраивал побеги из темницы, спасал им жизни. А разве сейчас не железный век Юлиана, не времена отступничества и богоборчества, пылающих языков пламени, пожирающих лики древних икон, и взорванных динамитом, разрушенных, отданных на поругание храмов?! Поэтому Иоанн Воин — покровитель тех, кто, как Олег, продолжает верить, не снимает с себя креста, не простирается с раболепством ниц перед новыми идолами.

Однако не только этим обусловлен выбор Олега: у него со святым Иоанном особая связь потому, что Иоанн укрепляет силы тех, кто ищет святой жизни, обуздывая свои страсти, дает обет чистоты и целомудрия. Олег же готовит себя именно к такому обету, который сделает его достойным высшей цели — изучению литургии, главного христианского таинства во всем неисчерпаемом богатстве его символики, и сочинению богослужебных текстов. Литургическая идея овладевает всеми его

помыслами, становится смыслом его жизни, поэтому он ищет заступничества святого Иоанна в молитве, горячим шепотом повторяя его имя. Но ему кажется, что святой его не слышит, отворачивается, не одобряет самочинный замысел целомудрия в браке, считает Олега грешным, слабым, не готовым.

Поэтому как же быть завтра? Венчаться с Ириной, отказавшись от обета? А как же литургическая идея, которой он хотел посвятить свою жизнь, а узкий путь очищения и аскезы, который он себе назначил? Но в том-то и дело, что он хотел и он сам назначил вместо того, чтобы со смирением ждать. Ждать, что Бог его позовет, даст ему тайный знак свыше, возвестит о его призвании. Он же, по существу, самозванец.

Да, самозванство — вот русская болезнь, извечная русская пагуба. Оно бывает самым разным, у него множество обличий, но суть одна — подменить собой другого, истинного, настоящего и убедить себя, что он — ты. И самозванство Олега от того же корня. Он своевольно, без духовника, без церкви встал на тот путь, который и в монашестве одолеть трудно, столько на нем искушений, препятствий и дьявольских козней. Так не есть ли все это интеллигентская затея, выдумка, причуда поэта, возомнившего себя монахом? Если да, то она может обернуться только крахом и для него, и для Ирины.

Собственно, уже обернулась, ведь он потому-то и уронил голову, уткнувшись лбом в запястья, что его мучит стыд: при всей любви к Ирине, которая кажется ему неземным совершенством, ангелом, воплощением всех мыслимых достоинств и добродетелей, он не может побороть жгучего влечения, обыкновенной земной страсти к Имар. Ее иссиня черные косы, ее узкие татарские глаза, ложбинка спины так чаруют и манят, ее грудной, зазывный, русалочий смех слышится отовсюду. И какие уж там обеты — ему так хочется сжать ее в объятьях, задушить поцелуями…

Он знает, что в окне Имар горит пунцовая лампа — это знак. Желанный и ненавистный знак, что она его ждет, что он может тихо прийти, постучать и Имар откроет, впустит, оставит на ночь, на день, на неделю, навсегда. Завтрашнее венчание? Да, она о чем-то догадывается, но не придает особого значения и уж тем более не впадает в бабью истерику, не упрекает и не ревнует. Он — свободен, а она — мудра и спокойна. Она многое может понять, со многим согласиться, но вот обетов… гм… подобных обетов Имар не признает (да простится ей такая слабость!) и лампы все равно не погасит.

В эту ночь не спит также и Саша Горбов, слыша шаги в комнате брата, вплотную приближаясь к двери, но не решаясь

войти. Он знает, как трудно сейчас Олегу, какие его одолевают страшные сомнения, грозящие сломать всю его жизнь, и при этом осознает, что бессилен ему помочь. Он уже видит, что Олег и Ирина не созданы друг для друга и из их свадьбы ничего не выйдет. Но разве скажешь об этом брату? Никогда Олег не был от него так далек, как сейчас, особенно после того вечера на Якиманке. Там Олег всячески стремился подчеркнуть свою сопричастность, близость этому кругу людей, приглашенных Леонидом Федоровичем, а Саша, растерянный, смотрел на них и не понимал, то ли это чудаки, то ли слепцы, то ли безумцы, и уж никак не заговорщики — все, кроме, пожалуй, Алексея Юрьевича.

И Олег долго не мог простить ему этой растерянности, этого вызывающего в своей наивности непонимания, отводил взгляд, избегал разговоров и явно жалел, что взял его с собой. Да и вообще, зачем он здесь?! Можно подумать, его так звали! Сидел бы в своем Трубчевске, обмахивал кисточкой найденные черепки, археолог! Зачем он вечно обозначает свое присутствие, проявляет участие, вмешивается в разговоры?! Зачем сидит на этих стульях, креслах, диванах, берет в руки чашку, размешивает ложкой чай, достает сахар из сахарницы?! И зачем сами эти стулья, кресла, диваны, овальный стол с посудой?! Так хочется (поддразнивает веселенькое желание) взять что-нибудь и разбить! Разбить вдребезги, чтобы его родной, такой похожий на него (сероглазый и русоволосый) братец хоть что-нибудь наконец понял! Уразумел! Удостоил своим разумением!

Подобные настроения часто угадывал Саша в Олеге, вечно взвинченном, готовом съязвить, вспылить, поскандалить. Словом, отдалились они друг от друга окончательно, стали почти чужими. Разделила их, развела по разные стороны, дуэльной чертой пролегла меж ними Якиманка…

Даже Адриан ему кажется ближе, во всяком случае внешне он спокоен и его жизнь не такая запутанная, все в ней яснее и проще. Каждый день он уезжает в свою обсерваторию и возвращается поздно вечером, чтобы обронить несколько скупых слов за ужином, подавить зевок и отправиться спать. Адриан тоже видит (особой проницательности тут не надо), что свадьба брата не состоится, но как-то загадочно безучастен к этому. А может быть, даже втайне удовлетворен? Похоже, что он один сумел заснуть в эту ночь: в его комнате ни шороха, ни звука. Но тишина — настороженная.

Вот мать за стенкой что-то достает из буфета, наверное лекарство, сейчас будет отсчитывать капли, стуча пузырьком по краю чашки. Вот что-то упало на пол: отец, пытаясь ей помочь, задел локтем и уронил. Вот пробили старинные часы. И снова

скрип половиц, хождение по кругу в комнате Олега. Долго он будет так ходить? Примет наконец какое-то решение? Нет, так невозможно, что-то должно, должно сегодня случиться!

В это время по квартире воздушной волной проходит какое-то сквозное движение, от которого замирают все, и в прихожей, с силой распахнутая настежь, хлопает дверь.

Саша, потупившись от пронзившей его догадки, идет к матери, чтобы сказать:

— Мама, Олег ушел.

Этой ночью Олег ушел к Имар — туда, где горит пунцовая лампа.

Глава тридцать третья
ПАРЧОВЫЕ ТУФЕЛЬКИ

Да, на Имар были парчовые туфельки без задников, и ступала она мелкими шажками, чтобы они не спадали. Так бывает: женщина, сунув ноги в туфли, слегка семенит — такие мелкие шажочки, иначе спадут, не удержатся на ногах туфельки. В этой детали, удивительно тонко подмеченной, вся Имар. Гибкая, крадущаяся, как кошка, и ускользающая. Обольстительная. Влекущая. Гибельная. И вот Олег добровольно вернулся туда, где раскинуты ее незримые сети. Покорился, сдался. И она, осознав, что соперница побеждена, усмехнулась — добродушно и покровительственно. И, прошуршав к туалетному столику, неторопливым движением отколола свои косы, заложенные вокруг головы.

Эта сцена в романе описывается так:

«Он угадал: очевидно, она действительно уже легла, потому что, отворяя ему дверь квартиры на осторожный звонок его, оказалась в памятном для него бухарском халатике, фиолетовом, с желтыми разводами. И когда, улыбнувшись ему исподлобья, она протянула ему руку гибким движением, он эту руку, как и всегда, поцеловал.

Угадал он и остальное: комната была уже приготовлена на ночь, лампа под пунцовым абажуром придвинута к изголовью, чистая постель постлана и уже слегка смята, а поверх одеяла брошены две книги: одна — с захлопнутым переплетом — том Маяковского, другая — раскрытая: очередная литературная новинка, «Лже — Нерон» Фейхтвангера.

— Хочешь поужинать?

Нет, он не хотел. Он вообще не хотел никакой суеты, ничего хлопотливого. Как он был доволен, что застал ее вот так: без посторонних, без оформительского хаоса в комнате, без

разговоров об общих знакомых, о сельскохозяйственной выставке, о театре.

А она остановилась посреди комнаты, глядя на него исподлобья узкими татарскими глазами. Горячий полумрак сглаживал единым тоном ее смуглую кожу, яркие губы, косы, заложенные вокруг головы, и янтарное ожерелье.

Вглядевшись в него и что-то как бы поняв, она усмехнулась еще раз — и добродушно и покровительственно вместе, — и прошуршала в глубину комнаты, к туалетному столику. Ступала она мелкими шажками, чтобы не спадали туфельки — изящные, парчовые, без каблуков и без задников.

Он опустился на диван и, в позе отдыха, закурил толстую папиросу.

А она отразилась en fase, в профиль и еще раз en fase, осененная огромным букетом мимоз перед трельяжем, и неторопливым движением отколола свои косы, не очень длинные, но цветом напоминавшие черную реку с лунными отблесками».

Понятно, почему Маяковский: признан лучшим и талантливейшим, вот и печатают его томами собраний сочинений. Также понятно, почему среди литературных новинок тридцать седьмого — Фейхтвангер: одобрительно отозвался о вожде. И как он чувствуется, этот тридцать седьмой, во всем: в разговорах об общих знакомых (кого еще недавно взяли? В полго лоса, с оглядкой по сторонам назвать и сразу — тссс, молчок), о сельскохозяйственной выставке (!). И конечно, о театре (об этом можно смело!), о Тарасовой, о «Днях Турбиных», «Иване Сусанине», Лемешеве и Козловском!

И как же без трельяжа — трельяж тогда был в каждом доме! И дамы, припудриваясь, отражались в трех зеркальных створках en fase, в профиль и еще раз en fase.

Да, автор «Странников ночи» имел право сказать о себе, что, как прозаик, он достает до плеча своего отца (воспоминания Алексея Смирнова). Мастерски выписанная сцена! И сколько было таких сцен в романе, потерянном для русской литературы двадцатого века! А ведь мог бы встать рядом с Булгаковым, Пильняком, Пастернаком, если б не сожгли…

Итак, Олег остается с Имар — она может торжествовать, и тайно и явно. Побеждена соперница, эта гордячка Ирина Глинская, и Олег в ее власти. Теперь надо только, чтобы он пореже задумывался, вспоминал о прошлом, уносился в мыслях туда, на Якиманку. Надо постоянно быть у него перед глазами, в разных позах, с задумчиво (ей-то как раз позволено задумываться) склоненной головой, с рукой, подпирающей подбородок, сидя с гребенкой у зеркала. Или встать, забросить руки за голову,

потянуться с кошачьей ленцой и грацией: пусть смотрит, пусть любуется. И надо, надо ему угождать, но так, чтобы он сам себя чувствовать покровителем и угодником Имар, исполнителем ее капризов и прихотей. И не вспоминал, не вспоминал о той…

С Ириной Олег, конечно, встретился, объяснился — сбивчиво, пряча глаза, натянуто улыбаясь, бормоча какие-то извинения. Она выслушала спокойно — даже сама удивилась своему спокойствию. Такое, знаете ли, спокойное — спокойное, — откуда оно взялось? Ведь до этого, когда поняла, с беспощадной ясностью осознала, что он не придет, разорвал, бросил, почувствовала себя уязвленной, обиженной, оскорбленной. А теперь оба сошлись на том, что, наверное, так лучше. Замечательное утешение! Замечательная фраза! И как мудро это звучит: наверное! Значит, до конца они не уверены. В душе остается место для сомнений… Это щадит самолюбие и позволяет сохранить благодарность друг другу за все хорошее. Благодарность за все хорошее! О, изумительно!

Они простились навсегда, и в этом тоже была фраза. Фразы, фразы или, как там у Гамлета, слова, слова, слова. Олег не может без слов, ведь он поэт. Как-то последнее время она стала об этом забывать, а напрасно, ведь поэтам многое прощается. А вот брат у него астроном, старший брат Адриан Горбов… м — да… почему она об этом вдруг подумала? Зачем ей об этом думать?! Ей об этом думать ни к чему! Ни к чему совершенно!

Глава тридцать четвертая
САМОУБИЙСТВО

Они встречались, Имар постоянно была рядом, пе ред глазами Олега, чтобы он смотрел только на нее, думал только о ней. И она предупреждала любую попытку иной задумчивости, не позволяла ему отвести глаза, спрятаться, юркнуть в норку, вставала перед ней, этой норкой, лукаво расставив руки: а вот мы вас и не пустим, вход закрыт! Если ему все же удавалось бочком втиснуться и Имар замечала, что он думает не о том, то она его тормошила, не давала ни на минуту сосредоточиться, засмеивала, старалась чем-то увлечь или, на худой конец, увезти.

Да, если ничего не помогает, надо увозить. Так она стала звать его в Грузию, глядя на него исподлобья своими узкими татарскими глазами и с вкрадчивой настойчивостью повторяя:

— Ты ведь не видал весны в Грузии.

О, весна в Грузии, ты только представь, как это великолепно! После мглистых, пасмурных, затяжных дождей и мокрого снега, холода и промозглой сырости (брр!) начинает волшебно

проясняться. Воздух прогревается, становится суше, звонче, прозрачней, небо — сплошная синева, бирюза, увитая легкой дымкой облаков, до головокружения бескрайняя и бездонная. Солнце нежно припекает, к полудню становится жарко, хотя старухи не снимают своих пальто, кофт и кацавеек.

В горах чернеет, оседает, тает скопившийся за зиму снег, и по склонам бегут… что, что? Скажи же! Ну, ручьи! Конечно, ручьи, веселые, воркующие и звенящие, а не такие мрачные и угрюмые, как ты! Это потому, что ты не был в Грузии, дорогой! Там ты станешь совсем другим! Мы снимем домик с верандой, увитой виноградом, будем бродить босиком, как твой брат Саша, покупать на рынке зелень, овечий сыр и горячий лаваш, по — дикарски разрывая его зубами, пьянствовать, пить грузинские вина! Грузия весной — это рай! Ты ведь не видал, не видал весны в Грузии!

Слушая ее, Олег, казалось, и сам оттаивал, смягчался, угрюмость с него спадала. Он снисходительно улыбался, отчасти разделяя ее восторги, и она ждала, что он наконец согласится, скажет: вот, мол, собираем вещи и едем. Сейчас же, не откладывая! На вокзал! Но вместо этого он произнес фразу, которой прида вал какое-то свое, ускользающее от нее, невнятное значение, Имар же она только разочаровала и даже обидела:

— Я многого не успел повидать, Имар.

Она ему о весне в Грузии, о домике с верандой, о припекающем солнце, о бездонной синеве, а он — многого не успел повидать. Ну, так еще успеешь: вся жизнь впереди! Вместе, вдвоем — как он этого не понимает!

Но не понимала на самом деле она, не могла понять, не догадывалась, какие он вынашивает планы. Если б догадалась, вскрикнула бы и застыла с перекошенным от ужаса лицом, а затем потянулась бы дрожащей рукой, тронула бы его лицо, прикоснулась к щекам и ко лбу. Олег, ты решился на это? Но, повторяем, Имар не догадалась.

А Олег решился.

Решился не сразу, после долгих сомнений, метаний, душевной борьбы. Следы этой борьбы сохранились в стихотворении, написанном ночью, в мучительную минуту, когда Олег взывал к Господу, вымаливая у Него защиты и от падений, и от попыток ничего не видеть и не слышать, спрятаться за оградой жалкого уюта, благополучия, семейного счастья, и от дымящейся по оврагам мглы свершающихся войн и бедствий, и от последней пули, пущенной в лоб.

Без небесных хоров, без видений
Дни и ночи тесны, как в гробу…
Боже! Не от смерти — от падений
Защити бесправную судьбу.

Чтоб, истерзан суетой и смутой,
Без любви, без подвига, без сил,
Я стеной постыдного уюта
В день грозы себя не оградил;

Чтоб, дымясь по выжженным оврагам
И переступая чрез тела,
Мгла войны непоправимым мраком
Мечущийся ум не залила;

Научи — напевы те, что ночью
Создавать повелеваешь Ты, —
В щель, непредугаданную зодчим,
Для столетней прятать немоты.

Помоги — как чудного венчанья
Ждать бесцельной гибели своей,
Сохранив лишь медный крест молчанья —
Честь и долг поэта наших дней.

Если же пойму я, что довольно,
Что не будет Твоего гонца,
Отврати меня от добровольной
Пули из тяжелого свинца.

И все-таки, все взвесив, оценив в своей жизни, он вынес себе последний приговор. За что? За измену своему призванию, за разрыв с Ириной, за сознательное служение злу, на путь которого он встал, вернувшись к Имар, за то, что не любил — ни Ирину, ни Имар, ни самого себя. И не просто не любил — упивался этой нелюбовью, этой холодностью, торжествующим безразличием к той, кому дарил кощунственные ласки…

Сонь улиц обезлюдевших опять
туманна…
Как сладко нелюбимую обнять,
как странно.

Как сладостно шептать ей в снеговой
вселенной
Признаний очарованных весь строй
священный,
Когда-то для возлюбленной моей.
Когда-то,
Так искренне сплетенный из лучей,
так свято…
Глаза эти, и косы, и черты,
и губы
Не святы, не заветны для мечты,
не любы, Но — любо, что умолкла над судьбой
осанна…
Кощунствовать любовью и тобой
так странно.

Закрывшись в комнате, Олег занялся необходимыми приготовлениями. Так, с чего начать? Прежде всего уничтожить письма, дневники, записки на случайных листках бумаги, чтобы никто потом не рылся, не сличал, не вычитывал из них то, что могло бы стать причиной, привести к этому шагу. Олег разорвал все на клочки и сжег в пепельнице, наслаждаясь трогательным зрелищем того, как его чувства и мысли, исповеди и признания последних лет улетучиваются дымком ввысь, становятся синеватой горсткой пепла.

А вот и тетрадь со стихами, заветная, труд долгих лет, плод бессонных ночей (подержал на ладони, попробовал на вес). Что, и ее тоже? Олег закрыл глаза и стиснул зубы, издав некое подобие стона. Нет, он не в силах. Ему легче уйти самому, только бы осталась тетрадь…

И она осталась (бережно положил на стол). Теперь приступить к главному. Спрятанный в столе, среди бумаг, револьвер, пуля из тяжелого свинца, вставленная в гнездо барабана, — это стихи, поэтические красоты, как говорится, а в жизни всё проще — обычная веревка. Хорошо хоть не бельевая, а то было бы совсем буднично и прозаично. Толстая, пеньковая: вот она, припасена. Он сделал петлю и просунул в нее голову, примерил, как обнову: годится. Теперь верев ку надо привязать к потолку, да покрепче, чтобы не оборвалась. А то получится водевиль. Водевильчик, знаете ли, этакий. Буффонада. Олег забрался на шаткий стул, выпрямился, стараясь сохранить равновесие. В потолке был крюк, на котором когда-то висела

люстра, затем лампа под абажуром, а затем… ничего не висело, все собирались купить и повесить (он обходился настольной лампой). И вот не надо ничего вешать, а надо по — ве — сить — ся. Возвратная частица! Она все возвратит на свои места.

Олег привязал к крюку веревку и подумал с трезвой основательностью, какая необходимая вещь эти крюки, архитекторам их надо вносить в проекты всех новых зданий, чтобы вешать на них лампы. Или вешаться. Или — или. Комната сверху показалась ему странно изменившейся, словно не его, чужой. Будто и не прожито в ней столько лет. Да, какая-то незнакомая комната, и он в ней — посторонний. Собственно, его уже и нет. Унесся ввысь синеватым дымком: фю- ить. Раньше он сидел за столом, что-то писал в свою заветную тетрадь, а теперь не сидит и не пишет. Задумчиво смотрел в окно, подбирал рифму к стихам, а затем снова писал и вот уже не смотрит. И никогда не посмотрит. И окна — нет.

От этой мысли Олег вздрогнул, и собственная смерть показалась ему каким-то странным и мучительным недоразумением, которое вдруг так легко разрешилось. Смерть? Да что вы, бог с вами, не надо никакой смерти. И веревки никакой не надо. Это недоразумение, ошибка. Кто-то из малодушия решил покончить с собой, а этого совсем не требуется. Просто надо сжечь тетрадь, которую он так не хотел сжигать. Не хотел, а надо сжечь. Вот в чем спасение. В ней его срывы, измены и кощунства — все худшее, что висло на нем тяжким грузом, опутывало, словно пау тина. Поэтому сжечь — и вырваться. Вырваться и начать все заново. И самому стать новым.

В тот день Олег уничтожил тетрадь со стихами. Сжег ее уже не с неким подобием стона — нет, Олег не смог сдержать слез, разрыдался, словно над родным дитем, любимым ребенком, приносимым в жертву. И спичка все соскальзывала, срывалась с коробка: рука дрожала…

Обо всем, что случилось, никому не сказал ни слова. С Имар расстался навсегда.

Глава тридцать пятая
ВЕНЕЧКА

И тут появляется четвертый из братьев, словно бы непризнанный, незаконный, изгнанный из круга, но не рожденный от уличной побирушки, как Смердяков (некая параллель с Карамазовыми прослеживается в романе), а — двоюродный. Да, двоюродный брат Горбовых Венечка Лестовский, — двоюродный и совершенно ничтожный, жалкий,

ютится в голой комнатенке с желтыми обоями, бранится с соседями на кухне, занимается какой-то скучной дребеденью. По натуре же — низкий, скверный и пакостный. Смердяков!

К тому же Венечка был ужасно некрасив, маленький, худенький, с острыми локтями и торчащими лопатками, но, что примечательно, во внешности его при этом угадывалось, распознавалось некое подобие красоты, какой-то даже жгучей: вот словно бы взяли красавца и сузили, сплющили, исказили, но нечто от него все равно осталось. И это оставшееся нечто — Венечка.

Да, такой он был, чем-то даже похожий на автора романа, самого Даниила Андреева, похожий наоборот, словно убийственная карикатура.

И этот-то отталкивающе, безобразно красивый Венечка страстно влюблен в Ирину Глинскую, до дрожи, до вожделения. Разумеется, она его даже не то чтобы отвергает (он этого недостоин) — брезгливо не замечает. А он — следит. Словно крадущаяся тень, Венечка неотступно преследует Ирину и следит за каждым ее шагом. Из-за угла дома, из-за деревьев бульвара, из-за темной, массивной, застекленной двери подъезда. Спрячется и вновь появится. Отпрянет и снова выглянет. Соглядатай! Один из множества: нас тьмы, и тьмы, и тьмы. Человек человеку теперь не друг, а — соглядатай.

Ради этого он даже уволился со своей жалкой и скучной работы, службы, службишки. Отныне эта слежка — его единственная отрада, упоение, восторг, экстаз. Он вбирает ноздрями флюиды, воздушные токи, вызванные движением ее легкой фигуры, развевающимся шарфом, распахнутыми полами плаща, жадно ловит запахи ее волос, надушенной подкладки перчаток, сладострастно обоняет, смакует каждый оттеночек.

И Венечке кажется, мнится, что, преследуя ее, он (о, восторг!) обладает ею…

И вот во время своей неусыпной слежки стал Венечка кое-что замечать… Замечать и догадываться: такой, знаете ли, вкрадчивый, знобкий холодок догадки… Какие-то странные встречи Ирины с людьми, не настолько ей близкими, чтобы уделять им такое внимание… Скажем, этот чудаковатый, взлохмаченный, очки на носу…Или этот русоволосый и сероглазый… Этот… Этот… Обрывки фраз, произнесенных вполголоса… значительные выражения лиц… Все это на водило на мысль, которая Венечку сначала испугала, ужаснула, он шарахнулся, остолбенел, а затем возликовал и восторжествовал, потирая влажные ручки.

Ор — га — ни-за — ция! Да, подпольная организация,

возглавляемая Леонидом Федоровичем Глинским. Можно назвать и рядовых членов, так сказать ближайшее окружение, пожалуйста: архитектор Борис Моргенш- терн, поэт Олег Горбов, его брат Саша, археолог, а главное, Адриан Горбов, с которым Ирина встречается особенно часто. Замечено, что она бывает у него в обсерватории, он провожает ее вечерами через Каменный мост на Якиманку, поднимается наверх в мезонин, и в комнате Ирины до полуночи горит окно, а на занавеске движутся две тени… Обсуждают! Планируют покушения и диверсии!

Вот она и попалась, вляпалась, голубушка! Сообщница! Теперь она полностью в его власти. И что может быть слаще власти над той, которая тебя откровенно презирает!

Уважительно, с достоинством, в самых изысканных выражениях Вениамин пригласил Ирину к себе. Просим оказать честь своим посещением. Конечно, она отказалась, возмутилась (что он себе позволяет!), дернула плечиком, но он сумел намекнуть и убедить. Мол, ему кое-что известно. Имеются кое — какие сведения, наблюдения, улики. М — да… Тут она сразу притихла, побледнела и согласилась. В назначенное время пожаловала к нему, позвонила четыре звонка — Венечка тотчас же и открыл, словно поджидал за дверью. Проводил ее сумрачным коридором коммунальной квартиры, разделенным на сектора (в каждом — своя лампочка), с сундуками, тазами и старым велосипедом, и — пожалуйте в комнату. Извините, что у нас так бедно, пусто, голо: не обзавелись обстановкой. Присаживайтесь. Может быть, чаю?

Не снимая плаща, Ирина села на единственный стул и даже не оглянулась по сторонам. На что вы там намекали? Какие улики? Значит, приготовилась к разговору, сейчас будет отрицать, опровергать, приводить неотразимые аргументы. Но и он тоже подготовился: рраз — и сразу весь списочек. Поименно. Леонид Федорович, Борис Моргенштерн, братья Горбовы. С указанием времени и места. Не отвертишься. Голос у нее сразу упал, ослабла, сникла. Чего вы хотите?

И тут Венечка то ли произнес, то ли немо прошептал, то ли не сумел выговорить и лишь мимикой изобразил слово: ультиматум. Ирина толком не разобрала, досадливо поморщилась (морщинки набежали на чистый лоб). Какой еще ультиматум? Венечку лихорадило, но он все-таки взял себя в руки: момент обязывал. Теперь он четко и раздельно произнес (именно произнес), что он ставит Ирине ультиматум: либо она (тут он прокашлялся, горло засаднило) проведет с ним ночь, либо список со всеми фамилиями будет передан на Лубянку. Венечка не сказал, что он передаст, а — будет передан. Так внушительнее.

Строже и офи- циальнее.

Ирина чувствует себя внутренне взбешенной: какой негодяй! Она полна презрения к этому ничтожеству, доносчику, сексоту, но вслух не высказывает его. Бегающие глазки Венечки только и ждут, подталкивают, провоцируют: выскажи, выскажи, как ты меня презираешь и ненавидишь, и моя власть над тобой только усилится, ты уже не вывернешься, не спасешься. Ирина молчит. Затем спокойно, сухо и твердо, откинув золотистые волосы, просит дать ей время подумать. Венечка — сама любезность, само великодушие — конечно же дарует ей отсрочку. Думайте, Ирина Федоровна, сколько вам понадобится, решай те, только не слишком морщиньте ваш лобик и будьте уверены: мы со своей стороны даем полную гарантию. У нас свои понятия о порядочности (мы хоть и воры, но честные), и мы вас заверяем, что до вашего решения не предпримем никаких действий. Не поддадимся искушению, так сказать…

Даже если рука захочет, мы себя за руку — цоп! Не шали!

По дороге домой Ирина перебирает в уме всех, кого назвал Венечка, и обнаруживает в этом перечне спасительный пропуск. Это кажется невероятным, похожим на чудо, но по каким-то неведомым причинам Венечка упустил Василия Михеевича Бутягина, историка и библиотекаря, одного из их группы. То ли недосмотрел, недоглядел, то ли она последнее время редко с ним встречалась, но это — шанс. Единственный шанс на спасение. Ирина звонит Бутягину в библиотеку и просит срочно приехать. Голос в трубке, спокойный, чуть приглушенный, не допускает возражений, и Василий Михеевич, отложив все дела, за- полошно спешит на Якиманку. Вот он, запыхавшийся, взмокший, уже в ее комнате. Уф, дайте отдышаться. Вытирает платком покатый лоб. Что случилось?

В подробностях ничего не объясняя (нет времени, дорога каждая минута), Ирина лишь сообщает, что их выследили, им грозит арест, и передает ему компрометирующие записи, бумаги, документы. Спрячьте! По счастливому стечению обстоятельств о вас им ничего не известно.

Бутягин, необыкновенно серьезный, взволнованный, преисполненный сознания значимости своей роли (он чувствует в себе нечто героическое), все уносит в портфеле. Крадучись спускается по лестнице вниз. Толкает дверь. Возле дома Глинских прохаживается некто, безучастно поглядывая по сторонам.

Когда Василий Михеевич шел сюда, никого не было, и вот на тебе. Неужели слежка? Бутягин вдруг похолодел (героическое с него сразу сошло), половина лица онемела, показалось, что галстук сдавил шею, не хватает воздуха. И рука с портфелем — не

своя. Сейчас остановят. Что сказать? Портфель. Выронить, бросить? Отшвырнуть ногой?

Он все-таки чудовищным усилием воли заставил себя успокоиться. Неторопливо, степенной походкой (приятный вечерок, мол, прогуливаемся) направился к Крымскому Валу. Внезапно нахлынула толпа, Василия Михеевича обступили, чубатые лбы, начищенные мелом тапочки и блузки со шнуровкой, — дружина ОСОАВИАХИМа. И тут он крутанулся, метнулся, юркнул куда-то, пригнув голову, и — неслыханная удача! — оторвался от слежки, исчез, пропал, канул.

Глава тридцать шестая
АРЕСТ

Однако беду на Глинских навел, накликал не Венечка Лестовский, и Василий Михеевич напрасно радовался, ликовал, оторвавшись от слежки. Удар обрушился с другой стороны, и обрушился он на Леонида Федоровича, — вернее, Леонид Федорович сам подставил посеребренную сединами голову…

Продолжались показательные судебные процессы над врагами народа, и газеты печатали их подробные протоколы. По утрам, развернув «Правду» или «Известия», можно было прочесть о том, что разоблачены новые наймиты, двурушники и предатели, которые сами подробно рассказывают о своих злодеяниях.

Вот вам, пожалуйста, подробная стенограмма. И никому было невдомек, что измученных, истерзанных ночными допросами и пытками, запуганных угрозами, обманутых ложными посулами людей заставляли признаваться, выбивали признания в несовершенных преступлениях: заговорах с целью свержения строя, подготовке диверсий и покушений, сотрудничестве с иностранными разведками и проч., проч.

И существовала иезуитская процедура, повязывавшая всех остальных кровью невинных жертв, — процедура всенародного вынесения приговора.

На заводах, на фабриках, в институтах, академиях, учреждениях и конторах собирали всех в актовом зале; на сцене за столом, под кумачовыми лозунгами и портретами вождей восседал президиум. Зачитывали протокол очередного судебного заседания, а затем кто-то заранее назначенный, передовой и идейный, почтенный и мудрый или, наоборот, молодой и горячий, выходил на трибуну и взволнованно, с искренним негодованием и даже благородной истерин- кой в голосе требовал смертной казни для врагов народа, двурушников и наймитов.

Слышался гул одобрения, поднимался лес рук: в зале все послушно голосовали. Большинство, нечувствительное к людским страданиям, было уверено, что все именно так, как пишут в газетах: виновные же сами признались. Другие — их было гораздо меньше — смутно чувствовали, что участвуют в чудовищной инсценировке, кровавом спектакле, но старались глубоко не вникать в смысл происходящего, поскорее проголосовать и забыть, думая: «Если я не проголосую, ничего не изменится, никого это не спасет, так зачем же?..»

Сидевшие в президиуме (так и хочется сказать — паханы) и

подсаженные в зал (наводка) внимательно наблюдали, а не найдется ли кто-нибудь не проголосовавший, отщепенец, затаившийся враг. Всем было ясно, что несчастный, не поднявший руку, обречен, его ничто не спасет. Сразу в зале, может быть, и не подойдут, прилюдно не арестуют, но ночью за ним придут, поднимут с постели, велят доставать чемоданчик со сменой белья и куском мыла. А во дворе поджидает, косит глазом черный ворон, вернее не ворон — воронок…

И тем не менее Леонид Федорович не поднял руку.

Все было как обычно: собрали в зале, зачитали протокол, заранее назначенный вышел на трибуну и с истеричным надрывом в голосе потребовал. Поднялся лес рук, и только Леонид Федорович не проголосовал. Сидевшие рядом с удивлением и тревогой на него поглядывали, кто-то, наклонившись к уху, прошептал: что же он медлит? Кто-то сзади толкнул в плечо: одумайся, дурья башка. Кто-то впереди, обернувшись, с мучительным состраданием на него посмотрел: господи, на что ты себя обрекаешь!..

А сам Леонид Федорович с усмешкой спросил себя: может, правда этак воровато, — так сказать, для проформы, — поднять руку? Поднять и сразу — дерг! — опустить? Это сочли бы достаточным, никто не потребовал бы от него большего. Но он знал, что это значит — быть повязанным кровью невинных, какие это повлечет за собой последствия, — если не здесь, в этой жизни, то там, за ее чертой. И он не поднял: был тверд в своем решении. В президиуме это заметили, переглянулись, крайний встал и вышел. Явно спешил сообщить куда следует. Даже не стали спрашивать, есть ли кто-нибудь против, вносить в протокол голосования, портить картину. Все и так ясно: единогласно! Его же участь была решена, он сам подписал себе приговор.

Вернувшись домой с собрания, Леонид Федорович остановился в дверях, упираясь в дверной косяк, такой большой, широкий и словно бы уже нездешний, бесплотный, сквозящий на свету, выпадающий в иное измерение. Сказал Ирине, чтобы она была готова: ночью его арестуют. Не проголосовал? Не проголосовал. После этого заперся в комнате, надолго затих, не отвечая на ее стук. Стоя у двери, Ирина попробовала сосредоточиться, собраться с мыслями, за что-то взяться, что-то сделать, но вдруг почувствовала, как она жалка и слаба. Ультиматум Венечки, все события этого дня совершенно ее подкосили, и не было сил ни на что — только на слезный скулеж, бабьи стоны и жалобы.

Кому позвонить, кого позвать, попросить приехать? Нет, только не Адриана: этот человек для нее все, в нем смысл и цель

ее жизни, ее радость, боль, мука. Адриана нельзя ни о чем просить, требовать от него нечто дополнительное к тому, что он просто был, существовал, нельзя вовлекать его в какие-то житейские ситуации, обстоятельства, пусть даже такие трагические, как грозящий брату ночной арест. Адриан выше всего этого, он над этим, хотя, конечно, он бы приехал, примчался и был рядом с ней. Но нет, она никогда ему не позвонит, не позовет, не попросит. Никогда!

И Ирина позвонила Адриану.

Ночью за Леонидом Федоровичем приехали, в доме был обыск, все высмотрели, выпотрошили, перевернули вверх дном, но ничего компрометирующего других, доказывающего существование подпольной группы не нашли: Василий Михеевич унес улики в своем портфеле. Леониду Федоровичу сухо велели собраться, взять самое необходимое. Чемоданчик у него уже был наготове, и он лишь окинул прощальным взгля дом комнату, свои книги, фигурки богов и богинь: не помогли многорукие боги. Перед уходом простились с сестрой и Адрианом, встав тесным кругом, молча обнялись, положили руки друг другу на плечи, соприкоснулись лбами: понимали, что не свидятся никогда. Леонида Федоровича увели под конвоем, посадили в воронок и повезли по Якиманке через Каменный мост — на Лубянку. И поразительно то, что арестованного в сорок седьмом году автора романа «Странники ночи» тоже везли по Якиманке — тем же путем, что и его героя.

Вот как об этом рассказывается в воспоминаниях Аллы Александровны: «Когда Даниил написал книгу о русских путешественниках в Африке, она уже была в гранках и должна была скоро выйти, ему неожиданно предложили по телефону полететь в Харьков и прочесть лекцию по этой книжке. Даниил очень удивился, но почему бы и нет? Ему сказали: «Знаете, такая интересная тема, такая хорошая книга, мы предлагаем вам прочесть об этом в Харькове лекцию» Мы опять ничего не поняли. Даниил отправился 21 апреля 1947 года в эту командировку в костюме моего папы, потому что его собственный годился только для очень близких друзей, но не для официальной лекции». В чужом, заимствованном на время, одолженном костюме — на инсценированную Лубянкой лекцию: вот он трагифарс тогдашней жизни, Шостакович и Врубель одновременно. И далее: «Очень рано утром к нашему дому подъехала машина. Я вышла проводить Даниила. Он сел в машину, и она тронулась по переулку. Когда машина отъезжала, Даниил обернулся и посмотрел еще раз на меня через заднее стекло. И только тут меня кольнуло: точно так же один из героев романа «Странники

ночи» Леонид Федорович Глинский обернулся, чтобы еще раз взглянуть на сестру, которая стояла у двери, провожая его. Глинского везли в тюрьму на Лубянку» (глава 16).

И, как потом выяснилось (Алле Александровне рассказали об этом в лагере), на Якиманке действительно собиралась подпольная группа, подобная группе Глинского. Вот она, еще одна внетекстовая страница, написанная самой жизнью.

Глава тридцать седьмая
МОЛИТВА ТРЕХ

Итак, Ирина осталась с Адрианом в разоренной квартире, из которой словно выдуло сквозняком, налетевшим ветром все домашнее, теплое, настоявшееся: без поддержки Адриана она вряд ли бы выдержала все эти испытания. Если раньше ей было страшно, что он придет, появится здесь, будет с ней, то теперь еще страшнее казалась мысль, что он может уйти, оставить ее одну. И она не отпускала его ни на шаг, ей нужно было всей кожей чувствовать, что он рядом. Смотреть ему в лицо, гладить длинные, немного вьющиеся (такие мягкие и шелковистые!) каштановые волосы, прикасаться к надбровным дугам, придающим ему выражение умного и странного мальчика, которого немного побаиваются, уважают и не любят в классе.

А глаза у него серые, как у всех братьев Горбовых. Но при этом ни у Саши, ни у Олега, ни у кого нет таких красивых серых глаз…

Да, это была не просто любовь, для нее это было все, средоточие всего бытия: Ад — ри — ан! Молчаливый, суховатый, внешне бесстрастный и такой ранимый!

Она произносила его имя с молитвенным трепетом. И в то же время это была просто любовь, которая впервые пришла к ней, и Ирина со всею ясностью поняла, что раньше она не любила. Это было лучезарное озарение тупицы, промучившейся столько времени над решением немудреной азбучной задачи, заданной ей жизнью: не любила, и все тут. Да, не любила, не любила, а ждала, когда полюбит, и несбывающееся, затянувшееся ожидание принимала за любовь, в том числе и к Олегу.

И вот ожидаемое наконец сбылось, и все прежнее исчезло, и Олег исчез навсегда. Нет, они с Адрианом часто упоминали о нем в разговорах, Олег звонил, Ирина слышала его голос, он спрашивал, она отвечала, но с ним уже не связывалось то, что называлось любовью. Вернее, не называлось, а было… И не связывалось, а… Нет, она совсем запуталась. Запуталась оттого, что ей так хорошо, она так непростительно счастлива. Да, ей

страшно за брата, мучит сознание неизвестности (где он? что с ним?), и при этом она счастлива, счастлива до слез и ничего не может с собой поделать.

То же самое испытывал Адриан: если раньше он не позволял себе признаться, что любит Ирину, гнал от себя эту крамольную мысль, то теперь не признавался, что когда-то мог не любить, даже ничего не знать о ней. Нет, он любил ее всегда, всю жизнь. Он только не понимал этого раньше, а теперь со всей ясностью понимает и это делает его счастливым, если оно вообще возможно, это счастье, здесь, на земле, а не среди далеких звезд, на которые он смотрит в свой телескоп…

Леонида Федоровича же в это время допрашивали на Лубянке. По ночам его вызывал следователь с узким лицом, бесцветными бровями и едва заметным следом от недавно сбритых усов. Он спрашивал, по — чему, по каким причинам Леонид Федорович отказался проголосовать за казнь врагов народа, был ли это идейный протест, несогласие с основной линией партии или личные отношения с кем-либо из осужденных помешали ему поднять руку. Леонид Федорович отвечал, что никаких личных отношений у него нет, просто ему было жалко этих несчастных. Значит, все же идейный протест? Да нет же, просто жалко, по — человечески жалко, и он вовсе не думал ни о какой линии.

Тогда следователь повернул иначе: уж очень ему надо было повернуть. Может быть, ваша жалость навеяна разговорами с друзьями, близкими или сослуживцами? Может, кто-то из них сказал, что вот, мол, враги, а у каждого из них есть мать, отец, жена, дети, которые их жалеют? И вообще они заслуживают жалости и сострадания, поскольку смертная казнь — слишком жестокая мера по отношению к ним? Нет, при мне никто этого не говорил. Но вы же наверняка обсуждали эту тему, доверительно, в тесном кругу! Нет, не обсуждали, как можно обсуждать обычную человеческую жалость! Но поделиться своим чувством можно? Наверное, можно, но он ни с кем не делился, не было повода и желания. А с теми, кто собирался у него на квартире? Пили чай, говорили о книгах, о театре. И только? А вот ваш сосед… Соседа при этих разговорах не было: он и сам завзятый театрал, вечерами его не бывает дома.

И так каждую ночь: кабинет следователя, стул, лампа, нескончаемые допросы. Следователи сменяли друг друга, но вопросы были все те же: почему, по какой причине? И, повторив свой ответ в сотый раз, Леонид Федорович чувствовал, что на сто первый он рассмеется безумным смехом, возвестит, что он не мельник, а ворон, бросится душить следователя или

->-\к упадет в обморок, потеряет сознание. С ним действительно случались обмороки на допросах, он ронял голову и сползал со стула. И, вновь приведенный в чувство (плеснули в лицо водой), Леонид Федорович готов был застонать от бессильной муки: первое, что возвращало ему сознание, было склонившееся над ним ненавистное узкое лицо с бесцветными бровями.

Измученный, Леонид Федорович, пошатываясь, держась за стены, возвращался в камеру. Камеру, набитую людьми, душную, смрадную, с парашей в углу, «намордником» на окне, глазком в двери и откидывающимся окошком для раздачи тюремной еды. У него было единственное желание упасть на нары и заснуть, провалиться в омут, но спать почти не удавалось даже урывками: вскоре наступал рассвет, днем спать было запрещено (следили в глазок), ночью же — новый допрос. И это безумие бесконечно: воистину он не мельник, а ворон!

Пытаясь осознать, что с ним происходит и что вообще творится вокруг, Леонид Федорович приходил к мысли о каком-то великом абсурде (Великом Абсурде!), скрытом в потаенных недрах огромного здания и с помощью невидимых нитей манипулирующем следователями, охранниками, конвоирами. Все они лишь делали вид, что совершали осмысленные действия, задавая вопросы и записывая его показания, а на самом деле служили этому абсурду, словно некоей адской силе, своему идолу и кумиру. Именно он, великий абсурд, жаждал, испытывал ненасытную потребность в том, чтобы Леонид Федорович неделями не спал, чтобы возводил на себя напраслину, изничтожал, втаптывал в грязь, признавался в несовершенных злодеяниях. А иначе зачем было нужно, чтобы человек, не совершивший ничего дурного, умный и знающий, находился сейчас здесь, в этом за стенке, этом мучилище. Иного объяснения он не находил, да и какие могли быть объяснения в мире всеобщего абсурда, который начинался на площадях, где люди выстраивались живыми буквами имени Сталин, и заканчивался здесь, в здании, некогда выстроенном для (вот гримаса судьбы!) страхового общества «Россия», а затем перепланированном и переоборудованном для совсем иных целей. Страховое — страшно: от одного корня, и ему, устрашенному, оставалось только… молиться.

Да, Леонид Федорович сам не знал, как он начал молиться. Просто однажды поймал себя на том, что губы едва шевелились в молитве — той самой, какую помнил с детства, с тех пор, как его за руку водили в храм Ивана Воина на родной Якиманке. И вот теперь эта молитва всплыла в памяти, явилась ему вдруг, и он с

горячностью ухватился за нее, припал к ней, изнывающий в истоме, почувствовав, что это — единственное спасение. Леонид Федорович молился и не мог сдержать слезы, катившиеся по щекам, — он лишь отворачивался, прижимался лбом к стене, чтобы их никто не видел.

Затем он случайно заметил, что так же молится его сосед — седобородый священник, видимо арестованный прямо в церкви: он был в рясе, не острижен, с косицей длинных волос, но без креста на груди. И они, не сговариваясь, а лишь обмениваясь взглядами людей, понимающих друг друга, стали молиться вместе. Вскоре к ним присоединился третий — бритоголовый мулла, распознавший смысл их тайных знаков и так же молча, взглядом попросивший принять его в круг. Мулла молился по своему: выставлял перед собой ладони, брал левую руку в правую, прижимал к животу, совершал поклоны, опускался на колени и касался лбом пола. Они молились непрестанно, по оче — реди и за себя, и за всех, и когда уводили на допрос одного, на молитвенном служении его сменял другой. Так он образовался, этот круг, — круг противостояния злу, ужасу, мраку, абсурду.

Глава тридцать восьмая
ОСТАТКИ ЧЕЛОВЕКА

Именно так называется эта глава в романе — «Остатки человека». Не останки, которые, совершив отпевание, прочитав «Ныне отпущаеши», можно похоронить, а именно остатки. Человек еще жив, способен говорить, двигаться, жестикулировать, менять выражения лица, но лучше бы он молчал и лежал в могиле, потому что это уже не человек — остатки…

Леониду Федоровичу по ходу следствия устроили очную ставку с одним из сослуживцев, арестованным до него. Ему прозрачно намекнули: этот человек был свидетелем того, что Леонид Федорович не желает признавать, столь настойчиво отрицает, а именно — кулуарного обсуждения некоей скользкой, щекотливой темы. Темочки, так сказать. Какой, вы, вероятно, догадываетесь. Так вот он был свидетелем. Леонид Федорович сразу уразумел, куда клонит следователь, и стал вспоминать, с кем из сослуживцев он мог вести разговоры о жестокости смертной казни, о жалости и сострадании к обвиняемым на показательных процессах. Ведь для следователей это единственная зацепка, ниточка, чтобы сшить дело.

Но Леонид Федорович готов был поручиться, что ни с кем он таких разговоров не вел. Не то чтобы опасался — не любил, не хотел. Вообще на службе он де ржался очень замкнуто, сухо,

корректно, приятелей у него не было, в буфете ни с кем не сиживал, чаи не распивал. Значит, этот человек мог лишь в угоду следователю оклеветать его. Интересно, кто это и как он будет смотреть ему в глаза. Почему-то он думал, что это… Да, был у них один такой, которого все сторонились, избегали, неприятный, скользкий человек, похожий чем-то на Венечку Лестовского.

Но затем Леонид Федорович сказал себе: наверняка это кто-то другой. Так уж устроена жизнь, что никогда не угадаешь, кого она выберет для черного дела, какой преподнесет сюрпризец. Так оно и вышло…

Леонида Федоровича на очную ставку привели первым, и, когда открылась дверь и конвоир впустил другого подследственного, Леонид Федорович почувствовал некое замешательство и не сразу с собой справился, поскольку это был не то чтобы приятель, но человек, с которым установились… да, собственно, почти приятельские отношения. Хотя домой к себе он никогда его не приглашал, но на службе часто беседовали на научные темы, отводили душу, прохаживаясь по коридору, закуривая на лестнице, сидя на кожаном, скрипучем диване. Да, беседовали о Египте, об Эхна- тоне, об Индии, поскольку тот был знаток в своей области, ходячая энциклопедия, умница и вообще человек милейший, обаятельный, может быть излишне смешливый, но это сглаживалось искренним задором, который слышался в его смехе. Он весь заливался румянцем, делался пунцовым и маленькими розовыми пальчиками (при большой глянцевитой лысине) приподнимал над хрюкающим носом пенсне и смахивал с глаз выступившие слезы.

Теперь же смешливого сослуживца было не узнать. Леонид Федорович сразу понял, что его били: хотя следов побоев, синяков, кровоподтеков не было заметно (били умеючи), но тот каждую минуту ждал, что на него обрушится новый удар, невольно вздрагивал, готовый сжаться, заслониться ладонями, втянуть голову в плечи. При этом он поддерживал брюки с отпоротыми пуговицами и затравленно озирался по сторонам. Но не это больше всего поразило Леонида Федоровича (он тоже знал, как бьют): человек стал другим. Он не просто изменился под влиянием обстоятельств — он преобразился. От прежнего человека ничего не осталось. Вообще от человека ничего не осталось.

Даже не поздоровавшись, не протянув руки, он сразу сбивчиво заговорил, словно продолжая горячечный, воспаленный разговор с самим собой. Ну, вспомните, Леонид Федорович, ведь вы же мне сказали! Мы еще с вами прогуливались по коридору, а затем присели на наш кожаный диван с валиками. Помните

черный кожаный диван у нас в коридоре? И вот вы тогда сказали, что жестоко осуждать на смертную казнь, что все эти процессы… Я вам этого не говорил, мы беседовали совсем о другом. Ну, как же, Леонид Федорович, дорогой, вы забыли, а я помню. У меня несчастное свойство памяти — я все запоминаю. Жена ляпнет какую-нибудь глупую фразу, а я нет чтобы забыть — ношу ее в башке. Вот и вашу фразу я запомнил, совсем не глупую, о нет, вы не подумайте! Вы еще добавили, что не будете голосовать за смертную казнь, а я пытался вас убедить, что надо проголосовать. Это ложь. Леонид Федорович, милейший, я же не утверждаю, что вы мне предлагали участвовать в покушении на товарища Сталина, но вы сказали, что голосовать не будете. Согласитесь же: вы сказали!

И внезапно Леонид Федорович почувствовал себя легко, словно какой-то груз, какая-то тяжесть отпала от души. Видя, во что превратился сослуживец, кол лега, приятель, что осталось от человека, он осознал, что сам таким никогда не станет. Не станет, несмотря на то что он истерзан и неизлечимо болен, едва стоит на ногах. Это черта, которую он никогда не переступит. Как бы его ни били, как бы ни мучили, он останется человеком. Без всякой героической позы, без пафоса, молча — останется, вот и все.

Сослуживца увели. Следователь, испытующе, со скрытым торжеством глядя на Леонида Федоровича, ждал, что он теперь скажет. Стенографистка отложила затупившийся и достала остро отточенный карандаш. И Леонид Федорович стал говорить: он сам восторжествовал. Это было неожиданно для него самого, он не успел заготовить никаких речей, и, кроме следователя и стенографистки, его никто не слышал. Но он стал говорить все, что думал, подчиняясь чувству внутренней необходимости: высказаться! Высказаться до конца! Пусть и это бессмысленно, это ничего не изменит, ни к чему не приведет. Пусть эти слова окажутся ему последним приговором — все равно он должен их произнести. Он должен сейчас мысленно раздвинуть стены своей комнаты на Якиманке и все, что говорилось там ими всеми, членами синего подполья, внести сюда, как бомбу, и взорвать. Да, пусть их слова станут хоть каким-то — отчаянным, безнадежным, но — действием. Они разошлись с Алексеем Юрьевичем Серпуховским, но что же… у него есть свой способ борьбы. И сейчас Леонид Федорович будет бороться не просто с бесчеловечной следственной машиной, перед которой он стоит, измученный и больной, но с самим злом. Да, со злом, которое одержало уже столько побед, но не одержит еще одной победы, — победы над ним.

Леонид Федорович говорил так, как люди говорят единственный раз в жизни. Можно было бы на звать его речь вдохновенной, если бы не обстановка тюремного ада, в которой она произносилась. Говорил о показательных процессах, инсценировках всенародного осуждения, жестокостях смертных казней, бесчеловечной тирании Сталина, гонениях на всякое свободное слово, на веру, на церковь, говорил обо всем, что сделали со страной большевики, по существу уничтожившие Россию, истребившие цвет нации, творцов ее культуры ради своих узколобых, утилитарных идей. Говорил, говорил, говорил — в лицо, искаженное судорогой, в округлившиеся глаза, в самую душу тех, кто взирал на него с ненавистью и страхом.

После такой речи его конечно же должны были расстрелять — расстрелять без всякого суда, в административном порядке. Но у Леонида Федоровича, неизлечимо больного туберкулезом, горлом хлынула кровь, и его унесли в тюремную больницу. Там же, на больничной койке, он вскоре и умер: врачи не смогли его спасти. Но умер не побежденным, а победителем.

И вновь глава из романа мистически отозвалась в жизни его автора. Когда дело Даниила Андреева было отдано на пересмотр и его вновь допрашивал следователь, Даниил Леонидович стал говорить. Он сам потом рассказывал об этом жене: «Ты не представляешь себе: я, не умеющий говорить, обрел такой дар красноречия, разлился так обстоятельно, так обоснованно разложил «отца народов» по косточкам, просто стер в порошок… И вдруг вижу странную вещь: следователь молчит и по его знаку стенографистка не записывает. И именно в это время у трясущегося от бешенства следователя посредством телефонного звонка от имени Шверника вырвали из рук дело, которое он благополучно «шил»» («Плаванье к Небесному Кремлю», глава 25).

Добавим для ясности: накануне в приемную Шверника от имени Аллы Александровны было подано заявление, поэтому дело и вырвали. Это было уже в пятьдесят седьмом году, после двадцатого съезда.

Глава тридцать девятая
БЕЗУМИЕ ВЕНЕЧКИ. НОЧНОЙ ПЕРЕПОЛОХ

Вениамин Лестовский был уверен, что все произойдет именно так, как он задумал и рассчитал в своем взвинченном, воспаленном мозгу. У Ирины нет выхода, она прижата к стенке: возглавляемая ее братом подпольная группа раскрыта, Венечке известны имена и адреса. Поэтому она примет ультиматум и,

покорная, явится к нему. Ну, может быть, денька два потянет, поломается для приличия, для соблюдения этикета, а затем послушно явится. Наверняка начнет с того, что будет взывать к остаткам благородства в его душе, умолять не сообщать на Лубянку о тех, кого он выследил.

Да, он согласен не сообщать, но — условие. Как же это мы забыли! Ай — яй — яй! Она должна непременно выполнить его условие. Тут Ирина, конечно, скажет, изречет, театрально воскликнет (вторая Ермолова!), что не любит его, а любит другого, и зачем ему такой ценой?.. А он согласен и на такую цену, он не гордый, вернее, он-то как раз и гордый, чудовищно гордый, потому что он — любит, изнывает от любви. Не она, а он выстрадал, вымучил свою любовь и поэтому — заслужил. Заслужил законной и желанной, страстно желанной награды и не откажется от нее, несмотря на весь ваш ермоловский театр.

Так он все себе представлял, Венечка, рисовал в своем взвихренном воображении. Но время шло, а Ирина не являлась. Венечка сначала сердился на это, мстительно суживал глазки, грозил, распалялся. Ах, раз так, он немедленно идет на Лубянку! К черту все гарантии! Они сами его вынудили, заставили, подтолкнули! Но затем Венечка забеспокоился и уж тут, чуть позволив себе, дав волю — человек-то уж очень мнительный, внушаемый, нервный, — не мог с собой справиться: затрясла его лихорадка. Где Ирина?! Что с ней?! Стал звонить, окольными путями выведывать, разузнавать у знакомых, но те ни гугу. Тишь. Прозрачное зеркало вод. Зерцало! Ни всплеска.

Тогда он крадучись, бочком, воровскими шажками засеменил на Якиманку. Засеменил, чтобы глянуть, зыркнуть, нюхнуть, как он сам говорил. Нюхнуть, не пахнет ли гарью. И там по каким-то неуловимым признакам, разлитой в воздухе угнетающей истоме, некой особой тусклости окон в мезонине Глинских, постному выражению лиц соседок, сидевших на лавочке, понял. Понял, и его словно ужалило. Арестовали! Арестовали брата! Леонида Федоровича Глинского!

Вениамин шарахнулся, заметался, и в голове началось безумное кружение, адский хоровод мыслей. Если по ходу следствия всплывет его имя, могут и привлечь, арестовать за недоносительство. Как же быть? Что же, спрашивается, делать-то, а? Все-таки пойти на Лубянку? Нет, он не пойдет и сохранит в себе остатки благородного человека! Значит, не ходить? Нет, то есть… Спрашивается… Что же, что же?!

Была синяя весенняя ночь. Венечка Лестовский сходил с ума.

В метаниях, шараханьях, блуждании по Москве под янтарной луной, его занесло на Воздвиженку, где в коммунальной квартире

жил архитектор Женя Мор — генштерн. Венечка его знал. Вернее, он напрочь не знал, зачем ему Женя. Ах, господи, зачем же он ему понадобился, этот Моргенштерн? Знал или не знал? Знал, что ничего не знал. Или не знал, что знал? Моргенштерн — это утренняя заря или звезда. Сумасшествие! Моргенштерн — это сумасшествие!

Венечка стал звонить в дверь — наобум, во все звонки. Этот — этот — этот. Тык — тык- тык. Ему открыла мать Жени, седенькая, сгорбленная, со свечой в руке (огонечки прыгали в стеклах очков). А за нею возникло то, что в смятенном, кренящемся сознании Венечки запечатлелось как размытое пятно: разбуженная ночью квартира, сумрачные недра коридора, исчерченного зигзагами света из щелей, углы каких- то шкафов, вещей, велосипедные колеса, испуганные лица, шорохи, шепот, мышиная возня. Шу — шу — шу. Что- что-что? К кому? За кем?

Здравствуйте, ради бога, извините, что я разбудил… я друг вашего сына, он мне срочно нужен, пожалуйста, очень срочно. Я должен ему сказать, что Ирина… м — м- м… что я был там. Ну, знаете, там, там, там. И Леонид Федорович… Леонид Федорович такой-то, ему известный… его там нет! Поэтому пусть ваш сын туда больше не ходит. Ну, туда, туда, туда… Что-то я стал заговариваться. Вот и руки дрожат — смешно. Почему-то у меня дрожат руки. Так зачем я сюда пришел? М — м-м… дай бог памяти. Да, пусть не ходит. Он, он, ваш сын, Женя. Позовите его. Ах, Жени нет дома! Ой — ой — ой! Нет дома, вы сказали. Да, это вы сказали, вы сказали, я этого не говорил. Я вообще ничего не говорил. Я нем как рыба. Тысячу извинений, тысячу извинений. Я удаляюсь, я исчезаю. Но я исчезаю как благородный человек. Заметьте, как благо — о-о — родный!

Закрыв за Венечкой дверь, наконец спровадив его, мать Жени Моргенштерна прислонилась к ней спи ной, закрыла глаза, выждала несколько секунд, прижимая руку к груди, и сказала перепуганным насмерть соседям:

— Не волнуйтесь, ничего не случилось, просто один Женин знакомый сошел с ума.

Глава сороковая
НЕРЕНЗЕЙ

Разные в Москве есть дома, и разные у них имена.

Вот Казаков, вот Шехтель, вот Перцов, а вот самый высокий из всех, во всяком случае таким он был в тридцатые годы, истукан Нерензей… Вернее, пост- роил-то его инженер Нирнзее, но москвичи, не искушенные в этих тонкостях, окрестили его по

— своему, звали не иначе как Нерензей. Дом Нерензея, и только…

Женя Моргенштерн не был арестован, как это могло показаться обезумевшему Венечке. В ту синюю весеннюю ночь он еще не возвращался домой, а бродил по Москве, по Тверскому бульвару, по переулкам, Ле- онтьевскому, Гнездниковскому, и отовсюду смотрел на него истукан Нерензей. Смотрел и манил, как детей манят пальцем: подойди, подойди-ка…

Женя бродил и думал, вспоминал, подводил итоги. Такое настало для него время (рано или поздно оно наступает у каждого) — подведения итогов, последней черты под тем, на что надеялся, в чем видел спасение, выход. Теперь надо со всей беспощадностью спросить себя, есть ли у него шанс, хотя бы один- единственный. Он испробовал все возможности, пытался даже совершить невозможное, и что же, что же?

А то, что он вынужден признать: из этой страны ему не вырваться, как ни мечтай. Из этой проклятой, распятой, толстопятой (какой там еще?) — никогда. Ни в трюме парохода, ни в угольной яме, ни в товарном вагоне, ни в цистерне с нефтью, ни вплавь через нейтральные воды. Догонят, найдут, высветят фонариком, поймают, схватят и свернут голову, как цыпленку.

Вот такая получается итоговая черта, цепочка очевидных фактов, вернее, цепь, которой он прикован, как каторжник: отсюда — никогда, а здесь — никак. Здесь он жить не сможет. Не сможет выносить эти трескучие парады, идиотские лозунги, транспаранты, марши физкультурников, живые буквы из людей, серые шинели вождей на мавзолее, праздничный разгуляй, толстопятый пляс под визг гармошки, а по застенкам пытки, стоны и казни. Казни такие же простые, как увольнения со службы, в административном порядке. Выстрел в затылок — и кровь на цементном полу вперемешку с мозгами. Как же, зная об этом, люди живут, маляры красят стены, пекари пекут булки, кондитеры делают пирожные? Как при этом любят, назначают свидания, встречаются на бульваре под фонарем?

Нет, он ненавидит — маляров, кондитеров, влюбленных. Ненавидит всю эту Совдепию, френчи, портупеи, парусиновые портфели, битком набитые трамваи, ругань, мат, запах сивухи и пота. Его коробит от одного вида будильника на столе и мысли, что утром надо вставать и идти на службу, такую же бессмысленную, как и все остальное. А главное — всюду ложь, ложь, ложь, которая лезет во все щели, словно патока, раздавленная карамель, от которой не спрятаться, не заткнуть уши, словно от репродуктора на площади.

Поэтому какой же вывод? А вывод очень оптимистичный, в

духе времени, веселенький, можно ска зать, вывод: он обречен. И это не какое-то сложное мыслительное построение, а простая данность. Такая же простая, как понедельник, трюм парохода, цистерна с нефтью или дом Нерензея в Гнездниковском переулке, который его манит, зазывает, завораживает. Чем же, спрашивается, манит-то? А там, на самом верху, есть кафе: оно так и называется — «Крыша», и все в нем очень чинно, респектабельно, с шиком. Услужливые официанты с бабочкой, полотенцем на руке и блокнотом в кармане фартука, чистые столики, пирамиды салфеток, пепельницы. И по краю крыши — совсем невысокий бортик, ограждение, чтобы какой-нибудь советский гражданин после графинчика водки не шагнул ненароком в бездну.

А вот Женя-то и шагнет, как ему нашептывает Не- рензей. У него все продумано, рассчитано, выверено до последней детали. Он поднимется в шикарном, отливающем лаком и перламутром лифте на последний этаж, сядет за столик, закажет графинчик водки, запотевший, с холодка. Приподнимет крышечку, понюхает, нальет, опрокинет, расплатится с официантом, щедро даст на чай. И — в бездну, за бортик, чтоб ветер в ушах просвистел…

Бери меня, Нерензей, царь колдовского каменного леса, московских джунглей!

Что ж, итоги подведены, вывод сделан, поэтому зачем откладывать, зачем тянуть?! Что у нас сегодня, понедельник? Самый подходящий день… Вот только взглянуть в последний раз на Воздвиженку, на свой родной дом, комнату, где прожил столько лет, где вычерчивал под ночной лампой проект храма Солнцу. Взглянуть хотя бы в окно, всмотреться, козырьком приложив к глазам ладонь….

И Женя отправился прямиком на Воздвиженку. Вот и окно его на первом этаже. Подкрался, припал, приник. Постепенно в темноте стали вырисовываться очертания мебели, вещей, предметов. Его комната, стол, книги: смотри, ведь это в последний раз. И он жадно, ненасытно высматривает. Вот так же души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Вернее, так у Тютчева, а как на самом деле смотрят души, он узнает сам. Узнает совсем скоро. Ну, вот и все, хватит, простился.

Женя хотел уже оторваться от окна, но тут в темноте, откуда-то сбоку, едва заметно мелькнуло. Какой- то лучик, блик, отсвет очков. Мелькнуло, и он различил: мать молится перед иконой. Горит свеча, и она молится, губы шевелятся, что-то шепчут, шепчут его имя. Значит, мать молится за него. Мать, мать! И ее молитва сильнее манящего шепота Нерензея. Женя вдруг почувствовал: мановением незримой руки отпало, от души что-то

отпало, дьявольское, смертное, тяжелое. Исчезло, сгинуло кошмарное наваждение. Женя словно очнулся. Он не должен бросаться в бездну, итоги еще не подведены…

Всю ночь Женя Моргенштерн бродил по Москве. И она вставала, распахивалась, взметалась, прядала перед ним, разная, то затаившаяся, неразличимая, то зримая, явленная, и всегда — колдовская. Москва! Вот львы на воротах вдруг высветились лунной голубизной, вот возник мраморный торс — кариатиды, поддерживающие балкон, а вот замерцал, засиял, заискрился изразцовый врубелевский фриз. Москва ночная — поверженный демон!

…В Большом Гнездниковском я конечно же побывал, и, когда еще шел душным летним вечером по Тверскому бульвару, он уже смотрел на меня, Нерензей, возвышавшийся над всеми домами в розовом мареве облаков. Приблизившись же, запрокинув голову, оглядев песочного цвета громаду, я поразился тому, какой это романный дом. Романный, знаете ли, и как он подходит для «Странников ночи», для самоубийства Жени Моргенштерна.

Понятное дело, захотелось осмотреть изнутри, но вовнутрь меня не пустили: преградила дорогу комендантша, нет, и все. Плоская, какая-то вся скрученная в жгут, нервозная, остервенелая и по — солдатски грубая, словно сами тридцатые годы, она, не вынимая изо рта папиросы, отчеканила, рявкнула: «Нет!» И это тоже было так романно, картинно, выпукло, что я и согласился, сразу смирился, затих и в этом тихом блаженстве еще долго кружил по переулкам, разглядывал дом, словно фотограф, отыскивающий нужный ракурс: вот отсюда… отсюда… Отовсюду он был хорош, мой истукан Нерензей, вместе со своей комендантшей перенесший меня в тридцатые годы и ставший живой страницей сожженного романа.

Глава сорок первая
ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА

Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная сохранившаяся глава романа, вернее, полностью восстановленная автором во Владимирской тюрьме. Почему он восстановил именно эту главу? В воспоминаниях уже знакомой нам Ирины Усовой, друга юности Даниила Андреева, рассказывается, как он готовился к ее написанию: «Он в то время работал, как мы уже потом узнали, над той главой своего романа

«Странники ночи» в которой действие происходит в астрономической обсерватории, и ему хотелось посмотреть в телескоп туманность Андромеды. Друзья устроили ему встречу с астрономом, у которого дома был небольшой телескоп…»

Словом, готовился тщательно, со всей основательностью. Наверное, эта глава и тщательнее всего прописывалась, лучше запомнилась, была особенно дорога. Но чем?

Чтобы это понять, задумаемся, каким вообще могло бы быть начало романа о тридцать седьмом годе. Писатель попроще, средней одаренности, не дотягивающий до плеча Леонида Андреева, пекущийся лишь о сюжетной занимательности, постарался бы сразу погрузить нас в гущу событий, начал бы с ареста, обыска, прощания с родными, первого допроса на Лубянке, описания камеры, параши, окон с намордниками. Даниил Андреев (а он, как мы помним, дотягивал и даже мыслил себя стоящим вровень) находит поис- тине удивительное, необыкновенное, завораживающее начало: увиденное в телескоп ночное небо, звезды, туманность Андромеды. Да, роман завязывается там, среди звезд, недаром он с детства любил их, эти звезды, а одна из пьес его отца так и называлась — «К звездам».

Иными словами, земного мира, Москвы, арестов, всех ужасов тогдашней жизни еще нет. Не слышно плача, стенаний, мольбы — только чистое звездное сияние, тишина обсерватории, свечение приборов, сдержанный, немногословный, внешне даже суховатый Адриан, дающий короткие распоряжения ассистенту…

В третьем часу ночи над куполом обсерватории разошлись наконец облака.

В расширяющейся пустоте звезды засверкали пронзительно, по — зимнему. Город давно опустел. Все казалось чистым: массы нового воздуха — вольного, холодного, неудержимого, как будто хлынувшего из мировых пространств, развеяли земные испарения. Фонари над белыми мостовыми горели, как в черном хрустале.

В черной, двубортной, наглухо застегнутой шубе с котиковым воротником поверх наглухо застегнутого черного пиджака, но с непокрытой головой, молодой профессор Адриан Владимирович Горбов прошел из дежурного кабинета в круглый зал обсерватории той же размеренной поступью, что и всегда.

Мороз, крепчавший снаружи, царил и здесь, в зале, а полумрак сгущался под куполом почти до полной тьмы. Едва можно было различить ребра меридиональных делений и галерею, опоясывавшую зал, как хоры храма. На никеле приборов, на полированной фанере обшивок лежали разъединенные круги

света от нескольких, затененных абажурами ламп. Различался пульт управления, циферблат кварцевых часов, точнейших в Советском Союзе, да в стороне — два стола, загроможденные атласами, диапозитивами и звездными каталогами. Молоденький ассистент в сдвинутой на затылок меховой шапке предупредительно поспешил Адриану Владимировичу навстречу; в рабочие часы профессор всегда был лаконичен и сух, и ассистенту хотелось движением навстречу, вежливым, но свободным от заискивания, выразить свою готовность и уважение.

— Небо ясно, — деловито указал профессор Горбов. — Мне нужна дельта Возничего — W — P — 3122 —.

И он поднялся по железной лесенке рефрактора. Дружеским, почти ласковым движением скользнула обернутая перчаткой рука по полированному металлу телескопа. И, взглянув вверх, профессор успел заметить в узкой секторообразной щели, из-за жерла направленного в нее рефлектора, две звезды четвертой или пятой величины, судя по направлению — в созвездии Северной Короны. В ту же секунду огромное сооружение дрогнуло, звезды Короны скрылись. На смену им последовательно стали показываться звезды другие, и купол, вместе с рефрактором, с лестницей, с креслом, плавно двинулся на шарнирах с запада на восток. Вокруг смещались приборы, перила, опоясывающие зал галереи, мебель; светлые круги от ламп мерно двинулись вперед, как светлые галактики темной и пустой вселенной. Долгота была найдена. Теперь жерло трубы медленно поднималось вверх, словно прицеливающееся орудие. Выше, выше… И, направленное почти в зенит, жерло наконец остановилось.

С измерительным инструментом подле себя, с записной книжкою на коленях доктор астрономических наук погрузился в вычисление координат дельты Возничего.

Впервые он установил их полгода назад на другом конце земной орбиты. И если бы теперь погода еще несколько дней постояла бы пасмурная, — момент был бы упущен и пришлось бы ждать еще целый год, чтобы установить элементы параллакса.

Гудение продолжалось, но тихое, чуть — чуть свистящее. Это безостановочно работал механизм трубы, чтобы она неотступно следовала за избранною звездой в пути по небу. Казалось, связь рефрактора с землей порвалась, когда луч звезды упал в его окуляр и заставил плыть за собой с непреодолимой силой. В столице социалистической державы, в городе с четырьмя миллионами человек только один вращался сейчас вместе с небесным сводом. Тонкий луч дельты Возничего падал ему в глаза и точно звенел и креп с каждой минутой. Как будто магическая проволока, для которой любые пространства ничто, —

соединила концы мира. Концы мира, альфу и омегу, звезду и человека; и нечто, отдаленно напоминающее беседу, возникло между ними. И в то время как рассудок, вытренированный на громадах пространства, четкий, как тиканье часов, отсчитывал микроны и радианы, «пи» и секунды угла — что-то иное в его существе, более тонкое и более хрупкое, все глубже вникало в луч звезды с<неразб.>ощущением, похожим на<не- разб.>. Медленное раскачивание по лучу взад и вперед то уносило его во внешний, леденящий холод, то возвращало под купол, в сосредоточенную темноту, похожую на сумрак собора, где стихло богослужение. Каждый размах по лучу был больше предыдущего; и наконец, от амплитуды этого качания дрогнуло сердце, оно оперлось, как на каркас из нержавеющей стали, на прочный, надежный брус рассудка; наблюдение подходило к концу; Адриан Владимирович оторвался от окуляра и обвел отсутствующим взглядом мглу обсерватории.

— Довольно, благодарю вас, — проговорил он небрежно, стараясь вглядеться, чтобы восстановить правильный фокус взгляда, в молчаливый силуэт у пульта управления. — Остановите пока.

Гудение стихло. Только часы продолжали отсчитывать мерные капли потока времени. Профессор занес в записную книжку полученный результат. Его задание на сегодняшний день было хоть и срочно, но невелико, и он его выполнил. Но теперь его тянуло полюбоваться, пока еще нет облаков, на один небесный объект, когда-то изучавшийся им в Симферополе и здесь, — на великолепную, прославленную миро вой астрономией, большую туманность Андромеды. Уже сама ее прославленность ослабляла к этому объекту чисто научный интерес. Кроме того, от работы над внегалактическими туманностями профессор отказался уже давно, как от явно бессмысленных в данных условиях: астрономический инструментарий в Советском Союзе был слишком слаб, теоретическая же обобщающая работа на основе зарубежного материала — никчемна: ее результаты не могут быть опубликованы. Уже третий год, как профессор Горбов обрек себя на измерение звездных параллаксов. Но внегалактические туманности он все же помнил, — помнил, как свою первую любовь, и время от времени позволял себе удовольствие бездумно созерцать великолепнейшую из них в переворачивающем зеркале рефрактора.

Но когда ассистент, удивленный долгой паузой, вгляделся в профессора, Адриан Владимирович сидел все там же, облокотившись о поручень и прикрыв глаза рукой. Его пышные

каштановые волосы, несколько длинные, сливались с полумраком, и только бледное пятно изящной руки да странный лоб с надбровными дугами, плавно выдающимися вперед, удалось разглядеть ассистенту. В ту же минуту профессор отнял руку: на ассистента устремились издали холодные серые глаза.

— Теперь прошу вас М31. Координаты установите сами.

Под шифром М31 значилась большая туманность Андромеды. И то, что эту жемчужину неба называть по имени было не принято; то, что ее прятали под сухой связкой условных цифр, профессору нравилось.

С тех пор как он увидел впервые М31, прошло уже много лет. Теперь он отлично знал ее размеры, масштабы, расстояние в световых годах, ее массу, яркость, плотность. Раньше, чем американец Хэбл доказал, что эта туманность есть, подобно Млечному Пути, другая вселенная, он это предчувствовал, он это знал. И все же каждый раз, как перед ним <неразб.> открывалась сама, этот иной мир, он вздрагивал от ощущения, столь <неразб.>, что даже все пытающий ум его не смел подойти к этому чувству с ловчей сетью своих аналитических схем. Это не было волнением ученого, когда открывающаяся перед ним даль неисследованного побуждает к новым и новым исканиям, к властной вере в научное познание бытия. Уже много лет центр его жизни лежал совсем в другом, и наука уподобилась для него вратам, через которые он вышел бы в область еще более головокружительных и дерзких, еще более парадоксальных идей.

Время проскакивало через хронометр ровными толчками, одинаковыми, как кванты. Ассистент искал координаты туманности на этот день и час в переплетенных таблицах, похожих на увесистые конторские книги… Адриан Владимирович опять прикрыл глаза рукой. Ему чудилось угрюмое море, свинцовое и бурное, и Андромеда, прикованная к утесу, обреченная чудовищу, как возмездие за родительский грех. Андромеда, ожидающая Персея — освободителя, героя и жениха. Древняя сказка давно наполнялась для него новым смыслом; ему казалось, что она растет в его сердце, в его сознании, даже, может быть, в его крови…

Вдруг мощный рокочущий гул заглушил счет времени; или — само время, больше уже ни на что не делимое?.. Это рокотали колеса медленно вращавшегося купола и трубы. И в гуле этого кругооборота слышалось явственное подобие вращению далеких миров по своим необозримым орбитам, вращению звездных скоплений, вращению планет — вращению всей

Галактики с ее крошечными оазисами огней и черными, как уголь, пустотами. Это вращались светила Ориона — красные, как

Беллатрикс и Бетельгей- зе, трехзвездный пояс посредине, Ригель и Санор внизу. Вращались размывчатые, темные облака материи, озябшей <неразб.>. Вращались белые карлики — больные звезды, где материя так уплотнена, что вместо атомов голые ощипанные ядра стискиваются в триллионы тонн. Вращались пульсирующие цифеиды, то сжимаясь, точно в судорогах боли, то вспыхивая таким пламенем, в котором само Солнце потонуло бы, как слабая свеча. Вращались электроны, сшибаясь друг с другом, вышибая друг друга из орбит, и в смертной боли невообразимо крошечных катастроф превращаясь в энергию. И, не отнимая руки от глаз, с губами, побелевшими от боли, он чувствовал, как Ось мировой материи сжимается в единый глухой стон — более бессмысленный, чем мычание животных, более невыносимый, чем плач ребенка.

Это стонала Андромеда, прикованная к утесу, терзаемая <неразб.> множественности воль.

Вдруг гул вращения затих, перейдя опять в тихое, колдующее посвистывание, и тогда, отняв руку от бескровного лица, он опять приник к окуляру.

На черном бархате метагалактических пространств наискось, по диагонали, точно сверхъестественная птица, наклонившая в своем полете правое крыло и опустившая левое, перед ним сияло чудо мироздания — спиральная туманность М31. Золотистая как солнце, но не ослепляющая, огромная, как Млечный Путь, но сразу охватываемая взором, она поражала воображение именно явственностью того, что это другая, бесконечно удаленная вселенная. Можно было различить множество звезд, едва проявляющихся в ее крайних, голубоватых спиралях; и сам туман, сгущаясь в центре ее, как овеществленный свет, как царственное средоточие. И чудилась гармония этих вращающихся вокруг нее колец, и казалось, будто видишь <неразб.> преображенных миров, совершающееся в безграничной дали, но и для Земли предопределенных.

А еще дальше, на крайних пределах пространства, которые достигал взор, едва различались слабо светящиеся пары, точно медузы, застывшие в черной, как тушь, воде: еще тысячи других галактик, уносящихся прочь от системы Млечного Пути со всевозрастающими скоростями. Скоростями, приближающимися к скорости света, предельной величины, за которой материя как таковая не может существовать.

И если прав Хэбл, и скорости растут по мере удаления, то эти туманности, еще видимые сейчас, в действительности не существуют: они перешли за скорость света, они выпали за горизонт трехмерного мира и продолжают свое становление по

шкале недоступных нашему сознанию координат.

Минута за минутой вглядывались глаза в Великую туманность, и рассудок, когда-то изучивший действующие на ней законы — те же законы, что и на Земле, — теперь молчал глубоко внизу: он не смел мешать созерцанию <символа>.

Когда профессор сказал «довольно» еще раз, и гудение утихло, и он не спеша спустился по винтовой лестнице, — движения его были размеренны, как всегда, но лицо могло показаться асимметричным. Быть может, от складок около губ, еще хранивших боль щемящего сострадания, или от неподвижной и как бы двойственной мысли, светившейся на дне холодных серых глаз. И когда он пошел своей четкой поступью мимо редких затененных ламп — с каждым шагом окаменевали его черты, будто быстро замыкались одна за другой плотные металлические двери. И когда ассистент, отступив с дороги, пожелал профессору спокойной ночи — Адриан Владимирович приостановился и, внимательно взглянув на невысокий лоб молодого человека, пожал ему руку. Пожатие было крепким, но как бы механическим, рука же профессора — ледяной.

Глава сорок вторая
СОРВАННАЯ РЕПРОДУКЦИЯ

«Поверженный демон» Врубеля, Пятая симфония Шостаковича, храм Ивана Воина на Якиманке, «дом Нерензея», пугающая, чарующая, колдовская ночная Москва и вот перед нами еще один символ, звездный, — туманность Андромеды. В романе она появляется дважды: сначала Адриан видит ее в телескоп своей обсерватории, а затем она возникает у него на столе как букет прекрасной, свежей, обсыпанной крупными, сверкающими каплями росы сирени, тоже туманность, душистое облако цветов, похожих на созвездия. Букет стоит перед окном, которое выходит в глухую стену: протяни руку и коснешься, уткнешься, почувствуешь сырость и смрад. Вот и жизнь, как эта стена, глухая, непроницаемая, сырая, смрадная, похабная, безжалостная. И радуют в ней только цветы и звезды, две туманности Андромеды, символы блага, счастья, гармонии, любви и добра. Но цветы недолговечны, быстро осыпаются, чахнут и увядают, а звезды — там, далеко, в бездонном ночном небе…

Да, благо, счастье, гармония — в жизни они недостижимы, в жизни царствует зло, правит князь мира сего со своей темной свитой, полчищами демонов. Вот они вышагивают, гарцуют, дуют в трубы и горны. Неуязвимые, непобедимые, вечные.

Поэтому в сознании Адриана вызревает страшный — карамазовский (в духе Ивана) — замысел: раз Христос не сумел победить зло и оно вновь торжествует, значит, нужна новая жертва и эту жертву принесет он, Адриан. Он повторит подвиг Христа, добровольно примет смерть и воскреснет, чтобы весь мир привести к счастью и гармонии. В этом его долженствование, как он любил говорить, — то главное, что человек совершает в жизни. Сначала таким долженствованием была наука, затем любовь, и вот теперь настал срок третьего — последнего — долженствования.

Такова идея Адриана, центральная, стержневая для романа, вбирающая в себя все остальные: два не свершенных самоубийства (Олега и Жени) должны обрести новый смысл в третьем. Адриан не лжемессия как Саббатай Цви или Яков Франк: философские корни его идеи глубоко русские. Но он и не отпавший от Церкви хлыстовец, не старовер, не сектант: его отпадение другое, интеллигентское, индивидуалистическое. Адриан по — своему целен в своем индивидуализме: идея-то у него от разума, а натура страстная, при всей внешней холодности, сухости и надменности. И он хочет одним личным подвигом разрешить все, над чем бьются братья Саша и Олег, Леонид Федорович Глинский и его синее подполье.

При этом Адриан не осознает, какое сатанинское дерзновение скрывается за его намерением: встать даже не вровень, а выше Христа, выше Бога. Собственно, с этого началось падение Денницы, Люцифера, возгордившегося своим совершенством. Но Адриан оправдывает себя тем, что помышления у него самые добрые — избавить мир от зла, и лишь репродукция «Поверженного демона», висящая у него в комнате, перечит, опровергает, служит ему косвенным обвинением. Нет, неспроста он ее повесил и неспроста ею так дорожит. Меж ним и Люцифером есть некая тайная связь, словно вкрадчивый голос Денницы нашептывает ему: не Он, а Ты! Не Он, а Ты! Ты, Ты, Ты! Он не бросился вниз с крыши Иерусалимского храма, страшась искушения, а Ты бросишься, и ангелы подхватят Тебя. И Ты камни сделаешь хлебами, которыми накормишь весь мир…

Всю богоборческую сущность замысла Адриана разгадывает Ирина, его возлюбленная, преданная ему целиком, ему посвятившая всю жизнь. Не желая тревожить, ранить ее, Андриан поведал ей о своем дерзновенном замысле уклончиво, иносказательно. Но она сразу заподозрила неладное — ошибку, подмену. Однажды попыталась разузнать больше, допытаться, достучаться — Андриан сразу замкнулся в себе, стал холоден и сух. Она оставила эти попытки до следующего раза и, когда

выдался подходящий момент, вдруг неожиданно для самой себя спросила про… репродукцию. Почему у него висит эта репродукция? Как «почему»?! Просто ему нравится Врубель. А почему именно эта картина? Именно эта, «Поверженный демон»? Как-то не задумывался, повесил, и все. Может быть, для тебя это реликвия, почти икона? Вовсе нет, просто удивительное, необычное сочетание красок. Тогда можно я сниму ее? Пожалуйста, снимай. Только не подумай, что я тут у тебя хозяйничаю, навожу свои порядки, ладно? Для меня это важно. Пожалуйста, ради бога. Хозяйничай сколько хочешь. А ты меня потом не проклянешь? Обещаю, что не прокляну.

И, получив разрешение, Ирина с мстительным наслаждением сняла — сорвала, сдернула — со стены репродукцию. И воздух в комнате как-то обмяк, разрядился, словно в нем рассеялся сгусток какого-то напряжения. И — стало легче, свободнее, но — только на время. Главное испытание ожидало впереди, за поворотом дороги, по которой катит на своей машине…

Глава сорок третья
КЛИМЕНТОВСКИЙ

Большой, рыхлый, грузный, с ассирийской бородой и глазами навыкате. Бритоголов, как чеченец, складки кожи на затылке, но при этом — в украинской сорочке. Шумно сморкается в огромные клетчатые платки. Достает портсигар из глубокого кармана, но не курит, а лишь мнет в пальцах, обнюхивает со всех сторон папиросу и прячет обратно: курить запретили врачи, эти нудные ерундисты, крючкотворы, но приходится их слушать! Перед обедом с отвращением, но послушно пьет ессентуки. Начальственный, важный, сановная спесь из него так и прет. Садится в машину, как раньше садились в сани, запахивая медвежью полость. Машина у него служебная, со сборчатыми занавесками, кабинет, обшитый дубовыми планками, с портретом вождя, плотными портьерами, столами буквой «Т», кремового цвета телефоном правительственной связи («кремлевкой»), вышколенной секретаршей.

Словом, по всем признакам важная шишка, в высоких чинах, цекистый, по выражению лучшего и талантливейшего поэта, но при этом советскую власть ненавидит. Ненавидит люто, по — волчьи, но — тайно. Чтобы никто не выведал, не пронюхал, не догадался, чтобы комар носу, как говорится…

Таков Климентовский, персонаж, появляющийся в конце романа, в последних главах, посвященных Адриану. Этакий Мефистофель при Фаусте, он все устраивает, улаживает,

организует, а уж вы только, пожалуйста, идейку вашу осуществите…

Уж очень она ему нравится, идейка Адриана. Ну, просто он от нее в восторге, его аж распирает, весь сияет. Толкование идейки у него свое: под гармоничным устройством мира он понимает прежние порядки, на худой конец времена нэпа. И в целом все у него выглядит очень красиво. Этак, значит, взять себя добровольно порешить и — воскреснуть. Воскреснуть в уже изменившемся, обновленном, преображенном мире, где живут шикарной жизнью респектабельные господа в цилиндрах и фраках, а не эти в гимнастерках и портупеях, все же старое пусть провалится в тартарары. Вся эта совдепия — эфиопия, столы, накрытые сукном, парусиновые портфели, папки с приказами, пишущие машинки — ух, и в яму, в адскую воронку. Закружится каруселью, и нет его!

А он, Климентовский, есть! Респектабельный господин! Во фраке! Хорошо! Вот где воистину хорошо- то! Ведь он немного мистик, Климентовский. Поэтому не то чтобы верит в замысел Адриана, но у него разжигается воображение, кипит азарт — чем еще потешить себя в бедной совдепии — эфиопии. А то все расстреливают, расстреливают, в лагеря ссылают, тут же человек сам! Интересно!

К тому же по натуре он подстрекатель, Климентовский, подзуживатель — вот и ухватился за Адриана с его замыслом.

Ради этого замысла Климентовский увозит Адриана к себе на дачу в Медвежьи Ямы. Место тихое, уединенное, глухое, сплошные леса. Дятел стучит, кукушка годки накидывает, заяц ушами прядает, кабаны похрюкивают, повизгивают, землю роют. И ветер шумит в верхушках корабельных сосен: шу — у-у — у-у — у.

Ирина, конечно же, тоже едет, хотя Климентовский чувствует в ней некую помеху, опасается, как бы эта баба (так он про себя ее называет, но напоказ выказывает всяческое почтение, расшаркивается, ручки целует) все ему не сорвала, не вмешалась там, где не надо. Но Адриан поставил условие: вместе с Ириной, и точка, и Климентовский посетовал, посетовал да и смирился. В конце концов, бабу можно будет обезвредить, обесточить, изолировать (образован был по части электротехники, вообще технократ), отослать куда-нибудь. Или на худой конец припугнуть. Ведь там, в Медвежьих Ямах, нашел себе приют Венечка Лестовский, а он хоть и в тихом помешательстве пребывает, но кое-что порассказал ему об Ирине…

Ирина Климентовского боится и ненавидит. Этот человек делает все противоположное ее стремлению спасти Адриана,

заставить его отказаться от страшного замысла. Климентовский же всячески старается ее оттеснить, оттереть плечом, а сам не отходит от него, увивается вокруг, обволакивает лестью, твердит, что это подвиг, что он восхищен. И — подталкивает к гибели. И Адриан при всем своем уме, воле, трезвом рассудке странно зависит от этого ужасного человека, — зависит тем больше, чем настойчивее старается подчеркнуть свою независимость. Климентовский ему в этом, конечно, подпевает, подыгрывает на все лады. Вы такой волевой человек! Как можно оказывать на вас влияние! Все решения принимаете только вы сами! И если вы откажетесь от своих планов, никто не посмеет не то чтобы даже упрекнуть, а намекнуть, подмигнуть, напомнить… Вы, и только вы! Единственный! Несравненный!

И Адриана почему-то не коробит от этой трескотни, его не раздражают эти шутовские ужимки, и он не считает унижением своего достоинства вновь и вновь заверять Климентовского, что от своих планов не откажется и намекать, напоминать ему ни о чем не придется.

Свою независимость он по — настоящему оберегает только с ней, его верным другом, раня ее подчас своей холодностью и недоступностью, нанося незаслуженные обиды, а Климентовский заполучил над ним полную власть. Поэтому Ирина в смятении, она не знает, как быть, что предпринять, на что решиться, и накануне отъезда в Медвежьи Ямы встречается с Сашей и просит его о помощи. Да, он готов, но в чем? Что он должен сделать? Не оставлять сейчас брата, тайком приехать на дачу Климентовского. Саша соглашается, но так же, как когда-то в доме Глинских, до конца не понимает, что происходит, что задумал его брат, а Ирина сама не может ему объяснить. Она лишь снова и снова просит его приехать. Приехать!

Глава сорок четвертая
УБЕЖИЩЕ САШИ

Климентовский на своей машине увозит Адриана и Ирину в Медвежьи Ямы, а вслед за ними туда поездом отправляется Саша. Он сидит, ссутулившись, у окна, русоволосый, сероглазый, с характерной Горбовской косточкой, хрящинкой немного ястребиного носа — горбинкой, как они ее называют. Мимо пролетают платформы, шлагбаумы, поля, овраги, перелески, но он ничего не замечает, погруженный в свои мысли. Из сбивчивых объяснений Ирины Саша так ничего и не понял. Ее оборванные фразы, сцепленные пальцы (не то, не то!), постоянные упоминания Иисуса Христа и повторяемые, как заклинание,

возгласы, что это страшно, страшно, что Адриан себя этим погубит, лишь встревожили Сашу, вызвали в нем бурю смятения. Но что именно задумал его брат, для него остается загадкой. Саша с мучительным недоумением, невольным ужасом вновь и вновь спрашивает себя, как можно повторить подвиг Христа и какой в этом смысл.

Вообще, его не оставляет чувство растерянности перед происходящим. Ему кажется, что его несет стремительный водоворот событий, в которых он не может разобраться и поэтому мучается от сознания своей вины и неспособности помочь тем, кто нуждается в его помощи. Вот и сейчас он едет, а зачем едет, кому он действительно нужен и что его ждет там, в Медвежьих Ямах? На эти вопросы у него нет вразумительного ответа, и Саша лишь вновь и вновь вспоминает Трубчевск, столь же дорогой и желанный для него, как туманность Андромеды для Адриана.

Ирина рассказала ему, что на даче Климентовского живут, присматривают за домом лесник и его дочь. Кажется, ее зовут Марина, а их фамилия Муромцевы. Если Ирина их не предупредит, придется объясняться, выдумывать причину его появления, выкручиваться, лукавить, даже лгать. Фу, до чего неприятно! А как вести себя с самим Климентовским, если тот узнает, что у него на даче незваный гость? Да, незваный, который, как известно, хуже… Кроме того, там, в лесной глуши ютится этот несчастный Венечка, потерявший рассудок.

Зачем-то он понадобился хозяину, но зачем? Климентовский просто так ничего не делает, не та фигура…

Как говорит Ирина, прослышав о Венечке от Адриана, он наигранно всполошился, заговорил о жалости, о гуманности, о сострадании и во всеуслышание объявил, что забирает Венечку к себе, поручает его заботам лесника и дочери. Так Венечка оказался в Медвежьих Ямах. И здесь же рядом — Ирина, за которой он следил и из-за которой, собственно, рассудок у него и помутился. И здесь же — здесь же! — Адриан с его чудовищным, непостижимым замыслом. Подобралась компания! И вот теперь к этой странной компании должен присоединиться и он, Саша. Словом, завязался еще один узелок, что называется, и как-то он теперь развяжется?..

Разыскав дачу Климентовского, Саша постучал в глухую калитку, но на стук никто не ответил, и тогда он неохотно, даже несколько неприязненно, толкнул ее как человек, не слишком уверенный в своих действиях, но из-за чувства неловкости обвиняющий в этом не себя, а других. Калитка с протяжным скрипом открылась (хотя лучше бы она не открывалась), и Саше ничего не оставалось, как только войти. С тем же выражением

невольной неприязни на лице он осмотрелся: большой, добротный, бревенчатый двухэтажный дом с верандой и балконами, этакие лесные хоромы скрывались в зарослях акации и орешника, по — летнему зеленых, сквозящих на утреннем солнце (на земле пятнистые тени от листьев).

Саша крадучись двинулся по тропинке. В будке заворочалась, зазвенела цепью, заворчала собака: только этого не хватало! Заворчала — и залаяла бы, если бы на нее не прикрикнула девушка, стоявшая на крыльце сторожки. Саша только сейчас заметил ее, но она уже давно наблюдала за ним. Наблюдала и, несмотря на то что они не были знакомы, приветливо улыбалась. Да, улыбалась, как желанному гостю. Зва ному. По — северному голубоглазая (синька в глазах), белесая, с косами, загорелым лицом, одета она была просто, по — деревенски. Смотрела весело, по — доброму. Видно, мысленно присоединила его к тем гостям, которые прибыли накануне. Вот вместо татарина и получился он гостем званым.

Поздоровались. Кажется, вы Марина? Да, а откуда он знает? Вот тут-то можно было напустить туману, мол, о таких красавицах слухом земля полнится, но он не стал лукавить и честно поведал, что узнал имя от Ирины и приехал сюда по ее просьбе. Ах, стало быть, вы!.. Да, да, да! Оказывается, вся компания недавно отправилась гулять, они не успели далеко отойти, может быть, их догнать? Нет, нет, не надо, как бы вам объяснить… м — да… Он не хочет, чтобы его здесь видели. Во всяком случае, первое время. Такая ситуация, Марина, вы поймите, очень сложная. Его брат Адриан в опасности, и он должен его спасти. В нужное время прийти на помощь, а пока ему необходимо спрятаться, где-то отсидеться. Он отдает себе отчет, что все это звучит крайне невразумительно и может вызвать у нее подозрение (сейчас все у всех вызывает подозрение), но если она ему хотя бы чуть — чуть доверяет… Да, она полностью ему доверяет. Правда? К сожалению, большего он сказать не может. А ей и не требуется никаких слов. Она ему доверяет, и все. И раз ему нужно отсидеться, она спрячет его на сеновале.

Марина действительно спрятала Сашу на сеновале, где в углу были свалены грабли, висели какие-то сбруи, хомуты. Здесь вас никто не найдет! Саша провел в своем убежище несколько дней. Марина поднималась к нему по приставной лесенке: показывалась голова с венком из кос, покатые плечи, а в руках (как бы не выронить, не рассыпать!) — краюха хлеба, запеченное яблоко, миска с творогом, облитым медом.

Как она догадалась, что он любит творог с медом! Саша, конечно, набрасывался на еду (он был постоянно голоден), а

Марина рассказывала обо всем, что происходило на даче.

По ее словам, Климентовский вел себя как шумный, гостеприимный, хлебосольный хозяин, устраивал чаепития в саду, водил всех на пасеку, угощал медовухой, которую сам готовил по старинным рецептам, и при этом пристально, выжидающе следил за Ириной и Адрианом. Адриан был немногословен, задумчив и все усилия употреблял на то, чтобы исцелить Венечку от его недуга, вернуть ему рассудок, приобщая к земле, заставляя вскапывать гряды, полоть сорняки, косить траву в канаве за забором. Венечка всячески отбивался, старался вырваться, выл, даже пробовал кусаться, но Адриан не давал ему спуску, приговаривая, что труд на земле целительней и полезней мелкого шпионства. Ирине не нравилась эта возня Адриана с Венечкой, но она не вмешивалась, понимая, что близок час, что вскоре что-то должно решиться.

Все ждали ночи. Климентовский к этой ночи как- то по — особому готовился, словно именинник к своим именинам. Так и читалось на его лице: вам удавочку или пистолетик предпочитаете, желаете, так сказать, пиф — паф? Впрочем, нет — нет, мы вам ржавые гвоздочки приготовим, чтобы все было натурально.

Глава сорок пятая
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

И вот настала она, эта еще по — летнему теплая, даже душная, навалившаяся мороком осенняя ночь, последняя в романе. Над двускатной крышей дачи встала полная луна, залиловела, засеребрилась, засияла перламутром, высветлила все до складочки. И стихло все под луною: ни ветерка, ни шороха, ни звука. Ночное безмолвие.

Адриан был в комнате один. Он попросил всех на время его оставить, и из комнаты тяжелым шагом вышел Климентовский, а вслед за ним потянулась цепочка: Муромцевы, Ирина и — Саша, Саша! Да, для Адриана это было полной неожиданностью: брат по своей доброте и наивности примчался его спасать, несколько дней прятался на сеновале, а затем Марина привела его, растерянного, смущенного, за руку к ним. Ты не сердишься? Поистине если не моя милиция, то мой брат меня бережет! Как ты здесь очутился? Да вот так (мельком взгляд на Ирину)… решил быть рядом на всякий случай. Ты не сердишься? Ты уже спрашивал. Чувствую, тут какой-то сговор (тоже посмотрел на Ирину). Ну, раз решил — будь.

В разговор вмешался Климентовский, стал всех торопить,

выпроваживать, угодливо выполняя просьбу Адриана. Как вы не понимаете! Адриану Владимировичу надо побыть одному!

У Климентовского уже все готово для подвига, для свершения, для великой жертвы, для голгофы, как он выражается. Он ходит кругами возле двери в комнату Адриана, поглаживает ассирийскую бороду и потирает ручки (при большом росте ручки у него были маленькие и холеные, с перстнем на правом мизинце). И Адриану предстоит принять последнее реше ние. Его губы сжаты, лоб напряжен, на лице особенно резко выступают надбровные дуги.

Собственно, он его уже принял, это решение, — принял давно, но теперь ему хотелось (щелчок пальцами, помогающий схватить мысль)… дуновения, веяния, знака, взывающего к нему. Может быть, даже голоса Того, Чей подвиг он хотел повторить, хотя нет, Адриан не заслуживает услышать голос, он не святой, может заблуждаться, оступаться, падать, но должно же быть нечто, чему-то он должен повиноваться!

Ведь не Климентовскому же, потирающему ручки, и даже не Ирине! И Адриан в эти последние минуты молился: услышь, дай знать, отзовись! Он молился вслух, молился громко, во весь голос, и вдруг… услышал. Да, услышал. Сначала Адриан подумал, что ему лишь почудилось, что этого не может быть, что это слишком невероятно, но он услышал голос.

И стоявшие за дверью явно слышали два голоса, доносившиеся из комнаты, — голос Адриана, обращавшегося к кому-то в молитве, и второй голос, который говорил ему: нет!

Поседевший за эту ночь Адриан вышел из комнаты другим человеком: не мир преобразился благодаря его жертве, а преобразился он сам. Преобразился настолько, что теперь ему никто не был страшен, ни Климентовский, смотревший на него с бессильной яростью (он, конечно, все понял), ни все множество тех, кто при всем своем могуществе не обладал над ним никакой властью. Ему открылась вся пагубная подоплека овладевшего им замысла, все возможные последствия его осуществления, и он понял, перед какой страшной бездной стоял. Сознание этого пронзило его, как яркий небесный свет. Ночь кончилась, ночь помрачения Адриана, и вместе с этим в небе над Медвежьими Ямами засияла голубая утренняя звезда.

Но Адриану предстоит еще долгий путь искупления — его новое долженствование, истинное вместо ложного. Для этого он должен уйти ото всего, что было в прежней жизни: от науки, семьи, дома в Чистом переулке и даже — от любви. Что его ждет — скит, затворничество, — он еще сам не знает, но Адриан прощается с Ириной. И глядя на него, поседевшего, с бескровным,

словно испепеленным лицом, она понимает, что он прощается навсегда. Понимает это, чутьем угадывает и Марина Муромцева: во внезапном прозрении она кланяется Адриану до земли.

Так заканчивается роман. Все его герои проходят сложный путь исканий, срывов и ошибок, они от чего- то освобождаются, избавляются и что-то обретают на этом пути. Олег освобождается и от соблазна духовного самозванства, служения злу своим творчеством и от власти Имар, Адриан избавляется от гордыни богоборческого замысла, а Саша — обретает, он находит свое счастье в Марине, и отныне они становятся неразлучны. Климентовский же, убедившись, что вся его дьявольская игра проиграна, садится в машину, мчится куда-то и на глазах одинокого рыбака, сидящего с удочкой на берегу, завертевшись, закружившись вьюном, под визг тормозов срывается с моста в реку.

Он кончает с собой — вместо Адриана. Свершилось…

Читатель вправе спросить: как же оказалось возможным восстановить роман и насколько соответствует наша повесть о нем сожженному подлиннику? Частично мы уже пытались ответить на этот вопрос, приближаясь к нему с разных сторон, поворачивая его то так, то этак, и теперь остается лишь подвести итоги, обобщить все сказанное. Во — первых, сохранились отрывки из романа, восстановленные самим автором, и даже целиком первая глава. Во — вторых, я много слышал о романе от Аллы Александровны, а затем прочел ее подробный пересказ, опубликованный в собрании сочинений Даниила Андреева: в пересказе, что очень ценно, встречаются подлинные реплики персонажей. В — третьих, упоминания о романе есть в письмах Даниила Леонидовича, воспоминаниях о нем и даже в его заявлении на имя главного военного прокурора.

Словом, набирается не так уж мало — не горсточка, а целая горсть.

К тому же я расспрашивал о романе всех, с кем встречался во время моих странствий. По этим пересказам, упоминаниям, отдельным штрихам, репликам, деталям были угаданы общие закономерности построения романной формы, лепки характеров, описания внешности, взаимоотношений героев, психологических мотивировок их действий. Иными словами, полетели, полетели трассирующие огоньки, искорки, в причудливых зигзагах которых оживали, волшебно высвечивались контуры романа.

Да и творчество Даниила Андреева в целом многое подсказало. И книги вообще (понять литургическую идею Олега, к примеру, мне помогли «Литургические заметки» отца Сергия Желудкова)…

А самое главное, роман был не только написан, но и прожит автором, претворенный в его собственной судьбе и судьбе того круга людей, которые его читали и слушали.

Глава сорок шестая
НЕБЕСНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Итак, мы завершили обзор Романа и настала пора снова вернуться к Розе.

Что же такое «Роза Мира», о чем эта странная русская книга, какие дали познания она открывает, куда ведет и от чего уводит? — ответить на эти вопросы значит подвести черту, приблизиться к итогу, осмыслению всей жизни и творчества Даниила Андреева. Итогу — и потому что эта книга последняя, законченная незадолго до смерти, и потому что она потребовала слишком многого, определила судьбу и за нее заплачено жизнью. Тюрьма, напряженнейшая работа, подорвавшая и физические, и душевные силы, перенесенный в тюрьме инфаркт, который он в письмах, не желая тревожить близких, называл «гриппком», и ранний уход — вот истинная цена и «Розы Мира», и «Железной мистерии». Об этом мы не раз говорили с Аллой Александровной — ей это ясно, как никому другому: «Я думаю, что инфаркт, перенесенный им в 1954 году и приведший к ранней смерти (в 1959–м), был следствием этих состояний, был платой человеческой плоти за те знания, которые ему открылись».

Да, на ее глазах он прожил большую часть жизни, на ее руках умер и ей отдал завершенную рукопись: «хранить, пока жива». Ради чего, спрашивается?

Если это мученичество, то у него должна быть цель, а мы знаем, что в духовном смысле мученичество оправдано лишь одной, высшей целью — служением Богу, истине и ближнему своему. Так не будем же слепы и не побоимся увидеть в жизни этого человека пример такого служения. Да, он не святой, не подвижник, не преподобный Серафим Саровский, а московский поэт, литератор, интеллигент Даниил Ан дреев, арестованный, осужденный на двадцать пять лет (временная отмена смертного приговора спасла жизнь и ему, и Алле Александровне) и посаженный во Владимирскую тюрьму. Но — не побоимся, отважимся, дерзнем — вдруг не ошибемся? «Дух дышит, где хочет», — написано в Евангелии, и в каждую историческую эпоху, мы это тоже знаем, Дух заново формует Свое вместилище: покидая старые формы, обретает новые. И что, если на этот раз Его благодать снизошла не на завербованного НКВД священника, а на заключенного в тюрьму поэта?! Возможно ли такое?!

Возможно — если действительно не мы хотим, а Дух хочет…

К тому же под конец жизни Даниил Леонидович явно достиг той степени нравственной высоты, выверенное™ оценок, душевного очищения, которую сам же определил как праведность. Праведником считали его и те, кто близко знал…

«Смотри, Иов!» — говорит Бог, распахивая перед Иовом необозримые, скрытые от людского глаза миры и показывает ему таких чудовищ, как Бегемот и Левиафан. И не так ли сказано Даниилу: «Смотри!»? Сравнение с Иовом оправдано не только потому, что Иов страдалец, мученик, лишенный всего самого дорогого в жизни, сыновей и дочерей, и заключенный в узы страшной болезни — проказы, но и потому, что он не священник и не левит, не служит в скинии или храме и не тот, кто признан пророком, и в то же время ему — открыто… Именно ему.

Вот и Даниил Андреев не монах, принявший постриг по православному чину, не затворник в скиту и поэтому не тайнозритель, как на церковном языке именуется приобщение к высшим тайнам бытия и истории. И в то же время — тайнозритель, поскольку тоже при общен, хотя это приобщение требует какого-то иного, своего, особого языка и чина.

Всеми бесчисленными дорожками, тропинками, потайными ходами «Роза Мира» ведет к Христу, Сыну Божьему, Планетарному Логосу, Спасителю человечества. А уводит ото всего, что затемняет Его пре- светлый, солнечный Лик, от суеверий, предрассудков, человеческих заблуждений и духовного невежества. Ради этого и тюрьма была принята как пустынька, как уединенная келья, как затвор добровольный — с умиленной благодарностью судьбе. Ради этого же на тюремных нарах и переживались состояния высших прорывов психики, раскрытия духовного зрения и слуха, мысленного общения с теми, кто пребывает ныне в Небесной России: «К совершенно потрясающим переживаниям их реальной близости я почти не смею прикоснуться пером. Не смею назвать и имена их, но близость каждого из них окрашивалась в неповторимо индивидуальный тон чувств. Встречи случались и днем, в людной тюремной камере, и мне приходилось ложиться на койку, лицом к стене, чтобы скрыть поток слез захватывающего счастья. Близость одного из великих братьев вызывала усиленное биение сердца и трепет торжественного благоговения. Другого же мое существо приветствовало теплой, нежной любовью, как драгоценного друга, видящего насквозь мою душу и любящего ее и несущего мне прощение и утешение. Приближение третьего вызывало потребность склонить перед ним колени, как перед могучим, несравненно выше меня взошедшим, и близость его

сопровождалась строгим чувством и необычайной обостренностью внимания. Наконец, приближение четвертого вызывало ощущение ликующей радости — мировой радости — и слезы восторга. Во многом могу усомниться, ко многому во внутренней жизни отнестись с подозрением в его подлинности, но не к этим встречам».

В этом признании обнажается тайна «Розы Мира», ее непостижимая для нас основа, и перед нами словно раздвигается завеса, чуть — чуть приоткрывается дверь туда, куда имел доступ лишь он один. Нет, мы не войдем, остановимся на пороге, но его рассказ — достоверное свидетельство, отчет об уникальном опыте трансфизического познания. Были и другие — Сведенборг, Штайнер, Рерих, Блаватская, но они открывали другие двери, в эту же вошел лишь он один. Поэтому постараемся вникнуть, осознать его опыт, представить себе, как это было, ведь человек не только изведал пределы земного пространства, но и переступил их, поднявшись туда, где обитают не физические тела, а чистый дух, мысль, чувство, воля.

Вот и спросим его, видел ли… разговаривал… слышал? Спросим с затаенной надеждой, томительным предчувствием и желанием поверить, что это есть — не поэтический вымысел, не фантазия, не голос подсознания, а реальность. И поэтому его опыт распространяется и на нас, дарован нам как драгоценные крупинки знаний. И не счастливцы ли мы — ведь о том, что раньше хранилось в секретных кладовых эзотерических обществ и открывалось лишь избранным через ученичество и посвящение, мы можем просто прочесть в книге: «Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слухом. Как будто они говорили откуда-то из глубины моего сердца. Многие слова их, особенно новые для меня названия различных слоев Шаданака- ра и иерархий, я повторял перед ними, стараясь наиболее близко передать их звуками физической речи, и спрашивал: правильно ли? Некоторые из названий и имен приходилось уточнять по нескольку раз; есть и такие, более или менее точного отображения которых в наших звуках найти не удалось. Многие из этих нездешних слов, произнесенных великими братьями, сопровождались явлениями световыми, но это не был физический свет, хотя их и можно сравнить в одних случаях со вспышками молнии, в других с заревами, в третьих — с лунным сиянием. Иногда это были уже совсем не слова в нашем смысле, а как бы целые аккорды фонетических созвучий и значений. Такие слова перевести на наш язык было нельзя совсем, приходилось брать из всех значений — одно, из всех

согласованно звучащих слогов — один. Но беседы заключались не в отдельных словах, а в вопросах и ответах, в целых фразах, выражавших весьма сложные идеи. Такие фразы, не расчленяясь на слова, как бы вспыхивали, отпечатываясь на сером листе моего сознания, и озаряли необычайным светом то темное для меня и неясное, чего касался мой вопрос. Скорее даже это были не фразы, а чистые мысли, передававшиеся мне непосредственно, помимо слов».

«Помимо слов» — как тут не вспомнить изречение древнекитайского мудреца даосской школы Чжуан- цзы: «Где мне найти человека, забывшего слова, чтобы поговорить с ним?!» Может быть, и этот человек, встречи с которым так жаждал Чжуан — цзы, являлся оттуда, а его поиск был мистическим выходом в иное пространство, в сферу чистой мысли, воли и духа…

Встречи и беседы с великими братьями раскрыли перед автором «Розы Мира» величественную панораму иноматериальных слоев вселенной, обобщенно именующихся адом и раем. Над обобщенностью наших представлений Даниил Андреев добродушно иронизирует в последнем стихотворении четвертой главы «Русских богов»:

Эти миры — цепь вех Ввысь, сквозь эдем — эдем, Долженствованье всех, Благословенье всем!

Космос перед тобой Настежь. Так выбирай:

Где же, который слой Именовать нам Рай?

Итак, мы называем обобщенно, но тут, в «Розе Мира», каждый из слоев получил свое название и был описан с той же тщательностью, с какой первые путешественники и географы нашей планеты описывали новые земли (недаром в одном из писем он сам сравнивает себя с путешественником, вернувшимся из долгих странствий домой). И здесь, и там — земли под солнцем, но здесь это солнце физическое, а там духовное — Христос, Логос, ипостась единого Бога, как бы Его первое благое дыхание, согревающее будущий мир.

Значение «Розы Мира» и «Железной мистерии» именно в том, что в них показана небесная география со всеми материками, горными вершинами и заповедными странами. В них воссоздана картина мироздания — от последнего предела материи нашего физического слоя до тончайшей, светящейся, божественной материальности высших духовных миров, рассказано об их обитателях — ангелах и даймонах, — и о посмертной судьбе тех, кто был нам известен под именами великих подвижников Церкви, художников и творцов.

Но кто же эти духовные братья, невидимые собеседники автора «Розы Мира»? Вот и настало время задать этот вопрос — и

самому себе, и, главное, Алле Александровне, бессменной хранительнице тайн «Розы Мира». Впрочем, не буду напускать излишней таинственности, изображая Аллу Александровну этакой жрицей, мистическим оракулом, провозвестницей, всеведущей в духовных вопросах и отрешенной от житейской суеты. Повторяю, это простая, верующая, православная женщина, она часто бывает легкомысленной, наивной, даже вздорной (а может быть, я в этом ее опережаю), и наши беседы переходят в споры — о политике и президентах, о Рерихах и Блаватс- кой и обо всем на свете.

Но тут мне казалось, что уж она-то знает, и я долго выжидал удобного случая, чтобы спросить, — задать этот столь важный для меня вопрос. Вопрос запретный — да, я сознавал это, но удержаться было невозможно: мы, смертные, любопытны, а странствующие энтузиасты, любители всяческих загадок, тем более. И вот я долго выжидал, откладывал, оттягивал, а однажды, придя к Алле Александровне, все- таки спросил. И она чистосердечно призналась: «Не знаю». Даниил Леонидович сам об этом ей никогда не рассказывал, она же не имела склонности выспрашивать и допытываться. В своей книге «Плаванье к Небесному Кремлю» Алла Александровна объяснила это так: «Сейчас мне иногда задают вопрос, почему же я подробно не расспрашивала Даниила Андреева о том, откуда он получал сведения, какие у него были состояния, благодаря которым он писал «Розу Мира». А все очень просто. На всю жизнь с тех самых пор (со времен детства, чтения первых книг. — Л. Б.) я поняла, как трагически неправа была Эльза из «Лоэн- грина» как она потеряла любимого. И слова: «Ты все сомнения бросишь, ты никогда не спросишь, откуда прибыл я и как зовут меня» — выжжены в моей душе навсегда. Поэтому я не расспрашивала мужа о том, о чем не следовало. И это понимание родилось тогда, у той растрепанной девочки» (глава 7).

Не скрою, я был разочарован этим признанием Аллы Александровны: «Не знаю» — и в то же время вздохнул даже с некоторым облегчением. Значит, не судьба мне узнать — да и нужно ли узнавать! В таких вопросах праздному любопытству всегда положен предел — та черта, которую не переступишь, и нам с Аллой Александровной оставалось лишь обменяться некоторыми предположениями. Мою попытку протянуть ниточку от Даниила Андреева к Серафиму Саровскому Алла Александровна решительно отвергла, считая преподобного Серафима слишком высокой духовной инстанцией для того, чтобы являться Даниилу Андрееву и в эзотерическом общении открывать ему тайны иных миров. К тому же, согласно «Розе

Мира», Серафим Саровский из Небесной России поднялся уже в Синклит Мира, где пребывают величайшие из просветленных душ земли. Таким образом, по мнению Аллы Александровны, версия отпадает, хотя я не отбрасываю ее полностью. Как мы помним, с этим святым у Даниила Андреева связаны глубочайшие духовные переживания, и в тюремном дневнике мы находим обращенный к нему молитвенный призыв: «Отче Серафиме, открой мне духовные очи».

Мы уже говорили о том, что Даниил Аеонидович сам называет — и с гордостью! — своим духовным другом Блока, показывавшего ему Агр. В один ряд с Блоком можно поставить и Федора Достоевского, и Владимира Соловьева, и Пушкина, и Лермонтова, и Гоголя, и Толстого — писателей и философов, чей жизненный путь и посмертная судьба подробно описаны в «Розе Мира» и, таким образом, лично восприняты, прочувствованы и осмыслены на основе собственного духовного опыта. Это особенно заметно по главе о Блоке: Даниил Андреев не распознал бы глубинного, метафизического смысла его статьи о Со ловьеве «Рыцарь — монах», если бы сам не имел опыта мистических контактов с великим русским философом и духовидцем.

К тому же в тюремном дневнике, вслед за обращением к преподобному Серафиму, мы читаем: «Великие братья — Михаил, Николай и Федор, откройте мне духовный слух! Если правдой были слова, что «дверь уже не закрыта, а только приоткрыта: отчего же третий месяц очи не отверзаются? Великий брат Владимир. родной брат Александр, явитесь душе, дайте знак, дайте хоть какой-нибудь знак!» Это написано 7 февраля 1954 года, — написано в минуту сомнений, тревоги и отчаянья, когда связь с великими братьями временно прервалась. Можно предположить, что Михаил — это Лермонтов, Николай — Гоголь, Федор — Достоевский, Александр — Блок и Владимир — Соловьев. Таким образом, некая путеводная нить у нас есть, о чем-то мы догадываемся, но при этом вынуждены сказать: да, таковы предположения, только предположения. Фактов же быть не может, поскольку воля автора уберегла нас от них, не позволив праздному любопытству вторгнуться туда, где невозможно заимствование чужого опыта и приходится платить за крупицы духовных знаний.

Предполагать же мы вольны. И, помимо уже высказанных предположений, есть у меня и еще одно, не высказанное по той причине, что обнародовать его сейчас, в атмосфере удручающих церковных разногласий, отсутствия подлинной мистической основы внутренней жизни, политизации духовного мышления, грубого отрицания противоположных взглядов и заскорузлого

невежества, значит еще более отдалить нас от понимания «Розы Мира». Поэтому пытливым читателям «Розы Мира» предложу лишь задуматься над тем, что рассказано автором о его предыдущем воплощении и зашифровано в словах: «Кроме того, в Энрофе Индийский синклит обладает прочной опорой в лице некоего текучего коллектива людей, эпохально перемещающегося по некоторой географической кривой: до Второй мировой войны он находился на Памире, ныне в Южной Индии». «Некоего… некоторой…» — имеющий уши да слышит!

Глава сорок седьмая
СЕМЕЙНОЕ, ПИЛЬНЯКОВСКОЕ

Нам же предстоят еще встречи и путешествия — vu на этот раз снова московские, поскольку, освободившись из тюрьмы, Даниил Леонидович именно здесь провел последние «23 месяца бездомного скитания, которые оставались смертельно больному человеку до кончины», и здесь живут те, кто его знал и помнит. Этих людей я разыскал с помощью Аллы Александровны, и она же дала мне адреса квартир, по которым они скитались эти месяцы (23 — сосчитано ею). И вот я иду, странствующий энтузиаст, блаженный сопространственник, ведомый все тем же желанием приблизить к себе то время, заново обрести его и пережить. И пусть разбросанные по дальним углам кубики с цветными картинками, повинуясь некоей волшебной силе, вновь соберутся и станут сначала игрушечным домиком, выстроенным на ковре детской, а затем домом, в котором живут, читают книги, встречаются за большим обеденным столом, слушают бой старинных часов, раскладывают пасьянс, философствуют, спорят, мечтают.

Может быть, это дом в Малом Левшинском, а может быть, где-то еще — в Подсосенском переулке или в том, что выходит на Сретенку и именуется Ащеуловым, или в Измайлове, на острове, рядом с собором, или под Москвой, на хуторе Косинки, или в Щербинине под Тверью. Но там непременно присутствует один человек. Сначала это порывистый, непоседливый и в то же время воспитанный и церемонно вежливый мальчик, допекаемый педантичной гувернанткой, затем усердный гимназист с ранцем за спиной, затем школьник, хорошо успевающий по гуманитарным предметам и хватающий двойки по естественным. Затем это молодой человек, посещающий литературные курсы, затем вернувшийся с фронта солдат, затем освободившийся из заключения философ и духовидец Даниил Андреев. С ним-то и хочу соприкоснуться, как бы поймав некий эфирный дымок,

облачко, оставляемое чужой жизнью.

Чужой, но, если соприкоснулся, поймал, значит, и моей. Поэтому я так пытливо расспрашиваю о Данииле Андрееве, дорожа всеми деталями, штрихами, мелкими и незначительными подробностями, догадками и предположениями: для меня они в высшей мере важны и значительны — значительнее дат, фактов, имен, названий и строгой последовательности событий. Ведь я не дотошный и кропотливый биограф, завсегдатай библиотек и архивов, а свободный сочинитель, вернее, соединитель времени и пространства. И вот в пойманном облачке возникает…

…Доктор Филипп Александрович Добров, уставший от приема пациентов, прилег отдохнуть, положил под голову руку и держит перед глазами партитуру симфонии, читаемую так же непринужденно, с такой же сосредоточенной погруженностью в развитие музыкального действия и сменой различных вы ражений на лице, как читают книгу. Вот она, истинная, потомственная русская интеллигенция!.. Шести- или семилетний Даниил болтает по телефону с кем-то из взрослых, друзей Добровых, и, когда его спрашивают, кто звонил, отвечает многозначительно, с полным сознанием равных со всеми прав: «Одна моя знакомая…» Летом в деревне гувернантка укладывает его спать, а он упрямствует, не соглашается, отбивается руками и ногами, и из-за перегородки слышится: «Ухожу, делай что хочешь!»… Поссорился с девочками, дачными подругами, и, назначая наказание себе и им — не разговаривать! — резким голосом устанавливает срок: «Три дня!»…

Об этом и о многом другом мне рассказывает Ирина Николаевна Угримова, сухопарая, седая, прямо сидящая в кресле, — свидетельница детских и юношеских лет Даниила. От нее я узнаю, что дочь Добровых Шура, жена знакомого нам поэта и переводчика Коваленского, одной из первых в Москве научилась танцевать танго, что отец Ирины Николаевны, игравший в четыре руки на фортепиано с доктором Добровым, в свое время отказался от портфеля министра юстиции во Временном правительстве. Сама же Ирина Николаевна провела шесть лет в лагерях (вместе с известной поэтессой Барковой): арестовали за слишком долгое пребывание за границей. Засиделась, привыкла к нормальной жизни и этим стала опасна. Не наша!

Словом, подробности, штрихи, детали, и в этих деталях — история, судьба, жизнь…

Вскоре после встречи с Ириной Николаевной я познакомился с Борисом Владимировичем Чуковым, автором замечательных воспоминаний о Данииле Андрееве, человеком подвижным,

беспокойным, неуемным, задиристым, едким и в то же время мягким и добрым. Да и странно сказать — познакомился, пос кольку я его до этого много раз видел и сразу же узнал по характерной бородке, румяным щекам, порывистым жестам. Как выяснилось, мы уже были знакомы, поскольку оба занимались Востоком, частенько сталкивались в коридорах академических институтов, выступали на конференциях и, таким образом, принадлежали к одному и тому же кругу, ученому миру. Но я тогда и не подозревал, что у Бориса Владимировича такое прошлое: арест по политической статье, суд и тюрьма, правда уже не в сталинские, а в более поздние пятидесятые годы.

Судьба свела его с Даниилом Леонидовичем: «…мне хорошо запомнилась его привычка бодрствовать до рассвета, отчасти благоприобретенная еще в довоенные годы в результате невозможности творческой работы в условиях коммунальной квартиры, а отчасти унаследованная от отца, писателя Леонида Андреева, который, как известно, много работал по ночам. За время ночных бесед Андреев успел многое порассказать мне о своей жизни». Эти ночные рассказы и просты, и трагичны, и затаенно грустны, и ошеломляюще откровенны, и до слез пронзительны в обнаженной правдивости. «Как-то его поместили в карцер: каменный ледяной мешок, сантиметров на 20–30 наполненный водой. Между карнизами, выступавшими у подножия двух противоположных стен, переброшена неширокая доска. На этой прогибающейся доске, без сна, чтобы не свалиться в воду, и сидел раздетый донага поэт».

Как тут не вспомнить наполовину грустное, наполовину шутливое признание Даниила Андреева, которым он однажды, уже после освобождения, поделился с женой: «Знаешь, носовые платки — великая вещь! Если один подстелить под себя, а другой — сверху, кажется, что не так холодно»!

Иногда рассказы Бориса Владимировича перекликаются с тем, что я слышал от Анатолия Протасьеви- ча и Аидии Протасьевны, брянских знакомых Даниила Андреева, например о его любви ходить босиком: «Босиком ходил и в тюрьме, несмотря на запреты тюремного начальства. И даже зимой на прогулку не надевал никакой обуви, не испытывая неудобств ни от снега, ни от ледяного камня. Его пример был настолько заразителен, что сокамерники один за другим принимались ходить босиком, а это уже расценивалось тюремной администрацией как прямой вызов власти. Длительный конфликт кончился соглашением: разрешено ходить босиком было только Андрееву и категорически запрещено всем остальным». Практические рекомендации по хождению босиком имели глубокое теоретическое обоснование:

«Так Андреев учил, что из лона Геи — земли сквозь босые подошвы вливаются в человека могучие психофизические силы».

Борис Владимирович бывал у Даниила Андреева и после освобождения, фотографировал его, больного, обложенного подушками (он едва выносил свет софитов), в последней квартире на Ленинском проспекте. Показывал мне его очки в простом матерчатом футляре, отпечатанное на машинке письмо…

Он же дал мне телефон Ирины Владимировны Во- гау, двоюродной сестры Бориса Пильняка (Пильняк — литературный псевдоним Бориса Вогау), состоявшей в дальнем родстве и с семьей Андреевых и, конечно, сохранившей воспоминания о Даниле Леонидовиче. Правда, Борис Владимирович предупредил, что ей уже много лет, что она одинока, больна, с трудом передвигается по квартире и дозвониться до нее очень трудно: подолгу не берет трубку. Но это меня не остановило, и я все-таки дозвонился. Дозвонился и услышал в трубке странно певучий, блаженный, детский голос человека, словно уже отрешившегося, отпавшего, освободившегося ото всего земного и пребывающего в небесном покое, довольстве и безмятежности.

Затем этот голос совпал с маленькой, птичьей фигуркой женщины со слегка повернутой набок головкой, всклокоченными седыми волосами, болезненно свежим румянцем на щеках, в круглых — пильняков- ских! — очках. Несмотря на летнюю жару, она была в старом, изъеденном молью зимнем пальто, накинутом на плечи не для того, чтобы выставить напоказ свою бедность, разжалобить и вызвать сочувствие. Нет, скорее для того, чтобы эту бедность скрыть, утаить, замаскировать: вся остальная одежда на ней по своей ветхости как бы на глазах истончалась, истлевала, распадалась. И одежда, и, главное, само время, эпоха, когда она была куплена, одевалась и носилась. Я понял, что передо мной человек из прошлого, тень минувших лет, что здесь и сейчас у него жизни нет, — не то чтобы друзей и близких, а нет самой жизни.

Точнее, жизни, общей с другими, но есть своя, уединенная, тайная, странная для окружающих — жизнь- воспоминание, жизнь — сновидение, жизнь — мечта. Может быть, я преувеличиваю, может быть, преуменьшаю — судить трудно. Да я и не берусь судить и, собственно, мог бы промолчать, если бы впервые столкнулся с такой картиной, но в том-то и дело, что подобную картину я видел много раз — так и висит перед глазами, угловатая, неуклюжая, в рассохшейся раме, на ворсистой бечеве, картина, именуемая жизнью. И поскольку от намалеванного на холсте чудовища не убежишь, не спрячешься, не затаишься за портьерой, то и выходит: жизнь у нас к старикам

особенно безжалостна и жестока. И вместо того чтобы радовать глаз ухоженными кустами роз, подстриженными изумрудными газонами, посыпанными гравием тропинками и уютными, увитыми плющом и диким виноградом беседками с плетеными креслами, старость зияет, как пролом в стене, как провал, как мусорная свалка посреди проходного двора…

Некое стыдливое чувство — боязнь, что у нее не убрано, — не позволило Ирине Владимировне пустить меня дальше крошечной прихожей, и мы беседовали возле самой двери, притулившись на приступочке, в уголочке. Своим странно певучим голосом собеседница рассказывала мне о старых малолевшинских домах («Фасад как будто одноэтажный, а с тыльной стороны антресоли — этажочки такие»), о семье Добровых (строгое требование — делать ударение на втором слоге), о докторе Филиппе Александровиче, о Коваленском и его жене Шуре. Рассказывала о приживалке Феклуше и о самом Данииле — каким он был в юности. Каждый персонаж приобретал в ее изображении удивительно зримые и выпуклые черты благодаря тому, что Ирина Владимировна умела подобрать словечко, крепкое, просторечное, с перцем: сказывалось нечто семейное, наследственное, пильняковское, общее с двоюродным братом.

К примеру, о преобладании у обитателей дома имени Александр (Филипп Александрович, Александра Михайловна, Александра Филипповна, Александр Викторович) она выразилась так: «В доме была сплошная Александрия». Об оппозиционных нравах в семье: «Старики не больно вякали, помалкивали, а молодые высказывались — это их и погубило. Всех подмели». Запомнившиеся примеры того, как Александра Филипповна «любила слова коверкать»: «Вместо Ойс- трах — ой, страх! Вместо Даниил Шафран (известный в те годы виолончелист. — Л. Б.) — а Даниил-то не шафран!» А вот не слишком лестное по поводу Филиппа Александровича: «Его спрашивают, какой у него камень в перстне. Он в ответ: «Замороженная сопля»» Или, скажем, весьма едкая характеристика Александра Викторовича Коваленского: «Если подадут какое- нибудь кушанье, к себе придвинет и сразу лопает». О некоей симпатии, неофициальной жене Даниила Андреева: «…дама, которая соревновалась с Аллочкой» (понятно — с Аллой Александровной). О самом Данииле Леонидовиче — каким его воспринимала тогда: «…на Пастернака маленько похож».

Саму Ирину Владимировну не арестовывали, не ссылали, и она как бы принадлежала к той части общества, которая из страха за свое благополучие верила или заставляла себя верить… И тут я должен привести обрывок стихотвореньица, характерные для

тридцатых — сороковых годов неполные две строчки, сохранившиеся в ее памяти: «Если дядя взят//, Так и надо: дядя гад». Повторяю, не арестовывали, не ссылали, но время расправилось и с ней жестоко, заставив поверить в «если». Или если не поверить, то хотя бы допустить мысль. Поэтому она как бы оправдывает то время, сравнивая его с нынешним: «Мятеж есть мятеж. Сейчас тоже круши — ломай, только наоборот».

К концу беседы Ирина Владимировна слегка привыкла к моему обществу, освободилась от излишних церемоний и в знак расположения ко мне решила познакомить меня… со своими котами. Мы оба встали с приступок, и она открыла дверь кухни, где были заперты ее любимцы, весьма ухоженные, упитанные и даже лоснящиеся — предмет ее неустанной заботы. Коты меня обнюхали, а один даже вспрыгнул ко мне на руки, выгнул спину и утробно заурчал от почесывания у него за ухом. После этого хозяйка и вовсе растрогалась, прониклась ко мне еще большим доверием и показала свою самую заветную драгоценность — засохшую, порыжелую и наполовину осы павшуюся еловую ветку с двумя — тремя новогодними игрушками, прибитую к стене в коридоре. «Вам нравится? Это у меня с позапрошлого года…» — сказала она, как бы делясь со мной секретом не столько новогоднего, сколько некоего странного, нездешнего и нескончаемого праздника, отзвуки которого все слышнее для нее с годами…

Глава сорок восьмая
ДОМИК В ИЗМАЙЛОВЕ. ДОКТОР ШТАЙНЕР

Светом этого праздника тайно озарена и жизнь Валентины Леонидовны Миндовской, художницы, участницы многих выставок, автора удивительных работ из сосновой коры, морских ракушек и лесных кореньев, друга юности Даниила и свидетеля его самых ранних, детских лет, когда они, по ее собственному выражению, «друг за другом гуськом ходили». Лето проводили вместе на подмосковном хуторе Осинки, а поскольку семьи тесно сблизились и сдружились, то зимой встречались и в Москве, в нетопленых, холодных и безбытных послереволюционных квартирах. Бегали, стуча башмаками по полу, прятались по углам, забирались на шкафы (при этом Даниил с сомнением спрашивал: «Я-то влезу, я мальчик, а вы?») и, закутанные в шубы, с огарком свечи в руке, упоенно листали на кухне свои первые книги.

Валентине Леонидовне Даниил Андреев читал роман «Странники ночи», новые, недавно оконченные главы. С Ленинградского фронта чуть ли не каждый день писал ей письма

— исповеди, после войны вместе с Аллой Александровной жил у нее в двухэтажном деревянном, скрипучем домишке на Измайловском острове, рядом с высокой лиственницей и древним собором. Поэтому Валентина Леонидовна для меня свидетель бесценный — тем более что и память у нее острая, и глаз, как у художника, приметливый, цепкий. И, главное, весь ее облик — худое, морщинистое, но до сих пор красивое лицо с широко раскрытыми глазами, седые волосы, собранные в высокую прическу и заколотые шпильками, аскетически длинные и худые руки — пронизан светом доброты, всепрощения и любви к людям. Ни на кого не сердится, никого не упрекает — даже зятя, из-за которого кипятком обварила руку (хоть и плохой человек: толкнул ее в коридоре, но, боясь обварить его, вылила кипяток на себя) и который не позволяет лишний раз выйти из комнаты и грозится выбросить ее, ненавистную, в окно.

И вот мы беседуем у Валентины Леонидовны в комнате, среди книг, фотографий, акварелей и множества причудливых, фантастических фигурок — зверей, птиц, леших, водяных, лесных кикимор, но не страшных, не злых, а таких же простодушных и добрых, как и сама хозяйка. Разглядывая их, я вспоминаю то, что написано в «Розе Мира» о творчестве как об универсальном жизненном начале, одном из способов духовного бытия человека: «…творчество, как и любовь, не есть исключительный дар, ведомый лишь избранникам. Избранникам ведомы праведность и святость, героизм и мудрость, гениальность и талант. Но это — лишь раскрытие потенций, заложенных в каждой душе. Пучины любви, неиссякаемые родники творчества кипят за порогом сознания каждого из нас. Религия итога будет стремиться разрушить эту преграду, дать пробиться живым водам сюда, в жизнь. В поколениях, ею воспитанных, раскроется творческое отношение ко всему, и самый труд станет не обузой, но проявле нием неутолимой жажды создавать новое, создавать лучшее, творить свое. Все последователи Розы Мира будут наслаждаться творческим, трудом, обучая этой радости детей и юношество. Творить во всем: в слове и в градостроительстве, в точных науках и в садоводстве, в украшении жизни и в ее умягчении, в богослужении и в искусстве мистериалов, в любви мужчины и женщины, в пестовании детей, в развитии человеческого тела и в танце, в просветлении природы и в игре».

В этих рассуждениях многое могли почерпнуть для себя и создатель причудливых фигурок Валентина Леонидовна Миндовская, и непримиримый противник гениев и шедевров, идеолог самодеятельного творчества, великий певец и неподражаемый живописец Трубчевска Анатолий Протасьевич

Левенок. Недаром такие люди и окружали Даниила Леонидовича — художники не только на полотне, но и в душе, сочинители в мечтах и на бумаге, неутомимые соединители творчества и жизни.

Мне понравились, приглянулись и запомнились многие из фигурок Валентины Леонидовны, но поразила одна, не из ряда причудливо — фантастичных, а как бы особая, отдельная, ни с чем не сравнимая. И поразила неким совпадением, сращением, внутренней связью с «Розой Мира» — в очертаниях сосновой коры по воле художника таинственно возникал идущий Христос… Христос, потому-то и явивший Себя в дереве, что шествие Его — к Кресту, к двум соединенным кускам дерева, Древа, на Голгофу… Валентина Леонидовна явно сомневалась в своей работе, с опасением спрашивала себя: имела ли она право? Но это словно бы и не она, а некто помимо нее вложил в природу образ, распознанный ею и извлеченный наружу, распознавать же истинное, освобождая его от налета ложного и привнесенного извне, «стирая случайные черты», высшее право и долг художника…

Записывал ли я воспоминания Валентины Леонидовны? Да, исписал полблокнота и убедился в том, что привести их здесь не смогу: это эфирное облачко не поймаешь, проплыло — и исчезло. Вот они были, эти воспоминания, человек рассказал — и заново их не перескажешь, до печатной страницы не донесешь, потому что и жизнь была — именно жизнь, а не факты, не события, не даты. Воспоминания Валентины Леонидовны — это повесть, только не написанная, с доносящимися из прошлого голосами людей, утренним солнцем, сквозящим в резных перилах балкона, запахами свежего сена, придорожной пыли, простроченной дождевой капелью, остро и обморочно сладких лесных ландышей, дымка от самовара и многого другого, чем жили — и на хуторе Осинки, и в старой Москве, и в тогдашнем Измайлове. Поэтому не написанная — пусть такой и останется, я же лишь мысленно, в воображении, перелистаю несколько страничек…

Вот страничка из детства, овеянная ранним чувством сиротства. Даниил и Валентина в очередной раз забрались на шкаф, тихонько разговаривают, философствуют, обмениваются суждениями по самым разным поводам. Даниил спрашивает: «У меня, например, мамы нет — у меня бабушка, а у вас кто?»…

Вот странички, описывающие безмятежную жизнь на хуторе… Весь день копали картошку, возили сено, рыхлили, пололи — все руки в земле — и теперь отдыхают на пороге сарайчика. Вечереет. В полях — разлитый густым молоком туман, на небе — сияющие звезды. Рассуждают об устройстве вселенной, и Даниил горячо

доказывает: «Звезды — это миры. Такие же, как наш, и там тоже люди…» Увлечены астро номией и химией: до поздней ночи рассматривают в телескоп луну, и в лунном сиянии холодновато мерцают химические склянки… Пасут коров, топят русскую печь, спят под навесом на душистом сене, запрягают в телегу Голубку. Колеса увязнут — Голубка встанет. Даниил вздыхает и, подвернув штанины, первым лезет в грязь — помогать Голубке, а затем идет рядом с телегой: «Сами же говорили, что ей тяжело!»…

Гимназия Рэпман рядом с домом Гоголя на Никитском бульваре, преподавательница Вера Федоровна Ваксина, в длинной юбке, наглухо застегнутой блузке, стриженная под гребенку… Двери классных комнат… Есть предметы любимые и есть нелюбимые… Накануне экзаменов: «Математику не сдам ни за что! Я ее прошел, и все!»… Все знают, что у Даниила отец писатель и постоянно спрашивают: «Когда же и вы что-нибудь стоящее напишете?» …Нелли, дочка хозяев хутора, вечно влюблена в кого-нибудь, а Даниил вот уже целый год влюблен в Нелли… На концерте в Большом зале консерватории: «Куда девать калоши?» — «Берите с собой». Заворачивает и несет под мышкой…

Александр Викторович Коваленский, слегка позируя, читает стихи для избранного круга своих почитателей, и всякий раз во время чтения в камине зловеще вспыхивает и трещит огонь. Присутствующие поражены: считают это мистическим знаком, и лишь случайно выясняется, что Шура, жена Коваленского, незаметно подбрасывает в камин щепотками соль.

Перед войной Даниил для заработка пишет плакаты: «Да здравствует… вечное единение…» Устроиться ему помогла Валентина — она же принимает работу. И вот уже подступают сроки, она спешит за заказом, а «Данечка раскачивается на задних ножках стула и болтает о пустяках». Работа, разумеется, еще не кончена — если вообще когда-нибудь начиналась. Но что там да здравствует и чему суждено вечное единение, ей так и не доведется узнать: стул теряет равновесие, Даниил, взмахнув руками, падает на пол, и краска выплескивается на плакат…

После войны Даниил Леонидович и Алла Александровна гостят в Измайлове, сначала на втором, а затем на первом этаже деревянного домика с балконом (у Валентины Леонидовны сохранилась на стене акварелька). Ему, подорвавшему на фронте здоровье, все труднее подниматься по лестнице, но даже в постели он работает, — держа на груди машинку, печатает роман «Странники ночи». По соседству обитают московские знакомые, Екатерина Алексеевна Бальмонт, вдова известного поэта, и Ольга Николаевна Анненкова. Екатерина Алексеевна полная, высокая,

осанистая, по всем статьям московская барыня, Ольга Николаевна, напротив, маленькая, сухонькая, с резкими жестами, с энергичной мужской походкой. Гуляет по Измайлову, размахивая перед собой клюшкой, разгоняет чужие ауры…

Домик в Измайлове давно снесли, но место я отыскал, а над ним словно бы вновь обозначились распавшиеся ауры, отсветы, отзвуки прежней жизни. И в воображении ожили, воскресли: стук машинки на первом этаже, на втором — звуки рояля (едва затащили и постоянно боялись, что под таким грузом провалится подгнивший пол), запах краски по всему дому, подрамники, холсты и в клетках белые мыши, которых хозяйка разводит для заработка.

Часто захаживают Екатерина Алексеевна и Ольга Николаевна — чаевничают, беседуют на теософские темы, приносят тоненькие книжечки в бумажных обложках, сочинения Рудольфа Штайнера, своего кумира и учителя, предлагают прочесть воспоминания о нем Андрея Белого (и Даниил Леонидович вместе с

Аллой Александровной их читают), но обратить Даниила Леонидовича в теософскую или антропософскую веру им так и не удается. Он терпеливо слушает, с чем-то соглашается, но в целом остается безучастен. От Рудольфа Штайнера его отдаляет прежде всего то, что Штайнер не поэт, что о потусторонних мирах он рассказывает сухим научным языком, что он во всех смыслах — доктор. Позднее Алла Александровна напишет мужу в тюрьму: «Помнишь, когда мы читали о нем, осталось впечатление, что это был человек огромных духовных возможностей, проходивший очень близко от самых глубоких и подлинных вещей, но, в силу желания слишком рано конкретизировать и переводить на человеческий язык иного плана понятия, запутавшийся среди ряда подмен и невольных обманов. Не помню, был ли это наш с тобой вывод или это сформулировалось позже, когда я думала об этом одна». И далее о своих опасениях, высказывавшихся и ранее: «Чего-то в таком роде я боюсь для тебя. И ты не думай, что ты все говоришь, а я не слышу. Я слышу, но боюсь поверить. И потому мне и пришел в голову Штайнер, что там так часто переплетаются подлинное интуитивное ощущение и незаконная конкретизация» (письмо 34). На это Даниил Леонидович ответит: «О Штайнере ты судишь чрезвычайно умно. И вполне понимаю твои опасения. Не спорю, что основания у тебя есть, в особенности пока ты вдали и так мало знаешь. Разница, между прочим, и в том, что Штайнер — не только не поэт, но он резко антипоэти- чен. Это — различие колоссальное, очень многое определяющее» (письмо 37).

В теософии и антропософии есть многое — и тайные знания, и эзотерический опыт, и философская глубина, и мистический

порыв к неведомому. И лишь одному они не научат — живой любви к Богу и ближнему, покаянию и молитве, сердечной теплоте и очистительным слезам. «…Даждь ми слезы, и память смертную, и умиление», — просит в молитве Иоанн Златоуст и вслед за ним весь христианский, православный мир. Теософия не даст. В тайной чаше знаний, которую она хранит, нет ни капли живой Христовой крови, пролитой на Голгофе. И прозрения теософские не оплачены допросами, пытками, заключением в тюремный карцер с покрытыми инеем стенами и перекинутой через ледяную воду доской и преждевременной смертью.

Вот почему для теософов «нет религии выше истины», а для Даниила Андреева нет истины выше Христа, и о Штайнере он потом напишет в черновых тетрадях: «Несчастный путаник — наконец добрался до Олирны. Падал в магмы: самозванство и совращение с пути тысяч душ. Он был добр, и это сократило муки». Добрался до Олирны… падал в магмы… Значит, удалось Даниилу Андрееву заглянуть в посмер- тие дорнахского антропософа и воочию убедиться в том, что от адских мук его спасли не оккультные знания, не лекции, не книги, не преданные ученики, не строительство Гётеанума, антропософского храма, а доброта и человечность — их-то мы и кладем на весы Того, кто творит последний и самый высший Суд.

Глава сорок девятая
МАХАТМЫ. ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА

В черновых тетрадях есть отзыв и о Блаватской, в (котором перечислены составляющие ее духовного опыта: очень смутное предчувствие Розы Мира, гипноз некоторых низших форм индийской философии и влияние всевозможной бесовщины — от Дуггура до Цебрумра. О посмертии ничего не сказано, значит, потусторонней встречи не было и особой, эзотерической информации не получено. Но неким внутренним чутьем распознано и метафизическим анализом подтверждено, что в учении Блаватской были и светлые, и темные стороны — так же, как и в творчестве Блока или Скрябина, подробно рассмотренном в «Розе Мира».

И тот, и другой — художники, гениальные творцы, существа с тончайшей нервной организацией, обостренно восприимчивые к потаенным вибрациям духовной сферы, но в получаемом ими потоке инспирации они подчас не различали некоей ядовитой примеси, сладкой отравы, удушливого дурмана, восходившего колеблющимися струйками из глубины тех инфернальных слоев, обитатели которых питаются излучениями человеческой похоти.

Отсюда чувство некоей странной опустошенности, потерянности, гнетущей подавленности, вызываемое волевыми призывами «Поэмы экстаза», влекущими безднами «Незнакомки» и — следует добавить — мистическими чарами «Тайной доктрины». Какой же вывод — отвергнуть, предать анафеме, заклеймить? Нет, это противоречило бы самому духу Розы Мира, учения о преображенной духовности будущего. И поэтому вывод в том, чтобы осознать сложность духовных явлений и не резать живую ткань, а расслаивать тонким скальпелем, отделяя светлое от темного, истинное от ложного, живое от мертвого…

После бесед с Валентиной Леонидовной Миндов- ской и поисков в Измайлове я созвонился с Риной Григорьевной Межебовской, некогда жившей в Малом Левшинском, в одной квартире с Даниилом Анд реевым, за соседней дверью (семью Добровых — как это называлось тогда — уплотнили). Мы долго говорили по телефону. Я расспрашивал ее о дне ареста — как приехали, постучали, вломились, затопали сапогами… как распахивали двери комнат и заглядывали за перегородки… как вскрикнула Шура, жена Коваленского… как Аллу Александровну, бледную, испуганную, ошеломленную, под конвоем вели в туалет.]А особенно поразила деталь: на конвоирах были фуражки козырьками назад. Как у блатных, как у шпа- яы… И сплевывали они длинно, смачно, сквозь зубы углом рта…

Был у меня в блокноте и еще один телефон, по которому я долго не мог дозвониться, — телефон Аллы Давыдовны Смирновой, чей родной дядя, некогда работавший в Швеции с Коллонтай, сидел во Владимирской тюрьме вместе с Даниилом Андреевым. Сама же Алла Давыдовна дружила с Андреевыми, и после освобождения Даниила Леонидовича они с теткой приютили их у себя в Вишенках, деревушке неподалеку от Поленова, поскольку Андреев еще не был реабилитирован и не имел права жить в Москве. В книге Аллы Александровны об этом рассказывается: «С Аллочкой мы поехали весной 57–го в ее родную деревню. 1Из этой деревни была ее мать, и там еще жили тетя хл другие родственники. Одно название деревни звучит так, что хочется туда поехать, — Вишенки. Это за Серпуховом, по ту сторону реки».

Позднее — когда право было получено — Алла Давыдовна бывала у Андреевых и в Ащеуловом переулке, и на Ленинском проспекте, дарила им кни- 1ГИ, привозила сумки с едой (Даниил Леонидович уже те встает, а Алла Александровна неотлучно при нем), участвовала в разговорах. Говорю, участвовала из-за некоей особой деликатности, даже стеснительности

Аллы Давыдовны, не позволяющей ей приравнивать себя к

тем, кого она считает гораздо талантливее, умнее и образованнее, хотя благодаря знакомству с одним из московских профессоров, обладателем огромной эзотерической библиотеки, сама еще в те годы перечитала множество редких мистических, теософских книг.

Одним словом, Алла Давыдовна многое могла бы рассказать, и вот никак не дозвониться: то ли уехала, то ли телефон неисправен. Я уж и надежду потерял, с головой погрузился в работу над рукописью, которую готовил для журнала (она вышла в 1994 году) и, лишь дойдя до этого места, встал из-за машинки и решил попробовать в последний раз. Набираю номер… долгие гудки… и вдруг берут трубку…

Из рассказов Аллы Давыдовны запомнилось: после прогулки в Вишенках отдыхают на лавочке и беседуют об эпохе Возрождения. Как всегда бывает в таких случаях, эпоху, или, вернее, восприятие этой эпохи, хочется приблизить, перенести в настоящее, распространить на окружающих тебя людей, пейзажи и предметы, и вот Даниил Леонидович говорит, что у Аллы Давыдовны лицо человека Возрождения. В ответ на это она надевает ему венок из кленовых листьев, сплетенный во время прогулки: в профиль вылитый Дант! Многие и раньше улавливали это сходство, но с венком оно стало еще заметнее (в книге Аллы Алек- сандровеы этот эпизод изложен несколько иначе)…

Зимний вечер в Ащеуловом переулке, в окнах светятся оранжевые абажуры с бахромой, а во дворе темно — лишь смутно белеют сугробы, и мерцают под луной свисающие с крыш сосульки: Сретенка конца пятидесятых. Даниил Леонидович в сопровождении Аллы Давыдовны выходит из дома и, убедившись, что их никто не видит, снимает ботинки и, верный сво ей привычке, с наслаждением ступает босыми ногами на снег…

Кузнецкий Мост. Алла Давыдовна спешит на спектакль в филиал Большого театра, но ее останавливает постовой милиционер: перешла дорогу в неположенном месте. Она старается убедить его, что все тут переходят, но постовой неумолим: «Ваши документы». Паспорта с собой, разумеется, нет. «Пройдемте!» — «Но я же спешу на спектакль!» — «Пройдемте, пройдемте!» На попутной машине (ох, не случайно она появилась!) Аллу Давыдовну увозят в отделение милиции, где происходит долгое, странное и явно на что-то нацеленное разбирательство, а затем ей предлагают сотрудничать с органами безопасности и следить за Андреевыми. Что делать? Отказаться? Но тогда найдут более покладистого и услужливого, а уж он-то натворит бед, подведет под монастырь, что называется, и не избежать тогда нового срока. И Алла Давыдовна соглашается.

Разыгрывая из себя глупенькую, наивную и несмышленую патриотку (это у нее всегда получалось), она регулярно лепечет, сообщает информацию — какие-нибудь безобидные пустяки, бытовые подробности из жизни Андреевых, не угрожавшие незыблемым основам советского строя…

Старинный деревянный домик в Подсосенском переулке, квартира на втором этаже, бывшая игральная комната, причудливая — карточная — роспись по потолку. Андреевы гостят у родителей Аллы Александровны — очередная стоянка во время кочевий. Старики как могут о них заботятся, помогают. Алла Давыдовна по — прежнему у них бывает, и вот, собравшись под карточным потолком — на столе чай, хлеб, сахар, — они листают альбом с репродукциями картин Рериха и разговаривают об Индии, Гималаях, Махатмах…

Махатмы — вот и произнесено это слово. И у нас есть право предположить: Махатмы — это те, кого Даниил Андреев (см. выше) назвал опорой Индийского синклита, текучим коллективом людей, эпохально перемещающимся по некоей географической кривой, от Памира до Южной Индии. И имя Рериха здесь тоже названо…

Алла Александровна относилась и к самим Рерихам, и в особенности к их последователям крайне неодобрительно — я понял это из многих разговоров, вернее, попыток завести разговор: она и слышать не хочет… даже сердится. Внутренняя задача Аллы Александровны — а ей много приходилось выступать, и устно и письменно, — внедрить в сознание общества мысль о православных истоках «Розы Мира» и убедить читателей в том, что Даниил Андреев не теософ и не антропософ, не еретик и не сектант, а подлинный христианский мистик и тайновидец. Мысль, безусловно, правильная: духовный опыт Даниила Андреева так же чист, как опыт Сведенборга и других христианских мистиков, чье познание небесных тайн начинается с любви и веры. Но в то же время мне было жаль, что, отстаиваемая с некоей тенденциозностью, эта мысль суживает представление о Данииле Андрееве и лишает нас части очень важной информации.

Разговора об Индии, Гималаях, Махатмах у нас с Аллой Давыдовной тоже не получилось: как бы не считая себя вправе нарушать некий запрет, некое добровольно на себя взятое обязательство, она сразу насторожилась, замкнулась и сменила тему…

Дом в Подсосенском по счастливой случайности уцелел, и я, конечно, побывал там сразу после беседы с Аллой Давыдовной. Домом владела обувная фабрика, но карточную комнату (так же,

как и интерьеры «Нерензея») мне увидеть не удалось, хотя ее недавно отреставрировали, понятно, для своих целей, а вовсе не для увековечивания памяти о замечательном русском поэте. Разрешения взглянуть на карточную роспись я у заместителя директора так и не добился. Он разнервничался, разволновался, побагровел, замахал руками и повернулся ко мне спиной. Иными словами, отказал наотрез, из чего напрашивался вывод, что, может быть, в этой комнате фабричное начальство обмывает каждую новую партию обуви и его представитель постеснялся катающихся по полу бутылок, вдавленных в стены окурков и засохших плевков?

Фабрику эту я мысленно проклял. Проклял, и очертания ее стали зыбиться, тускнеть, растворяться в воздухе, и вскоре она исчезла: недавно заглянул в Подсосенский, а от нее и следа не осталось… Но вот карточная роспись… нет, не довелось, а жалко…

Побывал я и в Ащеуловом переулке, — увы, с опозданием, — там уже кипела работа. Зияли пустые окна, в воздухе висела кирпичная пыль, из проломов торчала пакля, дранка, крошилась под ногами осыпавшаяся штукатурка. И какие там абажуры с бахромой — от дома с вывеской «Дары природы», во дворе которого жили Андреевы, остались лишь стены с обоями! Их деревянной пристройки с лесенкой, лепившейся некогда к дому, больше не существовало. И когда я рассказал об этом Алле Александровне, она, вероятно задумавшись о печальной судьбе дома в Малом Левшинском, усмотрела некую закономерность в том, как один за другим стираются следы, исчезают осязаемые свидетельства, вещные напоминания об умершем поэте.

Исчезают, словно кто-то неведомый разгоняет зловещей клюкой его ауру.

Кроме очков в потертом футляре, пепельницы и мундштука, показанных мне Борисом Чуковым, я, собственно, и вещей-то андреевских больше не видел. И вот разрушен еще один дом… стерся еще один след, предпоследний. Не потерять бы теперь последний, и я отправился разыскивать квартиру на Ленинском проспекте. Вернее, даже не квартиру, а комнатку в квартире — ту самую, в которой Даниил Леонидович провел последние месяцы жизни и 30 марта 1959 года умер, предварительно исповедовавшись православному священнику и причастившись Святых Тайн. Здесь, обращаясь к медсестре, проявлявшей о нем трогательную заботу, произнес он и свои последние на этой земле слова: «Какая вы добрая!»

Комнатка прямо напротив входной двери, рядом с кухней, — как объяснила мне Алла Александровна, номера же квартиры она

не помнила. Не помнила, наверное, потому, что квартира на проспекте с названием — «Ленинский», что пейзаж за окнами напоминал сон идиота и Даниил Леонидович перед смертью велел: «Уезжай отсюда». Не хотел, чтобы она одна, без него, здесь оставалась.

Из слов Аллы Александровны я понял лишь то, что надо войти в арку, свернуть направо, подняться на второй этаж, и вот там то ли первая… то ли вторая дверь… но главное, что окна рядом с водосточной трубой. Я выслушал и все записал, но с первого раза квартиры Андреевых не нашел, запутался, потерял ориентацию и в полном отчаянии позвонил Алле Александровне, с горечью поведал о своей неудаче.

Из разговора с ней я выяснил, что ошибся подъездом, поэтому теперь — вторая попытка. Взяв с собой последнюю прижизненную фотографию Даниила Леонидовича и Аллы Александровны — они засняты Борисом Чуковым как раз в этой комнате, — снова еду на Богом проклятый Ленинский проспект (будь он неладен!). Мне уже кажется, что он морочит, уводит…

В метро встречаю знакомого и, конечно, не могу удержаться — рассказываю, что надеюсь разыскать комнату, где умер Даниил Андреев. Разыскать — не столько по приметам, по совпадению внешних признаков (мало ли окон рядом с водосточной трубой!), сколько по совпадению внутреннему: мне казалось, я должен почувствовать, что это было здесь.

Мой знакомый хотя и литератор, но по образованию физик, человек с техническим складом мышления, не страдающий пространственной идиотией, свойственной подчас гуманитариям, обещал мне помочь по части внешних признаков. Впрочем, и внутренних тоже, поскольку читал «Розу Мира» и с почтением относился к ее автору. И вот мы входим в арку, сворачиваем, поднимаемся, и налево две двери — какую выбрать? Выбираем первую и звоним — открывает парень лет девятнадцати, хмурый, как будто заспанный, безучастный ко всему, что я говорю, объясняя цель нашего визита. На всякий случай достаю писательский билет, но по скептическому выражению на лице парня видно, что нас трудно принять за взломщиков. Показываю фотографию: в этой комнате… умер… замечательный русский поэт… О поэте он ничего не слышал, да и дались ему эти поэты! Они с матерью переехали сюда не так уж давно, и откуда им знать, кто тут жил раньше! Но нам разрешено войти… посмотреть… оглядеться… Окна? Кажется, да, рядом с водосточной трубой… А вот и комната… и едва лишь мы заглянули, как я почувствовал: здесь!

Почувствовал, словно об этом сказала сама комната — неким

беззвучным языком, некоей вещной памятью, едва угадываемым мерцанием, наслоением на стенах, витающим над нами духом — всем, хранящим память о человеке. Здесь — именно здесь! Мы стали ориентироваться по фотографии, мысленно ме ряя простенки, пытаясь представить, где стоял диванчик, на котором полулежал, обложившись подушками, умирающий поэт, где висела полка с книгами и маленькой иконой Христа: все совпадало, и странный, тревожный холодок, зябкая оторопь прокрадывалась вовнутрь от соприкосновения с последней тайной человеческого пребывания на земле…

Мы еще долго оглядывали стены, потолки, окно, как бы перенося, вмещая в них то, что было изображено на фотографии, и стараясь соединить пространство со временем, — пространство этой комнаты с тем, ушедшим, потускневшим, сжавшимся до размеров крошечного фотоотпечатка временем. Наконец, словно очнувшись, мы стали прощаться с хозяином, по — прежнему безучастным к нам, блаженным соединителям, и с чувством счастливой опустошенности, возникающим от особой душевной полноты, вышли на улицу.

Эпилог

Что же дальше? Конечно же, хотелось бы вновь (У сказать, как принято в таких случаях, шли годы… Но, увы, они не шли, эти бурные девяностые (какое там!), а проносились мутными грозовыми потоками, пенились, кружились, выворачивали комья грязи, вспучивались гигантскими маслянистыми пузырями и лопались, рассыпаясь сотнями жгучих, едких, соленых брызг: не спрячешься, не увернешься.

В жизни многое ломалось, рушилось, менялось, перелицовывалось. За занавесом балаганчика, в который нас зазвали, скрывался большой обман (Большой Обман!) и шел большой дележ, а на сцену выскакивали опереточные плясуны, лицедействовали, ломались и кривлялись…

Но я все равно встречался с Аллой Александровной. Подарил ей номер журнала с моей повестью — эссе о Данииле Леонидовиче (там рассказывалось и о ней), мы вместе были на открытии мемориальной доски, посвященной ему. Да, доски на том самом здании Литературного института, где некогда находились Высшие литературные курсы: «Даниил Андреев учился в этом здании в 20–е гг. XX в.». Чуть склоненная голова, тонкие пальцы, охватывающие высокий лоб. Увековечен!

А главное, вышло собрание его сочинений. Господи, мог ли он мечтать! Он, не увидевший напечатанной ни строчки! И вот — собрание…

Помню, как я отправился за ним в Малый Злато- устинский переулок, в книжную лавку, и наконец заполучил, раскрыл, перелистал и понял, какое случилось чудо: теперь можно прочесть всего Андреева. Да, всего, всего — от корки до корки! То, что пряталось, отнималось, уничтожалось при тюремных шмонах, вновь восстанавливалось, переписывалось, тайком передавалось жене на свиданиях, — вот оно здесь, в четырех толстых книгах. Не истлело, не сгинуло, не исчезло. Иные-то издавались многотомьем, огромными тиражами, а где они? Нет их, а неизданный Даниил Андреев — есть.

И стало ясно, какого масштаба это поэт, какой им пройден путь, сколь разнообразен, неслыханно нов созданный им образный мир и какое место он занимает в русской литературе — рядом с Андреем Белым, Брюсовым, Гумилевым.

Рядом и в то же время вовне всякого ряда, не совпадающий ни с кем неслыханной, небывалой новизной своей поэтической мифологии…

Хочешь верь, а хочешь навсегда
Эту книгу жгучую отбрось,
Ибо в мир из пламени и льда,
Наклонясь, уводит ее ось.

Словом, девяностые многое принесли, многим одарили, но и унесли не меньше. Самое печальное, стали уходить люди — те, кто знал и помнил Даниила Леонидовича. Умерли Виктор Михайлович Василенко, Ирина Леонидовна Миндовская, Ирина Владимировна Вогау, Вадим Андреевич Сафонов (ему было почти сто лет). Умерли многие другие… Лишь с Борисом Чуковым я продолжал перезваниваться и встречаться, записывал его рассказы, расспрашивал, уточнял. От него услышал и о трагической смерти Романа Гудзенко, оставившего замечательные воспоминания о Данииле Леонидовиче.

И вот совсем недавно настигла ошеломляющая новость: в своей квартире, где я столько раз бывал, сгорела заживо Алла Александровна Андреева. Сгорела ночью, старенькая (недавно исполнилось девяносто), совсем слепая, но не беспомощная и еще полная сил: приноровилась к своему положению, освоилась, хоть и на ощупь, но прекрасно управлялась по хозяйству.

И это не спасло: звала на помощь, пыталась вырваться — не успели.

А я-то последнее время все думал позвонить, расспросить, еще раз встретиться — и тоже не успел, не судьба…

Едва лишь я обо всем узнал, мне сразу вспомнилось из ее книги, из лагерных воспоминаний: «Однажды дверь библиотеки, где я тогда работала, загорелась. Ватная обшивка сгорела, но ни дверь, ни библиотека не пострадали. Было ясно: ее подожгли, причем под утро, пожарница по распоряжению Родионова (оперуполномоченный в лагере, предлагавший давать сведения. — Л. Б.)».

И вот он все-таки настиг ее, этот огонь…

Аллу Александровну похоронили на Новодевичьем кладбище, в одной могиле с мужем: добились разрешения от московских властей. И мне, странствующему энтузиасту, осталось совершить последнее путешествие — нет, не к могиле: это была бы точка, а мне хотелось многоточия. Даниил Аеонидович и Алла Александровна венчались в церкви Ризополо- жения неподалеку от Донского монастыря, и в этой же церкви, в приделе святой Екатерины, его отпевали, стоял гроб. Вот куда я должен поехать — проститься не с прахом, а с душой, витавшей, реявшей под

этими сводами перед тем, как отправиться в иные миры.

Но как поехать? Не на такси же… Я вспомнил, что в детстве домашний учитель Даниила в награду за послушание возил его каждый раз новым трамвайным маршрутом по Москве. О, милые сердцу трамваи с кондуктором и вагоновожатым! От Чистых прудов к Донскому монастырю ведет один из самых изумительных трамвайных маршрутов — тридцать девятый — мимо Кремля, через Замоскворечье, Зацепу, мимо Данилова монастыря, по Серпуховскому Валу…

И в сентябрьский день я собрался и поехал. Дождался тридцать девятого на остановке, устроился у окна, и вот Чистопрудный бульвар сменился Покровским, а там и Кремль с моста открылся под низким пасмурным, с лиловым отливом, небом (солнце едва сквозило). За Кремлем потянулось Замоскворечье: Пятницкая, Новокузнецкая… У Донского монастыря я вышел и, свернув на Шаболовку, долго разыскивал, высматривал церковь Ризоположения, пока у Живоначальной Троицы мне не подсказали, что надо с Шаболовки-то свернуть на Донскую…

И вот она, эта церковь, — чудная, напоминающая храм Ивана Воина на Якиманке, тоже нарышкинская, красная, с белым каменным кружевом. Во дворе — лавочки, цветники и даже фонтанчик бьет: ухаживают. Я вошел, и снова возникло то же чувство, что и в комнате, где он провел последние месяцы: здесь! Да, что-то их связывало, ту комнату и эту церковь: оттуда сюда привезли отпевать. Я спросил, где придел святой Екатерины, мне показали, я поставил свечи, постоял в полумраке, глядя на трепещущие огоньки и думая о том, что здесь, здесь витала его душа, завершая земной круг. Да, круг завершен, но ведь не зря же он написал в одном из стихотворений:

Смерть есть долг несовершенной формы, Не сумевшей выковать себя.

Он же выковал — и, значит, не умирал.

15 сентября 2005

Список использованной литературы

Андреев Даниил. Собр. соч.: В 3 т. М.: Урания, 1993.

Андреева Алла. Плаванье к Небесному Кремлю. М.: Урания, 1998.

Андреев Вадим. Детство. М.: Советский писатель, 1963.

Бежин Леонид. Смотрение тайн, или Последний рыцарь Розы // Знамя. 1994 № 3.

Бердяев Николай. Смысл творчества // Из истории отечественной философской мысли. Н. А. Бердяев. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989.

Желвакова Ирина. Тогда… в Сивцевом (прогулки по Сивцеву Вражку и воображаемые путешествия в прошлое старого московского переулка). М.: Московский рабочий, 1992.

Желудков Сергий, свящ. Литургические заметки. М.: Sam&Sam, 2003.

Зайцев Борис. Далекое. М.: Советский писатель, 1991.

Записки Николая Александровича Мотовилова, служки Божией Матери и преподобного Серафима. М.: Отчий дом, 2005.

Мережковский Дмитрий. Атлантида — Европа. Тайна Запада. М.: Русская книга, 1992.

Сафонов Вадим. Дом в меловых полях. Повести, рассказы, эссе, воспоминания. М.: Советский писатель, 1991.

Сытин Петр. Из истории московских улиц. Изд. 3, пересмотренное и дополненное. М.: Московский рабочий, 1958.

notes

Примечания

1

Тереза Авильская, Тереза да Ахумада (22 марта 1515, Авила — 4 октября 1582) — испанская святая. Рордилась в дворянской семье. В возрасте двадцати лет вступила в Кармелитский орден. Основала тридцать два монастыря с обновленным ее стараниями Уставом. Будучи одной из образованнейших женщин своего времени, Тереза Авильская с необычайной яркостью развила в своих писаниях тайны духовной подвижнической жизни («Автобиография», «Путь к совершенству», «Внутренний замок», другие книги, множество писем